

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

**ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ-ИЮНЬ

"НАУКА"

МОСКВА - 2002

СОДЕРЖАНИЕ

Олег Николаевич Трубачев	3
Г А З о л о т о в а (Москва) Категории времени и вида с точки зрения текста	7
Г М З е л ь д о в и ч (Торунь, Польша) Семантика и прагматика совершенного вида в русском языке	30
А А З а л е в с к а я (Тверь) Некоторые проблемы теории понимания текста	62
П В Г р а щ е н к о в (Москва) Родительный падеж при русских числительных	74
Типологическое решение одной сугубо внутренней' проблемы	
М М М а к о в с к и й (Москва) Индоевропейский корень Форма и значение	120

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

А Г Г ю л ь м а г о м е д о в (Махачкала) Языки Дагестана	126
Т Е Я н к о (Москва) Новый журнал 'Русский язык в научном освещении', № 1	129
Л В С а в е л ь е в а (Петрозаводск) <i>Lea Sulim</i> Отражение графико-орфографических норм церковнославянского языка русского извода в житийной литературе второй половины XVI века (на материале Жития преподобного Александра Свирского)	140
А Л Ш и л о в (Москва) Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте	145
Н Ю З а й ц е в а (Санкт-Петербург) <i>W J Hutchins (Ed) Early years in machine translation memoirs and biographies of pioneers</i>	148
Н В П е р ц о в (Москва) В С Баевский Лингвистические, математические, семиотические и компьютерные модели в истории и теории литературы	152

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Ю Д А п р е с я н А В Б о н д а р к о В А В и н о г р а д о в , В Г Г а к В З Д е м ь я н к о в
В М Ж и в о в А Ф Ж у р а в л е в , Е А З е м с к а я Ю Н К а р а у л о в
А Е К и б р и к (зам главного редактора), М М М и к о в с к и й (отв секретарь),
А М М о л д о в а н Т М Н и к о л а е в а (зам главного редактора),
Ю В О т к у н ц и к о в **О Н Т р у б а ч е в** (главный редактор)
А М Ш е р б а к

Зав отделами М М М а к о в с к и й Г В С т р о к о в а , М М К о р о б о в а
Зав редакцией Н В Г а н н у с

А д р е с р е д а к ц и и 121019, Москва, Г-19, ул Волхонка, 18/2,
Институт русского языка имени В В В и н о г р а д о в а
редакция журнала "Вопросы языкознания"
Тел 201-25-16

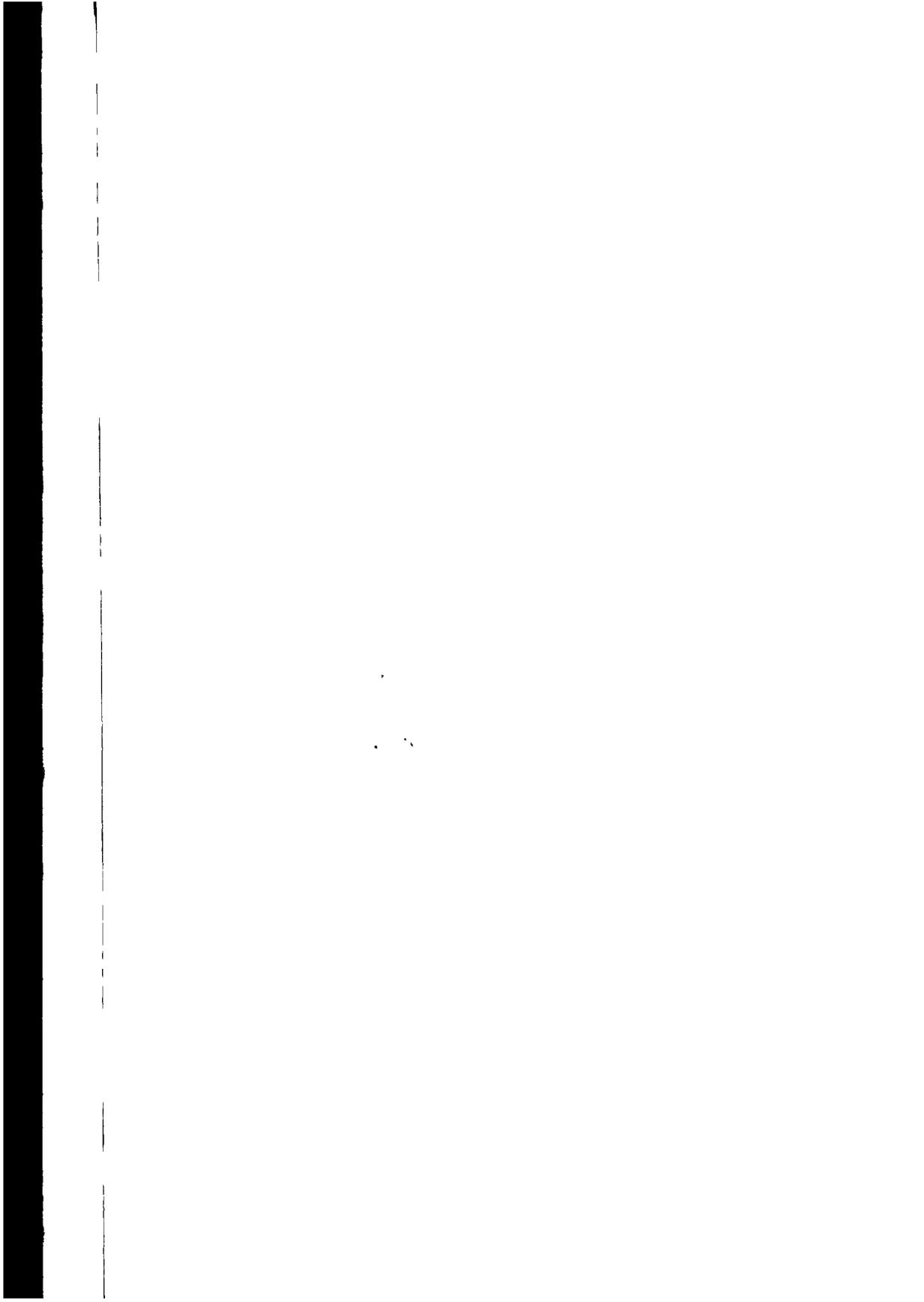


«Вопросы языкознания» прощаются с Олегом Николаевичем Трубачевым.

Ушел крупнейший ученый, соединявший в себе невероятно широкую образованность, мощный интеллект, неправдоподобную интуицию, удивительную смелость в выдвижении новых идей и не менее удивительную строгость в решении научных проблем, талант организатора, строителя науки, темперамент острого полемиста и мудрость заботливого руководителя, дар видеть и понимать.

Будем благодарны судьбе, связавшей нас с этим редким и ярким человеком.

Вечная ему память.



ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ТРУБАЧЕВ

23.X.1930–9.III.2002

Девятого марта 2002 г. ушел из жизни выдающийся ученый, языковед, этимолог, лексикограф, славист, индоевропеист академик Олег Николаевич Трубачев, внесший неоценимый вклад в развитие отечественной и мировой науки во второй половине XX века. Его имя прочно связано с возрождением и подъемом этимологии. Своими фундаментальными исследованиями он раздвинул горизонты этимологии, ввел науку о происхождении слов в широкое лингвистическое пространство, убедительно и наглядно показал основополагающее значение этимологии в решении проблем реконструкции духовной и материальной культуры народа. О.Н. Трубачев работал на стыке наук, опираясь на последние достижения других наук – древней истории, археологии, этнографии, исторической географии. О.Н. Трубачев вывел этимологию на новый уровень развития, обогатив ее новыми идеями и открытиями, которые стали фундаментом современной славянской науки. Как верно отметил академик В.Н. Топоров в своем прощальном слове, Олег Николаевич был лингвистом Божьей милостью. В трудах О.Н. Трубачева, ученого, обладающего энциклопедическими знаниями, этимология предстает важной составляющей общегуманитарного подхода к изучению человека. В исследованиях этого талантливого ученого строгий научный подход сочетается с глубокой проникательностью, выдающейся интуицией и большим трудолюбием. Он был великим труженником. Наука была высшим смыслом его жизни. Велико научное наследие О.Н. Трубачева, список его работ включает около 500 названий, в том числе несколько основополагающих монографий. Все его работы неизменно вызывали интерес научной общественности, каждая публикация становилась событием научной жизни.

Олег Николаевич вошел в большую науку в молодом возрасте. Уже в своей кандидатской диссертации, посвященной истории славянских терминов родства и опубликованной в виде книги в 1959 г., он заявил о себе в науке как о вполне сложившемся, зрелом ученом, работающем на уровне достижений мировой науки, ясно представляющем себе пути дальнейшего развития славянской этимологии. Своими последующими исследованиями, проведенными на материале других лексических групп – названий каш, домашних животных, ремесленной терминологии в славянских языках – О.Н. Трубачев проложил новые пути в развитии этимологической науки. Трудно переоценить значение монографического исследования О.Н. Трубачева "Ремесленная терминология в славянских языках" (М., 1966), которое стало его докторской диссертацией, защищенной в 34 года. Эта работа, ориентированная на выявление общих черт и закономерностей в образовании терминов производственной, ремесленной деятельности славян в сфере текстильного, деревообрабатывающего, гончарного и кузнечного производства, убедительно продемонстрировал роль лексических данных для реконструкции материальной культуры, она открыла особенности древней технологии разных производственных процессов, восходящих в основе своей к технике плетения, показала преемственность терминологии и т.д. Эта книга прекрасно написана и представляет интерес для широкого круга читателей.

О.Н. Трубачев ввел в научный обиход "Этимологический словарь русского языка" М. Фасмера (Т. I–IV, М., 1964–1973 гг.), осуществив перевод с немецкого языка и снабдив его дополнениями и комментариями. Подготовка этой книги потребовала около 10 лет напряженной работы. Об исключительном значении этого словаря, ставшего настольной книгой филологов, историков и всех интересующихся этимологией русского слова, в частности, говорит и тот факт, что в настоящее время подготовлено уже 4-е издание словаря.

Большое место в наследии О.Н. Трубачева занимают исследования проблем ономастики. Его монографические исследования – "Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья", совместно с акад. В.Н. Топоровым (М., 1962). "Названия рек Правобережной Украины" (М., 1968) – внесли существенные коррективы в сложившиеся представления о распределении на древней карте славянских, балтийских и других племен, открыли большой пласт субстратной лексики в составе восточнославянских гидронимов. Выявленный в Верхнем Поднепровье значительный пласт гидронимов балтийского происхождения стал основой для вывода о заселении этого ареала балтийскими племенами в I тыс. – первой половине II тыс. Этнолингвистическая интерпретация гидронимического материала, основанная главным образом на этимологии, позволила выявить вклад в структуру Правобережной Украины тюркского, иранского, западнобалканского (иллирийского), балтийского, германского этноса и их языков.

В трудах О.Н. Трубачева антропонимия, один из основных разделов ономастики, получает культурно-историческое и лингвистическое осмысление. На основе всестороннего анализа праславянского лексикона им разработаны принципы соотношения исконно славянской ономастики и апеллативной лексики, выдвинуто и обосновано методологически важное понятие генинного *onomata tantum*. На большом конкретном материале им сформулированы закономерности формирования славянских антропонимов, выделены основные антропонимистические модели. К числу существенных результатов антропонимических исследований О.Н. Трубачева следует отнести включение славянской антропонимии в широкий индоевропейский контекст. разграничение на этой основе хронологически разных пластов ономов, обнаруживающих, помимо исконной базы, следы германского и иранского влияния. О.Н. Трубачев внес существенный вклад в изучение происхождения фамилий, бытующих на территории России (ср. "Этимология 1966". М., 1968).

Итогом многолетних славистических исследований О.Н. Трубачева стала книга "Этногенез и культура древнейших славян" (1-е издание – 1991 г., подготовлено второе, расширенное издание). В этой книге, посвященной реконструкции материальной и духовной культуры праславян с учетом индоевропейского окружения на значительном лингвистическом пространстве, приводятся новые аргументы в пользу локализации славянской прародины на Среднем Дунае.

Главным делом жизни Олега Николаевича стал "Этимологический словарь славянских языков", в основу словаря положена разработанная О.Н. Трубачевым концепция праславянского языка, базирующаяся на идее изначальной диалектной дифференциации исходной системы и понятии праславянского лексического диалектизма. В словаре решаются две задачи: 1) реконструкция словарного состава, которым пользовались славяне в эпоху славянских миграций (V–VII вв. н.э.) и 2) этимологизация славянской лексики. Словарь, базирующийся на широком охвате лексикографических источников, включая исторические и диалектные словари, дает максимально полное представление о словарном составе славянского языка применительно к эпохе миграций. Первый выпуск словаря вышел из печати в 1974 г. В настоящее время опубликовано 28 выпусков и еще два выпуска подготовлены к изданию. Словарь принадлежит к числу фундаментальных исследований, открывающих новые перспективы в изучении славянской лексики и культуры славян в целом. Словарь, построенный на огромном фактическом материале, уже стал основой для многих исследований, в том числе и докторских диссертаций.

С именем О.Н. Трубачева связано одно из важнейших изданий не только в отечественной, но и мировой науке – ежегодника "Этимология", основателем и ответственным редактором которого он был все эти годы. В этом сборнике, на страницах которого освещаются актуальные вопросы русской, славянской и индоевропейской этимологии, принимают участие ведущие этимологи всего мира. Первый том увидел свет в 1963 г., в настоящее время насчитывается 27 томов "Этимологии",

Олег Николаевич находился в постоянном научном поиске. Многолетние научные изыскания О.Н. Трубачева привели к пересмотру всего комплекса культурно-исторических связей в ареале, простиравшемся от Северного Кавказа на востоке до Закарпатья, Дакии и Трансильвании на западе. По реликтам, нашедшим отражение в античных свидетельствах, ономастике, эпиграфике, О.Н. Трубачев восстановил индоарийский компонент в составе населения Северного Причерноморья на территории "Старой Скифии". Ему принадлежит открытие-реконструкция лексикона и элементов грамматического строя древнего утраченного индоарийского языка, для которого восстановлены связи с северо-кавказскими, тюркскими и раннепраславянским языками.

О.Н. Трубачев был неизменным участником всех Международных съездов славистов, начиная с 1958 г. Его доклады, посвященные актуальным проблемам славистики, неизменно вызвали интерес ученых всего мира. О.Н. Трубачев принимал активное участие в Днях славянской письменности, проходивших в разных городах России (Новгород, Смоленск, Рязань, Минск и др.). Своим участием с докладами, в которых затрагивались краеугольные проблемы лингвогенеза восточных славян, он поднимал уровень этих важнейших мероприятий в жизни нашей страны.

О.Н. Трубачев вел большую научно-общественную работу. Он возглавлял один из основных лингвистических журналов страны "Вопросы языкознания". На протяжении многих лет он стоял во главе Российского комитета славистов. О.Н. Трубачев – обладатель многих наград и премий Академии наук. Он награжден многими премиями Академии наук (Золотая медаль В.И. Даля, Премия им. А.С. Пушкина). Он также награжден золотой медалью им. П.И. Шафарика.

О.Н. Трубачев был членом Финно-угорского общества (Хельсинки, Финляндия), Югославской (ныне – Хорватской) академии наук и искусств (Загреб).

О.Н. Трубачев по праву считается основоположником московской этимологической школы. Своими трудами он заложил прочный фундамент этимологической науки, его идеи станут определяющими для нашей науки на многие десятилетия. Олег Николаевич обладал широчайшими, поистине энциклопедическими знаниями, глубиной и точностью анализа, был оригинальным мыслителем. В своих исследованиях он всегда был независим от господствующих стереотипов и конъюнктуры. Его характеризовала исключительная принципиальность, пунктуальность, бережное отношение ко всему, что связано с языком, в письменной и устной форме. Светлая память об этом талантливом ученом навсегда останется с нами.

А.А. Калашников, Л.В. Куркина, И.П. Петлева

© 2002 г. Г.А. ЗОЛотоВА

КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ И ВИДА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕКСТА

1. Можно полагать, что это одна из допустимых точек зрения. Но если задаться вопросом с функциональной позиции, зачем языку эти категории (так же, впрочем, как и другие), разумным кажется ответ: для построения текста. Поскольку язык существует для человеческого общения, а общение происходит посредством порождаемых говорящими текстов, устных и письменных, различного социально-речевого назначения, лингвистика приближается к признанию текста основным своим объектом и к пониманию времени и вида как текстовых категорий. Именно видо-временные формы глагола – главное средство организации текста.

Несмотря на обширную литературу, названные категории остаются в этом аспекте недостаточно изученными. Взгляд от текста добавляет существенные аргументы к рассмотрению и собственно грамматических сюжетов.

Суждения автора на эту тему излагались в "Коммуникативной грамматике" [Золотова и др. 1998] и в нескольких статьях недавних лет. Здесь они обобщены и дополнены последующими наблюдениями.

2. За последнее время заметно возрос интерес к проблемам вида и в отечественной, и в зарубежной славистике. Выходят новые исследования, регулярно собирается под руководством краковского профессора Ст. Кароляка европейский коллоквиум "Семантика и структура славянского вида" (Краков – 1995, 1996, 1998; Скопье – 1997; Новгород – 1999; Гамбург – 2001), работал несколько лет аспектологический семинар на филологическом факультете МГУ, за которым последовала представительная Международная конференция 1997 года о типологии вида, как бы подытожившая определенный период в развитии аспектологии.

Однако авторитетный участник конференции шведский профессор Нильс Б. Телин выразил свое впечатление такими словами: "Аспектологи ходят по замкнутому кругу". Нельзя не признать, что сказанные не без горечи эти слова в большой степени справедливы.

В самом деле, общая ориентация определяется постановкой проблемы категории вида в "вышей инстанции": "Глаголы несов. вида образуются от глаголов сов. вида путем суффиксации...; такое образование называется и м п е р ф е к т и в а ц и е й... Глаголы сов. вида образуются от глаголов несов. вида путем префиксации...; такое образование называется п е р ф е к т и в а ц и е й... Соответственно в языке существуют видовые пары, созданные путем имперфективации или перфективации..." [Русская грамматика 1980, I: 585].

Подобный исходный импульс, характерный для большинства грамматических трактовок вида, задает дальнейшее направление работы: скрупулезно описываются все средства "переодевания" перфективных глаголов в имперфективные путем имперфективации и имперфективных в перфективные путем перфективации.

Создается впечатление, что виды глаголов существуют только сами для себя, в каком-то замкнутом аспектологическом мире, что назначение глагола СВ и НСВ – подыскать себе пару, непременно чистую, и производить потомство, суффиксальными, префиксальными и некоторыми другими способами, а забота аспектологов –

отслеживать чистоту каждой пары. Понятно, что если смотреть на виды с той же ступеньки, на которой происходит эта переимперфективация, немного можно узнать о самой категории. Казался бы естественным прежде всего вопрос: а **зачем** это надо глаголам СВ подвергаться имперфективации, а глаголам НСВ – перфективации?

Когда дискутируются значения этой оппозиции, исследовательская мысль продолжает, как волны о берег, биться в поисках окончательного ответа. Каждый очередной критерий СВ (законченность действия, результативность, цельность, предельность) порождает контрпримеры: *Он похудел, побледнел; Ребенок подрос; Забор накренился; Ветер усилился; Недостроили сарай; Перепачкали одежду; Поморозили носы; Закашлялся* – есть ли тут предел, цельность и достижение результата?

О том, что глаголы *слышать, видеть, чувствовать* и в НСВ выражают достижение результата, писали еще В.В. Виноградов [Виноградов 1947] и М.Я. Гловинская [Гловинская 1982]. Ср. также употребление глаголов НСВ при обозначенности предела: *Лучи зари до полночи горят. Как хорошо в моем затворе тесном!* (А. Ахматова).

А.А. Барентсен отметил, что критерий предельности и цельности не позволяет объяснить ряд ситуаций, когда предельное целостное действие выражается формой НСВ (в итеративе, в настоящем историческом, в императиве и др.), а признак целостности фактически не противостоит отсутствию целостности у перфективных глаголов в предложениях типа *Иван потерял ключ* [Типология вида 1998: 48].

В признаке предельности зачастую не разграничиваются два разных явления, лексико-семантической и текстовой природы: аспектуальный признак предельности не всегда проистекает из семантики "предельного" ("телического") глагола, стремящейся к реализации в объекте, а "предельные" глаголы, как и непредельные, могут употребляться в СВ и НСВ в близком смысле: *Вы смотрели (посмотрели) этот фильм? Мы уже обедали (пообедали); Передавайте (передайте) привет вашей семье* и под. (хотя обсуждаются и различные оттенки, предполагающие определенную констатацию).

П.А. Йенсен писал: "Современные дефиниции перфективного признака (результативность, предельность, точечность и др.), как мне кажется, смешивают лексическую субстанцию с формой" [Jensen 1990: 386]. Думается, что словесное, терминологическое решение ("абсолютная" и "относительная", "диффузная" и "неконечная", "нетендентивная" предельность) затруднений не снимает.

Классификационные усилия, интенсивный процесс умножения и деления значений вида, их типов, оттенков, употреблений, "различных разновидностей" и "особых разновидностей типов употребления" [Русская грамматика 1980: 606 и др.], выделяемых исследователями, обнаруживают, как это отмечалось в литературе, отсутствие единых оснований деления, нерасчлененность понятий значения и функции, перенос значений лексического и синтаксического окружения на видо-временные формы глагола.

Более дальновидным исследователям была ясна необходимость расширения наблюдаемого аспектологами речевого пространства. Нельзя было не признать роль мыслящего и говорящего человека, создавшего и отработавшего систему глагольных видов как необходимую часть языкового механизма.

Еще в докладе на IV Международном конгрессе славистов в 1958 г. А. Мазон определил положение дел так: "Реальность морфологического механизма вида, каким он предстает нам в славянских языках в настоящее время, – это наиболее прочное, что есть в неразрешенной до сих пор проблеме..." Но признать только эту реальность – "значило бы отказаться от стремления узнать больше, чем мы знаем сейчас" [Мазон 1958: 55].

А. Мазон высоко оценил исследования Э. Кошмидера, который в конце 20-х – начале 30-х годов пришел к заключению, что времена и виды определяются мыслящим Я субъекта речи, скромно подозревая в этом "что-то вроде теории относительности в языке" [Мазон 1958: 38].

В работах конца 20-х – 30-х годов В.В. Виноградов выдвинул понятие "образа автора", говорящего, наблюдателя и выявил текстовые функции видо-временных форм глагола, которые волею автора организуют пространственно-темпоральный объем текста. Это было блестяще и бесспорно подтверждено анализами художественного мира, субъектных форм литературного времени, их сюжетного чередования в "Пиковой даме" и других повестях Пушкина. В 1947 г. грамматические обобщения результатов этого анализа были включены в книгу "Русский язык" [Виноградов 1936: 1941; 1947; 1980].

Категория вида, тонущая в бесконечном дроблении современных описаний, еще тогда обрела в единении со временем, в четырех основных функциях четкий статус текстовой категории.

Уже во второй половине XX века близкие наблюдения о роли вида в тексте сделали Н.С. Поспелов, Ю.С. Маслов, Б.А. Успенский, А. Богуславский, Дж. Форсайт, Г. Вайнрих, Е.А. Иванчикова, Ж. Вейренк, Ж. Фонтен, С. Чмейркова, Б. Комри, Б.М. Гаспаров, Ж. Дюрэн, Н.Б. Телин, П.А. Йенсен, А.В. Бондарко, Т.В. Булыгина, Г.А. Золотова, М.А. Шелякин, Е.С. Яковлева, Е.В. Падучева, Й. Крекич и др.

Современный уровень аспектологических дискуссий несомненно стимулирует высказывания, обещающие сдвиг с устоявшихся позиций. На конференции 1997 года звучали перспективные формулировки или предположения, привлекающие внимание к значению контекста для изучения вида, к коммуникативной структуре текста, к таксисному, секвентному характеру текстовых связей, к роли говорящего, к роли изменения перцептивной позиции (см.: А.А. Барентсен, Н.Б. Телин, А. Тимберлейк, В. Брой, В. Бенини, А.Д. Кошелев, С. Кароляк, К. Ласорса-Сьедина, К.С. Смит и др. [Типология вида 1998]).

3. К фигуре говорящего лица традиционная грамматика обращалась, трактуя категорию времени. Момент речи говорящего принимается за точку отсчета, означающую настоящее время, относительно которого определяются прошедшее и будущее. Но морфологический механизм образования темпоральных форм глагола не служит обоснованию их многообразного речевого употребления. Упрощенная схема времен, как и схема видов, обрастала дополнительными понятиями значений и оттенков, употреблений, транспонирований и под., не приобретаая ни стройности, ни объяснительной силы.

Высказывались следующие, например, сомнения:

а. Если признавать настоящее актуальное, расширенное, постоянное, гномическое, историческое, вневременное – не слишком ли широкими оказываются рамки "момента"?

б. Если речь (допустим, телефонная) прерывает действие, совершаемое говорящим "сейчас" [*–А что ты делаешь? – Читаю (стираю, слушаю музыку, готовлю ужин)*], получается, что настоящее время используется для обозначения действия, совершаемого "до" и "после" "момента речи"?

в. В текстах, представляющих события, имевшие место "до" момента рассказа о них, нередко фигурируют все три времени, даже в одном эпизоде (на одном и том же расстоянии от "момента речи"), например:

Упала в снег; медведь проворно Ее хватает и несет; Она бесчувственно-покорна, Не шевельнется, не дохнет (Пушкин. Евг. Онегин);

Вынул Петья часы ... Крышку открыл ... В черном кружочке секунды бегают. А часы и минуты идут незаметно: смотришь – на месте стоят; отвернешься – подвинулись (Л. Пантелеев. Часы);

г. Квалификация времени действия как настоящего исторического в повествовании о прошлом вызывает вопрос: почему это действие более историческое, чем другое, соседнее, например, действия медведя по сравнению с действиями Татьяны? Или действие старика в строке *Вот идет он к синему морю* сравнительно с его же действием *Вот пошел он к синему морю* (Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке)?

Очевидно, что членение временного континуума с помощью фиксированной точки отсчета, как в однолинейной морфологической парадигме *писал – пишу – буду писать*, не соответствует возможностям оперирования формами глагольного времени в реальной речи.

Еще А.В. Исаченко предостерегал: «...величайшей опасностью для всякого языковеда является своеобразный "номинализм". Из того, что форма типа *он бросает* традиционно н а з ы в а е т с я "настоящим временем", нельзя еще делать заключения, что эта форма действительно о б о з н а ч а е т "настоящее время"» [Исаченко 1960, II: 462].

Выясняется необходимость дифференциации самого понятия 'время', "понятия большой степени общности и абстрактности, одного из базовых понятий науки, философии и культуры" [Степанов 1997: 171].

Современная, постлейбнистская научная методология считает условием исследования объекта относительность системы отсчета; ср. [Барт 1989: 414].

Между говорящим лицом, созданным им текстом и отображенным в тексте миром возникает в объемном темпоральном пространстве текста соотношение трех временных планов:

T_1 – время в мире, существующее вне текста, это объективная, физическая, природная категория. Осознание ее, упорядочивание времени человеком – категория гносеологически-когнитивная, рождающая хронологию. Физическое время, по современным научным представлениям, однолинейно и необратимо, непрерывно и неподвластно человеку. Для некоторых текстов значима дата, содержание текста может вписываться в какой-то отрезок времени T_1 , но это не обязательный признак текста.

Непременным условием построения текста является единое событийное время T_2 – релятивная, таксисная связь всех предикатов текста в смысле одновременности или последовательности, предшествования или следования. T_2 – время в тексте – категория креативная, творимая говорящим, оно неоднаправленно, обратимо, дискретно, многолинейно, подвластно субъекту говорящему. При этом креативность понимается не только как плод воображения автора, творящего свой художественный мир, но и как принятый говорящим порядок изложения реальных событий – будь это репортаж, бытовой рассказ очевидца о случившемся, даже разные способы темпорального и причинно-следственного связывания частей текста в стандартизованном деловом документе. При всем многообразии форм и значений текстов порядок таксисных связей событий подчинен воле автора, его перцептивному движению T_3 относительно событий, сенсорному или ментальному представлению содержания.

T_3 – время перцептивное, это пространственно-темпоральная позиция говорящего или перцептора, его перемещающийся "наблюдательный пункт".

В его власти – оказаться в хронотопе происходящего, либо передвинуться по горизонтали в прошедшее или будущее по отношению к происходящему, либо подняться по вертикали над конкретным событием на ступень его узального суммирования или всевременного обобщения. В его воле – темп движения времени, замедленность его течения или убыстренность (обычно – в субъективном восприятии перцептора-персонажа), насыщенность переживаемым или пустота (*Год прошел как сон пустой* – Пушкин).

Выбор форм глагольного времени в художественном (или "нарративном") тексте значительно чаще ориентирован не на "момент речи", а на соотношение планов T_2 и T_3 .

Остается возможность выделить и T_4 – время читателя, слушателя, реакции которого вовлекаются в текст некоторыми авторами, но вернее думать, что роль этого времени целиком программируется автором в пределах T_3 . Если не иметь в виду чисто оценочное отношение, как его выразил, например, Генри Д. Торо: "Рассказ может быть длинным, главное, чтобы время, потраченное на чтение, показалось коротким". Но это время уже за пределами текста.

Парадоксальная, казалось бы, противоречивость суждений мыслителей, писателей о времени объяснима именно тем, что речь идет о разных планах времени. Ср., например: "Все, о Люциллий, не наше, а чужое, только время наша собственность" (Сенека); "Из всех вещей время всего менее принадлежит нам" (Ж. Бюффон). Понятно, что Бюффон говорит о временном плане T_1 , а Сенека – о $T_{2,3}$, о событийном времени каждой человеческой жизни. Ведь и в человеческой жизни есть неумолимый ход часовой стрелки, отсчитывающей T_1 , но в событийном времени, в осмыслении его, в памяти о нем неравномерны, значимы или незаметны, его отрезки. Сенека в дальнейшем и сам поясняет это: "Жизнь – долга, если она полна. Будем измерять ее поступками, а не временем" (Сенека).

Понятно, что "...время мира, как обычно, шло вдалеке вослед солнцу" (Платонов) – это о T_1 ; а "Счастливые часов не наблюдают" (Грибоедов) – это о соотношении T_1 и T_3 .

В тексте логика **развития** сюжета диктует последовательную сменяемость действий и положений. Логика **представления** сюжета, с возвратами в текстовое прошлое и пред-знанием будущего, определяется тактикой рассказчика. Сосуществование лиц, предметов, состояний, признаков, смена точек зрения создает объемный образ мира.

Сложные соотношения и связи явлений и вместе с тем ощущение динамики, развития потока событий и структурируются прежде всего видо-временными ресурсами глаголов.

4. Проблема соотношения событий в тексте ведет к вопросу о так называемом **таксисе**. Относительные, релятивные, таксисные значения временных форм глагола изучались, главным образом, в рамках сложного предложения или простого, осложненного деепричастным оборотом.

Само противопоставление "абсолютного" и "относительного" времени не следует переоценивать. Время вообще – релятивная, таксисная категория, любой отрезок времени определяется по отношению к другому отрезку времени, событию, действию: земные циклические периоды соотносятся с астрономическим временем, исторические события – с условным календарным, житейские происшествия – с отрезками бытового времени. О таксисной природе времени писал еще М. Гюйо: "Время – совокупность отношений, которые опыт устанавливает между явлениями" (русск. перевод 1899 г. – цит. по [Степанов 1997: 176]).

"Момент речи" – одна из точек отсчета, тоже релятивная. Момент речи – это время речевого **действия** в ряду других **действий**. Соотнося высказываемое с актом говорения, оно осуществляет связь диктума с модусом. А отношение к действительности, может быть, скорее выражают диктумные действия, события, признаки по отношению друг к другу в диктумном плане.

Естественно, что каждый предикат в тексте вступает в релятивные связи с соседними предикатами – любого морфологического оформления – не только по линии времени, но и по линии лица и модальности. Разве может быть неважно для связности текста, одному или разным субъектам приписываются одновременные или разновременные действия либо другие предикативные признаки? Реальные это действия или предполагаемые? Все три грамматико-семантические категории, реализующие предикативную сущность предложения – время, модальность, лицо – обнаруживают либо общность, либо различие своих показателей с теми же категориями соседствующих предикатов. Между всеми соседними предикатами, и простых предложений и полипредикативных, в тексте возникают таксисные отношения – монотемпоральные либо политемпоральные, моносубъектные либо полисубъектные, мономодальные либо полимодальные. В этом условии и единства текста и движения смысла в нем [Золотова 1995; 2001], организуемого и направляемого взаимодействием диктумного плана с модусным (вербализованным или невербализованным), при опоре, в основном, на видо-временные возможности глаголов.

Когда один автор определяет феномент НСВ "как нечто само по себе, без отношения к чему-либо еще...", а другой видит различие между видами в том, что "форма СВ ориентирована только на одну ситуацию – Р₁... и ничего не сообщает о предшествующей ей ситуации", такой подход дает противоположные результаты потому, что извлекает видовые формы из естественной речевой среды, лишая их текстовой функции, в которой они и реализуют присущие им свойства. Как для человека нормально жить в обществе себе подобных, в окружении людей, так каждое действие, событие – звено сложной цепи, и каждое предложение не живет в изоляции (разве только мелом на доске, как пример, как имитация речи); оно произносится, пишется для того, чтобы вступить в связи с себе подобными, то есть в текст, устно-бытовой, деловой, научный, художественный, – любой, чтобы тем самым и дать людям возможность жить в обществе.

Лингвисты иногда неосмотрительно переносят свойство однонаправленности и необратимости физического времени на грамматическое время, см., например [Семантика славянского вида 1995, I: 38, 83]. Если бы такое мнение было верным, люди были бы обречены на беспмятство. Само понятие момента речи (или любой другой точки отсчета) предполагает разнонаправленность движения от этой точки.

Язык, письменность, литература (не без участия в славянских языках развитой грамматической видо-временной системы) хранит память о тысячелетиях, составляющих пространство нашего духовного бытия. Память и воображение, власть искусства позволяют нам, перемещаясь в любой из протекших веков, ощутить себя современниками далеких событий. Книга – наша машина времени.

"Литература предназначена для задержания времени в его всеуничтожающем беге. Это она запечатлевает в вечном настоящем все, что когда-либо происходило" (Ян Парандовский).

В.Н. Топоров видит в текстах "устройство, с помощью которого совершается пресуществление материальной реальности в духовные ценности".

"...Продленный призрак бытия синее за чертой страницы..." (Вл. Набоков).

Итак, текст – продукт устной и письменной речевой деятельности человека, основная форма существования языка, хранения и передачи культуры, знания и незнания.

Текст и становится главным источником исследования языка, осмысления его грамматических форм, категорий в воплощенных их значениях, возможностях, условиях и назначении. Антропоцентричность таксисных отношений, темпоральных ритмов текста воссоздает общее неразделимое единство времени и пространства (ср. [Jensen 1990: 386]), моделируя тот физический, социальный и ментальный мир – хронотоп, в котором реализуются и окружение и кругозор воспринимающего человека (по М. Бахтину).

В идеях В.В. Виноградова и в его проникновенных анализах текстов во второй четверти XX века и заложены основы учения о текстовой структуре.

5. Вслед за В.В. Виноградовым различаем текстовые функции видо-временных форм глагола, которые служат средствами темпоральной организации текстовой структуры и – вместе с тем – инструментом его композиционно-синтаксического анализа.

Внутри СВ различаются динамический **аористив** и результативный **перфектив**.

Аористивные глаголы активного действия, последовательно сменяя друг друга, двигают развитие сюжета: *В ворота вошла она..., Поднялася на крыльцо И взялася за кольцо* (Пушкин); *Чертопханов... ринулся в конюшню, поднял фонарь над головой, оглянулся* (Тургенев).

Перфективные глаголы включают в событийное время констатируемые перцептором прошедшие изменения: *Прошли года чредою незаметной, И как они переменили нас!* (Пушкин); *Твой след под дождем у колодца Расплылся, налился водой* (Бунин); *Замело тебя снегом, Россия, Запуржило седою пургой* (Ф. Чернов).

Внутри НСВ разграничены **имперфектив процессуальный и узуально-характеризующий**.

Процессуальные глаголы представляют действие или состояние в их протяженной длительности: *По дебрям гнался Лев за Серной* (Крылов); *А грачи так безумно кричали. И так яростно ветлы шумели* (Н. Заболоцкий).

Узуально-характеризующие описывают вне конкретной временной локализованности постоянные признаки, действия, состояния как обычные занятия, умения, свойства, отношения: *Хоть я и гнусь, но не ломаюсь* (Крылов); *Старый музыкант любил играть у подножья памятника Пушкину* (А. Платонов); *Большой кабинет во втором этаже театра двумя окнами выходил на Садовую, а одним – в летний сад Варьете, где помещались прохладительные буфеты, тир и открытая эстрада* (М. Булгаков).

Можно видеть пятую функцию, менее характерную для художественных текстов, в глаголах так называемого общефактического значения, которое нейтрализует оппозицию СВ/НСВ, передавая информацию собственно об имевшем место факте: *Она любила Ричардсона Не потому, чтобы прочла* (Пушкин); *Зато читал Адама Смита* (Пушкин). Ж. Дюрен не без оснований приравнивает общефактическое значение к перфективному.

6. Нельзя не отметить объективные трудности, связанные с терминологией. **П е р ф е к т, п е р ф е к т и в** как наименование форм глагольного времени в древнерусском языке и интернациональное обозначение сов. вида сталкиваются с названием одной из двух его функций – перфектива и аористива, что нередко мешает взаимопониманию специалистов.

При повысившемся внимании к семантике глагола возникает необходимость в уточнении и термина **р е з у л ь т а т и в н о с т ь**.

Он адекватно называет констатируемое состояние лица, предмета, среды как результат предшествующего действия. (Ср. у С.И. Ожегова: **Результат** – то, что получено в завершение какой-н. деятельности, работы, итог [Словарь Ожегова 1992]). Адекватно – если имело место действие, целенаправленное, осознанное субъектом, устремленным к этому результату и достигшим его: *вылечил больного, починил машину, прихлопнул комара, оформил документы, защитил диплом, убрал в комнате и т.п.* – тогда результат предстает как следствие очевидных намерений субъекта. Но перфектив может именовать не собственно действия, а его оценки, интерпретации либо субъектом действия, либо другим лицом, говорящим (*потерял кошелек, провалился на экзамене, опоздал на лекцию, порезался, обознался, ошибся номером...*). Ср. [Богуславский 1963; Гловинская 1989: 113; Апресян и др. 1997: XX]. В подобных случаях "достигнутая цель" не предусматривалась. Перфектив здесь определяет итоговое положение дел, не вытекавшее из намерений субъекта, но осознанное субъектом.

Если человек *споткнулся, заболел, оглох, если сирень расцвела, а за окном стемнело* – перед нами глаголы в перфективной функции, которой говорящий фиксирует изменение состояния, не предполагавшего "достижения поставленной цели". И уж совсем несообразно звучит формулировка видového значения *вздрыгнул* как "моментальное достижение результата". Нет ни цели, ни достигнутого результата у стихийного каузатора перфективных событий: *Молния зажгла сарай* (или *Молнией зажгло сарай*); *Лодку унесло*; *Дорогу замело* и т.п. Разграничение результатива и статива в причастных предикатах (*Окно открыто грабителями* и *Окно открыто весь день*; ср. у Ю.С. Маслова: перфект стательный *Письмо написано карандашом* и перфект акциональный *Письмо написано вчера* [Маслов 1984: 33]) не связано с различием действия и состояния в семантике глаголов и не покрывает всех случаев. Трудно найти термин, который отличал бы результативный перфектив, соотносимый с целеполаганием, от перфектива инволютивного, не зависящего от воли субъекта.

Пословицы насмешливо фиксируют этот незапрограммированный результат соотношением имперфективной и перфективной функций глагола: *Метил в ворону, а попал в корову; Ел бы пирог, да в печи сжег; Ни то, ни се клевало, да сорвалось* и др. под.

Отмечен употребительный в текстах выразительный композиционно-сюжетный прием столкновения аористивного действия с не предвиденным его субъектом инволютивным результатом как неизбежной и поучительной развязкой [Золотова 1998: 458]: *Тут в Океан мои затейницы прыгнули И – утонули* (Крылов); *И лапу протянул к ягненку также он. Ан вышло с Волком худо: Он сам ко Льву попал на блюдо* (Крылов).

Можно попытаться понять "результат" и расширительно, если исходить из того, что все в мире детерминировано причинными связями. Если речь идет не об активных, намеренных действиях, а, допустим, о состояниях природы (*Снег растаял и ушел; Заря догорела; Пруд давно зарос; Яблоня зацвела; Река обмелела; Луна зашла за облако*, а также *Молнией зажгло сарай; Дорогу замело* и т.п.), можно и в этих явлениях видеть следствие природных процессов.

Можно полагать результатом рассеянности, неосмотрительности человека то, что он *зацепился за гвоздь, ушибся, заблудился, потерял документ, опоздал на поезд, вместо шапки на ходу надел сковороду* и подобные непредусмотренные происшествия.

Но если все такие случаи трактовать как результат, останется ли у нас право считать результативность признаком СВ? Ведь *снег тает и растаял, за окном темнеет и стемнело* – результат действия тех же сил; *потерял паспорт и три раза уже терял паспорт, опоздал на поезд и постоянно опаздывает* – объяснимо как результат тех же особенностей природы субъекта. Вряд ли расширительная версия плодотворна.

И все-таки результативность неизменно присутствует в СВ, только разная: в акциональных глаголах, связанных с целеполаганием, результат действия принадлежит **диктумному** плану, в глаголах неакциональных – это не результат с точки зрения субъекта признака, но результат восприятия, осознания наблюдателем, результат его **модусного** плана, он – в моменте фиксации замеченных изменений, при этом констатируемая мера изменений (*темнеет* или *стемнело, поумнел* или *поглупел*) достаточно субъективна.

7. Итак, внимание к смыслу термина позволяет отчетливее увидеть, что названные текстовые функции глагольных форм обязаны своим различием как взаимодействию времени и вида, так и семантике глагола.

Акциональные, динамические глагольные значения участвуют в повествовательных, статических – в описательных фрагментах текста. Единичность, наблюдаемость, локализованность событий во времени предполагают соприсутствие говорящего (наблюдателя, перцептора) и сенсорное восприятие; напротив, нелокализованность, суммированность либо узуальность предполагают дистанцированность его, связь использования категории вида с проблемой "представленной мысли", "представленного сознания" [Jensen 1990: 385].

Комплекс этих признаков стал основанием для выявления коммуникативных типов, или **регистров** речи как моделей разных способов восприятия и представления действительности. Коммуникативные регистры в конкретной реализации и служат конститутивными единицами любого текста [Золотова 1982; 1998]. Это было возможное решение задачи, поставленной В.В. Виноградовым еще в 1930 году, – поиска специфических "речевых единиц как типов, однородных форм словесной композиции, подлежащих систематизации" и приемов их объединений в композиции текстов [Виноградов 1980: 70–71 и др.].

Разграничены пять коммуникативных регистров речи со следующими функциями:

Репродуктивный регистр – сообщает о наблюдаемом, с подрегистрами повествовательным и описательным.

Информативный – сообщает об известном говорящему, об осмысляемом, интерпретируемом, с теми же подрегистрами.

Генеритивный – обобщает знание, мнение, вывод за пределы текстового времени.

Волюнтивный – побуждает адресата к действию.

Реактивный – выражает оценочную реакцию на речевую ситуацию.

Противостоящие сообщениям два последних регистра, выражая в основном диалогические коммуникативные интенции, в темпоральном отношении, в связи со сменой субъекта речи, являют как бы текст в тексте.

Реализуемые в конкретных фрагментах текстов, или к о м п о з и т и в а х, различными комбинациями и чередованиями регистры, выступая носителями текстового времени, и формируют композицию текста. И художественные тексты (*w o r k s o f f i c t i o n*) с их виртуальной ориентацией глагольного времени, и обиходный разговор, и научно-деловой, и газетный – все виды текстов обнаруживают в разных. разумеется, пропорциях и соотношениях регистровую структуру и таксисные связи. подобно тому, как в любом русском тексте неизбежны шесть падежей с соответствующими синтаксическими функциями. Объем регистровых фрагментов в каждом случае различный. Но поскольку предикат является носителем текстового времени. минимальная регистровая единица может соответствовать предикативной (и даже "полупредикативной") единице, если она не входит в состав более крупного, регистрово однородного объединения. Интересно, что близкий результат дает изучение текстового материала даже при совсем иных задачах. А.А. Зализняк, исследуя тексты новгородских берестяных грамот, писанные, естественно, до кодификации пунктуации. выделил синтаксические единицы текстов, обозначенные им как "смысловые ходы": "Простой смысловой ход есть часть совокупного смысла текста: который ... соответствует одной предикативной синтагме" [Зализняк 1987: 160].

Таким образом, разработанная В.В. Виноградовым система основных коммуникативно-значимых видо-временных функций, породившая идею конститутивных единиц речи, подвела лингвистическую базу под более аргументированные исследования и речевых жанров, и художественных текстов, и так называемых функциональных стилей, возбуждая вместе с тем и новые проблемы.

8. Поднимался вопрос о распределении ролей в тандеме время – вид. Поставленный самой историей языка, совместившей две категории в одной форме слова, потеснив в русской грамматике, в славянских грамматиках систему времен в пользу вида, вопрос этот не вызывал колебаний у А. Мазона, на IV Международном конгрессе славистов высказавшегося определенно: "Современная морфологическая система соединяет в своем выражении значения времени и вида, но в употреблении форм вид играет главенствующую роль" [Мазон 1958: 38]. Не все разделяли такую позицию.

Позже ее решительно отстаивает Н.Б. Телин: "Центральную роль в организации темпоральной перспективы дискурса играет вид" [Thelin 1990: 77]. Развивая эту мысль, он пишет: "Идентичным событиям разными наблюдателями / говорящими могут быть приписаны разные темпоральные перспективы как в аспектуальном, так и во временном (*tense*) отношении. Более того, временная перспектива обнаруживает зависимость от аспектуальности" [Thelin 2002].

Убедительно подтверждают это мнение о главенствующей роли вида дальнейшие наблюдения над текстовыми функциями глагола. Выводы В.В. Виноградова о функциях глагольных форм на -л, вытекавшие из естественного преобладания этих форм в Пушкинских повестях, стимулировали интерес и к другим глагольным формам. Оказалось, что те же текстовые функции могут выполняться и формами другого времени.

Ср. прош. и буд. время в функции перфектива: *Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, от тебя, серый волк, и подавно уйду* (сказка "Колобок"). *Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа* (Пушкин). *И как нашел я друга в поколенья, Читателя найду в потомстве я* (Баратынский); – *Пропал я, – подумал Василий Андреич, – потеряю и след, и лошади не догоню* (Л. Толстой).

Вот будущее время в аористивной функции: *Давай мне мысль, какую хочешь. Ее с конца я завострю. Летучей рифмой оперю, Взложу на тетиву тугую, Послушный лук согну в дугу, А там пошлю наудалую, И горе нашему врагу!* (Пушкин).

Как ни удивительно, но настоящее время, не имеющее СВ, в силу семантики и текстовых условий, способно функционировать и как (а) аористив и как (б) перфектив:

(а). *В руки он ее берет И на свет из тьмы несет И, беседа приятно, в путь пускаются обратно* (Пушкин); *Петушок кричит опять, Царь скликает третью рать И ведет ее к востоку* (Пушкин);

(б). *Летят за днями дни, И каждый час уносит Частичку бытия* (Пушкин); *Пелагея Сергеевна слушает звон, но никаких царей-государей не вспоминает, ничего не вспоминает она. – вся ее память закрыта, все воспоминания погашены* (А. Ремизов); *Так вдруг сметает буря ветхий дом И только чисто поле остается* (И. Бродский).

Этот факт – употребление презенсных форм НСВ в качестве СВ – отмечался в литературе, его подвели под понятие "нейтрализации видов". Но нейтрализации здесь не происходит, глаголы несом. вида выполняют функции, свойственные сов. виду. Это отчетливо проявляется, когда "нейтрализацией" играют как средством языковой шутки. Так, в Московском Пен-клубе один писатель говорит о другом: "Он все это время жил за границей. Но теперь приезжает. Время от времени". Спровоцированное точкой (интонацией конца фразы) восприятие сообщения в перфективном смысле ('решил вернуться') сменяется иронией по отношению к итеративно-туристическим наездам субъекта.

Для перфективной функции вообще, а при несом. виде особенно, характерно соединение инволютивной результативности с текстовой итеративностью: *И с каждой осенью Я расцветая вновь* (Пушкин) (ср. наблюдения в [Поспелов 1990]).

Вот еще пример такой итеративности в глаголах с перфективной функцией в изъявительном и сослагательном наклонении: *Из страха, как бы ее не рассчитали и не услали домой, она роняла и часто била посуду* (Чехов).

«Даже когда мы говорим: "Его постоянно преследует рок" – и тут, если вдуматься, это преследование представляет собою не непрерывную линию, а ряд отдельных ударов, отдельных подножек, подбивающих человека...» [Гаспаров М. 1994: 219]. Это рассуждение М.Л. Гаспарова о природе рока поясняет и связь перфективности с итеративностью.

В современной речи презенсный перфектив активизировался в сообщениях о спортивных результатах. *На очко отстает "Милан"; Американский теннисист занимает вторую строчку; Лидирует "Спартак"; "Феникс" проигрывает на своем льду. Кроме того, хозяева проиграли еще три встречи* (из "Спортивных новостей". Радио 1998–2000). В жанре спортивного репортажа с места события презенс, напротив, функционирует обычно как имперфектив процессуальный либо как аористив: *Игрок ведет мяч, пасует, набирает скорость, передает его другому; судья объявляет штрафной удар и т.п.*

Разумеется, имперфективные функции обычны для форм и настоящего и будущего времени НСВ. Но текстовые функции глагольных форм выражены и в безглагольных предложениях; см., например:

Тут бедный Фока мой... Схватя в охапку Кушак и шапку, Скорей без памяти домой (аористив) *И с той поры к Демьяну ни ногой* (перфектив) – (Крылов); *Тут рыцарь прыг в седло и бросил повод* (аористив) – (Крылов); *Пустился конь со всех четырех ног На славу ... Левей, левей* (аористив), *и с возом – бух в канаву!* (перфектив) – (Крылов); *Сапожком – робким и кротким За плащом – следом и следом* (имперфектив) – (М. Цветаева).

В фольклорной прибаутке обыгрывается не только соотношенность глагольности и безглагольности, приставке и предлогов, но также соотношенность аористивов и перфективов: *Я влез, и он в лес, Я завяз, и он за вяз* (В. Даль).

Далее материал показывает, что те же функции сохраняются и в отглагольных образованиях – не только в причастиях и деепричастиях, но и в существительных – девербативах:

А о р и с т и в: *Вдруг выстрел. Старец обратился* (Пушкин); *По крыльцу шаги ... Шаги в сенцах... Шаги у самой двери* (Шолохов); *Но вот рывок обратно – И к новой жертве* (Бродский).

П е р ф е к т и в: *Вы улыбнетесь – мне отрада. Вы отвернетесь – мне тоска* (Пушкин); *У Гаганова опять промах* (Достоевский); *У него, как оказалось, вывих* (Шолохов).

И м п е р ф е к т и в: *В народе смятение, крики, рыдания* (Достоевский); *Что ни день, то метель* (Пастернак); *Целый день, с раннего утра – грохот по бульвару* (Гиляровский).

Возможность выражения таксисного перфектного значения неглагольными средствами отмечалась (без конкретизации примерами) в статье [Телин 1988: 247] и др. работах.

Напомним, что каждый девербатив в предложении, в тексте, будучи "полупредикативной" единицей, является носителем таксисного времени (так же как модальности и лица) и – соответственно – композиционно-синтаксической функции.

Обобщая названные грамматические неожиданности, коммуникативная концепция предлагает следующее объяснение их:

1. Текстовые, композиционно-синтаксические функции – это свойство не только глагольных форм, но всех **предикатов**, различной структуры, реализующих эти функции через соответствующий коммуникативный регистр в построении текста.

2. Выражение текстовых функций предикатами разной грамматической природы свидетельствует о **полевой структуре** этого звена системы – с грамматикализованными средствами (видо-временными формами глаголов в их основных текстовых функциях) в центре и всеми прочими – на периферии [Золотова 1998]. В соотношении этих средств, в выборе их проявляется взаимодействие грамматики и лексики, его компенсационные закономерности (см. [Виноградов 1947; Трубачев 1976; 1998]).

3. Широта технических возможностей материализации текстового времени в русском языке – с одной стороны, наличие адекватных межязыковых переводов, сохраняющих композиционно-темпоральную структуру оригинала – с другой, подтверждают гипотезу об **универсальном** характере основных композиционно-синтаксических функций предиката и коммуникативных регистров речи, тем или иным способом оформленных в разных языках.

9. Сложившиеся грамматические представления естественным образом направлялись движением лингвистических интересов последнего столетия от низших уровней языка к высшим.

Поэтому проблемы аспектуальные, темпоральные и прочие воспринимались от выстроенных знанием морфологических систем форм, парадигм слова. На пути

к осмыслению высказывания, текста как лингвистических объектов формулировалось наличие "двух проекций: на языковую систему и на речевое произведение" [Аспектуальные и темпоральные значения... 1983: 11]. Сочинительный союз и не означает здесь даже однородных, рядоположных отношений, поскольку выдвигается условие: лишь на базе традиционного анализа грамматических форм слова как морфологических категорий возможен "дополнительный тип функционального анализа" [Там же: 14]. "Функциональность" анализа проявляется в именовании грамматических категорий функционально-семантическими полями, а позже еще и категориальными ситуациями. Категориальная ситуация в свою очередь оказывается корзиной, в которую рачительно ссыпаны все известные грамматические понятия (аспектуальность, темпоральность, модальность, персональность, залоговость, количественность, качественность, определенность, таксисность, бытийность, поссессивность, компаративность, локативность, причинность, предикативность, кондициональность и др.), вокруг которых еще "группируются средства иных уровней..." [Там же: 16–18].

Естественно, что такой системе, неподвижно аккумулировавшей представления очень уважаемых ученых-предшественников, недостает объяснительной силы и собственно системности. Важно ведь не просто признавать "две проекции: языковой системы и речевого произведения" (в других вариантах: язык и речь, система и текст, две ипостаси, даже "две формы существования" языка), но и выявить их соотношение.

Речь, текст – не "вторичный феномен". Реально есть одна форма существования языка – в речи, в речевых произведениях. в процессе коммуникации, в тексте. "В действительности язык не что иное как устные и письменные тексты, то есть попросту все, что говорится и пишется" [Mańczak 1970: 6]. Утверждение *Nihil est grammatica, quod non fuerit in dicto* Л.В. Щерба поставил эпиграфом к своей знаменитой статье [Щерба 1974: 24]. То, что называем языковой системой, – это попытка человеческого сознания выработать представление об устройстве реального языка, это виртуальный, исторически изменчивый и неизменно несовершенный образ языка. Вера части лингвистов и педагогов в истинность и незыблемость сегодняшних и вчерашних научных постулатов не способствует ни развитию исследований, ни подготовке любознательной смены. К сожалению, традиционно-грамматическая база, на которой вырастают лингвисты разной специализации, ограничивает свободу мысли и в других областях. Не уместно ли вспомнить слова Монтеня: "Основа большинства смут в мире – грамматическая", хотя их автор имел в виду мир более широкий.

Надо полагать, что "две проекции" соотносятся как **первичная** – язык в речи, в тексте, и **вторичная** – язык в головах лингвистов, в научных системах. Можно видеть между ними причинно-следственные отношения: вторичная существует постольку, поскольку существует первичная. (У говорящих – нелингвистов естественно, по мере развития речевых способностей в языковой среде, складывается более или менее интуитивное осознание системных закономерностей языка.) И справедливее считать функционирование языка – не "дополнительным типом анализа" к анализу грамматических форм, но основным объектом изучения реальной сущности, а грамматические формы – одним из компонентов анализа. Грамматические формы – ведь только средства оформления значимых и функционирующих в построении текста языковых единиц, поэтому идентифицирующим признаком любой единицы является **триединство формы (морфологической), значения (категориально-семантического) и функции (коммуникативно-синтаксической)**.

Именно предназначенность к тому или иному способу функционирования в тексте, текстовое назначение, и может служить ориентиром и критерием в грамматических квалификациях и классификациях.

Опытный аспектолог признает с сожалением, что "сталкивается с ситуацией неопределенности: языковые средства недостаточны, чтобы понять..." [Аспектуальные и темпоральные значения... 1983: 54].

Если же работать не с препаратами, а с живыми текстами, то "недостаток языковых средств" и восполняется информацией, предоставляемой исследователю контекстом, тем коммуникативным типом текста, в котором форма реализует свои возможности. Так, в примерах *Он медленно одевается*, *Больная причесывается с трудом* цитируемый автор видит "обычное, повторяющееся действие в его протекании", а в примере *Она причесывается со вкусом* – значение "только результата действия", причем обычного, повторяющегося. Но в контексте, допустим: *Врач видит, как больная медленно одевается, причесывается с трудом* или: *Муж нервничает, нетерпеливо поглядывая на часы. Она причесывается со вкусом, не торопясь, примеряет украшения...* – те же предложения, те же глагольные формы выражают не узуальное, а актуальное действие, протекающее на глазах наблюдателя.

Обстоятельства *медленно, с трудом, не торопясь, со вкусом* сами по себе не служат маркерами, они могут характеризовать и узуальное действие в информативном регистре, и актуальное в репродуктивном (понятно, что *со вкусом* может иметь значение 'испытывая удовольствие от своего действия'). Оценочные же характеристики выводят сообщение из репродуктивного регистра, потому что оценка – обобщающе-ментальное явление. И понятие оценки не равно понятию результата, к которому стремится действующий субъект (ср. *Он одевается со вкусом* и *Он одевается безвкусно*), оценка выражает мнение другого, других субъектов, даже если совпадает с самооценкой. Не выражая сама результата, оценка тяготеет к словоформе с грамматическим значением результата (ср.: *одет, причесан по моде, красиво, со вкусом*, но не: *одет, причесан медленно*).

Неизбежный вопрос о пределах нужного окружения решается, как показано выше, разграничением коммуникативных регистров речи: регистровые признаки либо заложены в семантике слова, либо обнаруживаются в таксисных отношениях соседствующих предикатов и референтных характеристиках предметов, обусловленных позицией говорящего.

10. Итак, в методологической триаде "значение" (что выражено?), "форма" (чем выражено?) и "функция" (зачем?), обоснованной в прежних работах [Золотова 1973; 2001], уточнены с проекцией на категории вида и времени понятия второго и третьего компонентов: **функция** – композиционно-синтаксическая роль видо-временной формы глагольного предиката в организации текстового времени; фиксированные видо-временные формы глагольного предиката – центральные **формы** выражения этой роли, среди прочих, периферийных средств, глагольных и неглагольных.

Остается внести необходимые уточнения в понятие 'значение'. Это приблизит нас и к ответу на вопрос, поставленный в начале статьи. На уровне лексики, в лексикографии мы ищем индивидуально-неповторимое значение слова. На уровне грамматики, в синтаксисе предложения и текста мы выявляем категориальное значение групп, подклассов слов (что в свою очередь может способствовать и систематизации словарных их определений). Выше рассматривалась релевантность с точки зрения видо-временных проблем размежевания акциональных глаголов (действия) и неакциональных (состояния, отношения и пр.). Эта оппозиция, отображающая реальные, внеязыковые характеристики явлений, обнаруживается и в морфологических, и в конструктивных свойствах соответствующих глаголов.

Категориально-семантическое значение глагола – это и ответ на вопрос *что выражено? о чем говорится?* в предложении: о действии (лица), о состоянии (лица, предмета, среды) и т.п. Этот же критерий естественным образом ложится в основу системной классификации типов предложения [Золотова и др. 1998: 105–108]. Как же проявляются категориально-семантические различия в текстовом функционировании видо-временных форм глаголов?

Обратимся к текстам. Вот в "Евгении Онегине" "волшебница зима"

*Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сровняла пухлой пеленою...*

Явление даже олицетворенной зимы представлено рядом типичных перфективов, лишенных временной перспективы, в синхронном восприятии составляющих единую картину.

Позволим себе вольный эксперимент, используя лексику этого фрагмента, допустим: *Пришла с работы, расплакалась, повисла на плече у мужа, легла, уткнувшись в подушку...*

Действия личного субъекта при сходстве лексики и сохранении глагольной морфологии предстают в динамике, последовательно сменяющимися друг друга, то есть в аористивных функциях.

Даже в пассивно-причастных формах, при неназванных действующих лицах. результаты личных действий выстраиваются в последовательный ряд:

Осмотрен, вновь обит, упрочен

Забвенью брошенный возок (Там же).

В рамках одного стихотворения ("Утро" И. Никитина):

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.

*Белый пар по лугам **растопляется**.*

По зеркальной воде, по кудрям лозняка

*От зари алый свет **разливается**.*

Дремлет чуткий камыш...

Едва ощутимая динамика наступающего утра передана в монотемпоральной картине имперфективами настоящего времени. Появляются люди – их действия целенаправлены и последовательны:

*Рыбаки в шалаше **пробудились**,*

*Сняли сети с шестов, весла к лодкам **несут**...*

(перфектив пробуждения, аористив сняли СВ прош. времени и презенсный аористив, включающий их действия в настоящее время наблюдателя).

Нет сомнений, что текстовые функции видо-временных глагольных форм тесно связаны с категориальной семантикой глагольного слова. В зависимости от значения, акционального/неакционального прежде всего, глагол располагает большими или меньшими и грамматическими, и текстовыми возможностями. Эти различия наглядны, например, в полисемических глаголах.

Ср. (1) *Рыбаки идут берегом.* (2) *Дорога идет на юг,*

(3) *Гости спускаются к реке.* (4) *Сад спускается к реке.*

В отличие от акциональных глаголов в примерах (1) и (3), располагающих полной морфологической парадигмой, глаголы в примерах (2) и (4), неакциональные, с пространственно-релятивной семантикой, не имеют парадигмы по лицу, не употребляются в императиве и в деепричастной форме, нетипичны и в сов. виде. Ограниченны и функционально-текстовые потенции неакциональных глаголов. Им свойственна имперфективно-характеризующая функция, тогда как акциональный может употребляться во всех функциях, во всех регистрах.

Набор текстовых возможностей глагола составляет его **функционально-синтаксическую парадигму**.

Приведем примеры глагола движения с личным субъектом в разных функциях из "Евгения Онегина".

Но наконец она вздохнула И встала со скамьи своей;

Пошла... (аористивная функция в репродуктивном регистре);

Идет, на мертвеца похожий. Нет ни одной души в прихожей. (имперфективно-процессуальная функция в репродуктивном регистре);

Недели две ходила сваха К моей родне... (имперфективно-процессуальная функция в информативно-повествовательном регистре);

Она езжала по работам. Солила на зиму грибы... Ходила в баню по субботам (имперфективно-характеризующая функция в информативно-описательном регистре);

Она ушла. Стоит Евгений, Как будто громом поражен (перфективная функция в репродуктивном регистре);

"Ты ей знаком?" – "Я им сосед". –

"О, так пойдём же". (аористивная функция в волюнтивном регистре);

"Однако в поле уж темно; Скорей! пошел, пошел, Андрюшка!" (перфективная функция в волюнтивном регистре).

Таким образом, глаголы акциональные, как ядро глагольной части речи, изосемические носители категориального значения действия, обычно располагают полной морфологической парадигмой и самыми активными потенциями функционально-текстовыми.

В связи с задачами классификации глаголов в литературе обсуждался вопрос об иерархии глагольных признаков. В качестве высшего принципа выдвигался критерий переходности/непереходности (А.А. Холодович, А.В. Бондарко, Г.Н. Акимова и др.).

Проверка материалом показала иерархическое превосходство акциональности над переходностью [Золотова 2001: 51]: акциональность/неакциональность различаются и в пределах переходности/непереходности ср.:

Акциональность:

И пошли они солнцем палимы

(Некрасов);

Вижу надписи вдоль по карнизу

(Некрасов);

И выходит удалой Кирибеевич

(Лермонтов);

Вечером папа сказал:

– **Ну-ка, покажи свой дневник!** (Зощенко)

Неакциональность:

Пошли приветы, поздравленья

(Пушкин);

Я тут беды еще не вижу (Пушкин);

Окно выходит в лес (Окуджава);

Лай собак показал, что карета приехала в деревню (Л. Толстой).

Академическая Грамматика-80 допускает трактовку понятия 'действие' "в грамматически обобщенном смысле (в отличие от более конкретного содержания понятия 'действие', когда имеется в виду различие между активным действием и пассивным состоянием)" [Русская грамматика 1980: 582]. Тем самым ограничивается возможность дать более объективную и объяснительную информацию о грамматических свойствах глаголов, их подклассов и категорий.

К сожалению, и яркие представители следующего поколения аспектологов идут не от изучения семантико-грамматических свойств глагола, а от прочитанных книг, классификации которых повторяют без проверки, что сразу вынуждает окружать дефиниции оговорками, не спасающими от противоречий [Зализняк А., Шмелев 2000: 35–36, 42–43]. Авторы признают три способа концептуализации всего происходящего в мире: "как состояния, события и процессы".

"С о с т о я н и е – это положение дел, сохраняющееся неизменным на протяжении некоторого отрезка времени: *Маша любит Петю*... Когда одно состояние сменяется другим, это... – с о б ы т и е". А если *Маша сегодня любит Петю, а завтра Васю* – это состояние или событие? "П р о ц е с с – это то, что происходит

во времени. Процесс состоит из последовательно сменяющихся фаз и обычно требует энергии для поддержания: *мальчик гуляет, костер горит.... вода кипит*". А к состоянию эти признаки нельзя отнести?

"Ключевое утверждение" состоит в том, что глаголы сов. вида всегда обозначают события. Правда, "могут обозначать события несколько особого рода". В самом деле, *моргнул, кашлянул, вздремнул, даже поспал, поел, подумал, пожевал губами*, – события особого рода. Упомянут, но недооценен существенный признак для различения действия и состояния – контролируемость/неконтролируемость [Булыгина 1982].

В конце главы на примелькавшуюся *тропинку около леса* впущена фигура наблюдателя. Языковое чутье авторов требует расширения тропинки: "Вообще говоря, наблюдатель присутствует и в таких предложениях, как *температура повысилась; Он постарел; Она похудела* ...так как все они описывают изменение по сравнению с предыдущим моментом наблюдения". Что же такое "все они" – состояния, события, процессы? Кинематографическую метафору "монтажный стык", отражающую "смену ситуации", можно применить к аористивной функции глагола, но с каким предшествующим кадром смонтировать перфективное сообщение, допустим. *Он поумнел; Рано чувства в нем остыли, Лучи побледнели* и под.?

Можно посочувствовать авторам, которые, приняв из чужих рук готовую концепцию мира, не выработав собственных критериев для опоры в анализе, вынуждены заверять, что фундаментальность концептуальных категорий не допускает их точного определения, что "выбор вида не всегда обусловлен смыслом", а "попытки найти инвариант видового противопоставления обречены на неудачу".

11. Все-таки будем продолжать поиски. Вот еще одна существенная грань проблемы.

В реальном характере самих действий, определившем семантику глаголов, есть еще важное, естественное различие, подводящее к вопросу об истоках видовой оппозиции. Действия и состояния *писать, идти, говорить, пилить, лежать, строить, сидеть, литься, расти, учить, мечтать, слушать, думать, учительствовать, важничать* и т.д. по природе своей протяжённы, длительны, соответственно, семантике подобных глаголов внутренне присуща имперфективность.

Действия и состояния *ударить, споткнуться, остановиться, очнуться, уронить, вскочить, мелькнуть, прыгнуть, встать, включить, дернуть, уколоть, махнуть* по природе своей мгновенны, однократны, соответственно, семантика подобных глаголов аористивна, содержит в себе как бы границу сменяемости. Еще А.А. Потехня отмечал "естественную моментальность" глаголов типа *чихнул, толкнул* [Потехня 1977]. Глаголы с перфективной семантикой, как говорилось выше, называют не столько действие, сколько интерпретацию его, оценку говорящим, в той или иной мере ретроспективную: *надоел, осточертело, устал, добился, догнал, исчез, постарел, изолгался, засиделся, набедствовался, втянулся, спился, пощадил, пропал, опоздал, победил, выиграл* и т.п. Обычно перфективные констатации, свидетельствуя наблюдаемый итог, следствие происшедших процессов, изменений, не занимают отдельного отрезка текстового времени:

Тут она, взмахнув крылами, Полетела над волнами, И на берег с высоты опустилась в кусты, Встрепенулась, отряхнулась И царевной обернулась (Пушкин); *Колокольчик вдруг умолк, кони стали* (Пушкин); *Яичко упало и разбилось* (Сказка).

Не случайно имперфективный характер сохраняют deverбативы типа *чтение, разговор, ходьба, учение, таяние, лежание, мечтание, слушание, дремота*, аористивный – *удар, прыжок, шаг, кивок, поклон* и под., перфективный – *ошибка, описка, удача, выигрыш, победа, провал, разгром, исчезновение* и под., реализуя соответствующие текстовые функции в таксисных отношениях.

Можно полагать, таким образом, что в корне или основе глагольного слова заложена одна из возможных текстовых функций, соответствующая онтологической природе названного действия/состояния. По ходу речи говорящему необходимо включить обозначения действий, состояний в текстовое время, в таксисные связи. Говорящий использует глагол, либо сохраняя его исходную функционально-семантическую характеристику, либо "преодолеывает" ее, приспособляя глагол к нужной ему представлению действий в связанном потоке событий. Здесь возникает потребность длительное действие ограничить временными рамками, однократное мультиплицировать, перфективное состояние представить как итеративное и т.д. Все эти операции и осуществляются с помощью могучей морфологической техники "перфективации" и "имперфективации", и фазисных глаголов, и так называемых "способов действия".

Важно при этом, что вся мощь этой техники обычно не в силах побороть первичную, естественную семантику глагола: "перфективация" глагола протяженного действия/состояния ограничит, но не аннулирует его протяженность: *говорил – поговорил, рос – подрос, дремал – задремал, важничает – разважничался, слушает – заслушался* (как в фольклоре: *Течет река – не вытечет, Бежит, бежит – не выбежит*); "имперфективация" глагола однократного действия представит его многократным, но не протяженным: *ударил – ударял, встал – вставал, выключил – выключал, споткнулся – спотыкался*, а перфективный по природе глагол не сделает имперфективно-длительным: *добился – добивался* (каждый раз), *победил – побеждал* (неоднократно), *засиделся – засиживался, исчез – исчезал, опоздал – опаздывал*.

Вопрос о том, однократный глагол типа *споткнуться, прыгнуть* или многократный *спотыкаться, прыгать* первичен, может быть, не так и важен в рассматриваемом аспекте, поскольку в этой паре остается противопоставленность мгновенного действия многократному, тогда как в парах *запеть – петь, дочитать – читать* оба действия длительные, только первое с ограничением этой длительности.

Эффектный прием А.В. Исаченко [Исаченко 1960: 132–133] (ср. [Зализняк А., Шмелев 2000: 32]), сопоставившего для выражения процесса в несов. виде и в сов. виде позиции говорящего – участника первомайской демонстрации и говорящего – наблюдателя с трибуны, не учитывает семантической природы данного процесса – длительного действия, поэтому оказывается практически неэффективным: и для того и для другого говорящего процесс может быть обозначен одними и теми же видовыми способами: *мы идем, проходим мимо трибуны, они идут, проходят, мы, они проходили, прошли* и т.п.

Вот примеры индивидуально-художественного преодоления видовой природы глаголов перфективного состояния ради придания им итеративности (у Гоголя), напряженно-целенаправленной длительности (у М. Цветаевой): *Но где ни показывалось пятнышко, там звезды, одна за другою, пропадали на небе* (Гоголь. Ночь перед Рождеством); *Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком, и ему тотчас показывалось, что он открывает рот и выкашливает зубы* (Гоголь. Страшная месья) – (оба примера из статьи [Кюльмоя 1983: 61], приведенных там в другой связи); *Так вчувствовывается в кровь... Так влюбляются в любовь: Впадываются в пропасть...* (М. Цветаева. Так вслушиваются...).

Интересен совет Чехова о том, как формировать читательское восприятие протяженности текстового времени: *...разговор их надо передавать с середины, дабы читатель думал, что они уже давно разговаривают* (Чехов, из письма Л.А. Авиловой, 1892).

"Вид зависит от того, как рассматривается действие" [Мазон 1958: 37]. Подчеркнем здесь слово *рассматривается* и заметим, что из двух возможных субъектов (кем?) "говорящим" (интуитивно) и "исследователем" (аналитически) – второму надлежит следовать за первым.

Эта потребность говорящего в преобразовании исходной видовой семантики глагола в иную, производную "конфигурацию" [Кароляк 1995: 102] и составляет базу видовой оппозиции СВ – НСВ. Подобная идея звучала в литературе (С. Кароляк – активный проводник ее), но как-то не укрепились, не поднявшись до коммуникативно-текстовой проблематики.

Может быть, в соответствии с послезейнштейновской методологией (по Барту, см. выше), эта идея и подготавливает "относительную систему отсчета" в исследовании категории вида?

В упомянутом докладе на IV съезде славистов А. Мазон обсуждал и концепцию "естественного" вида, предложенную А. Беличем: по Беличу, "естественный" вид зависел от самого значения глаголов *пасти* (упасть), но *съдѣти* (сидеть), и хотя мэтр позволил себе поиронизировать по этому поводу («Так называемый "естественный" вид может объяснить не больше, чем способность ко сну объясняет сон»), заключил тем, что "естественный вид способен вполне соответствовать в большом количестве случаев определенной реальности" и что "концепция достаточно обоснована, по крайней мере, в виде здравых предположений о происхождении вида" [Мазон 1958: 55, 56].

12. Становление видо-временной системы – большая проблема истории русского языка. Она не может решаться без изучения структуры древнерусских текстов, что подтверждают исследования акад. Д.С. Лихачева. В книге "Поэтика древнерусской литературы", анализируя темпоральную организацию фольклорных жанров, Д.С. Лихачев констатирует однонаправленность, сюжетную однолинейность времени в сказке, замкнутость эпического времени в былинах. "Отсутствие забеганий вперед и возвращений назад находятся в фольклоре в связи с отсутствием в нем автора". "Без автора нет возможности смотреть на время действия из какой-то определенной временной точки". "В фольклоре нет временной перспективы, определяемой личностью автора; так же точно как в средневековом искусстве нет пространственной перспективы, определяемой позицией художника-наблюдателя" [Лихачев 1971: 265–266].

М. Бахтин писал об эпическом времени, что "оно отгорожено абсолютной гранью от всех последующих времен, и прежде всего от того времени, в котором находится певец и его слушатели... Временные и ценностные определения здесь слиты в одно неразрывное целое (как они слиты и в древних семантических пластах языка)" [Бахтин 1975: 459].

"Однонаправленность художественного времени" характеризует и древнерусскую литературу. "Летописец не столько рассказчик, сколько протоколист. Летописец рассказывает только о динамике, а не о статике жизни... Повествование следует за событиями, не нарушая их реальной последовательности" [Лихачев 1971: 294, 282, 289]. "Субъективный аспект времени... не был еще открыт в средние века... Время казалось существующим только в его объективной данности... Время для древнерусского автора не было явлением сознания человека" [Там же: 278].

Д.С. Лихачев далее показывает, что с внедрением в летописную сеть исторического повествования "литература одолевала документ". "В связи с усиливающимся стремлением к изобразительности все более совершенствуется художественное время" [Там же: 304, 818]. "Субъективность времени у Аввакума обусловлена появлением индивидуализированной авторской личности" [Там же: 338].

Итак, в приведенных, может быть и пространных, цитатах из трудов специалистов перед нами предстают два процесса – в языке и литературе, – связанных причинно-следственной связью. Потребность рождает, оттачивает средства, средства реализуют и совершенствуют потребность.

История повествовательных форм развивается по мере того, как осознается пишущим его роль в представлении событий, по мере того, как углубляется взаимодействие временных планов T_2 и T_3 . От однолинейной констатации повествовательных фактов в летописях, в фольклорных жанрах литература постепенно движется в направлении все большего усложнения темпоральной структуры текста. Текстовое

пространство становится объемным, все разнообразнее проявляются и соотносятся в нем субъективные точки зрения, перемещается наблюдательный пункт автора, сменяются уровни абстракции.

13. Каково же место говорящего субъекта в сложившейся противопоставленности СВ и НСВ?

Можно полагать, что критерий различия между ними – в направлении взгляда говорящего, рассказчика, перцептора. «"Взгляд" говорящего на действие будем и называть *видом*», – предлагает Ж. Дюрен [Дюрен 2002: 281].

СВ означает, что взгляд говорящего пересекает линию процесса перпендикулярно, фиксируя заставаемое положение дел, исчерпанное ли (*построил, нашел, исчез*), продолжающееся ли (*постарел, подрос*), либо вытесняемое, сменяемое другим действием на той же линии времени (*повернул ключ, открыл дверь, вошел*). В последнем случае, аористивном, "взгляд" можно сравнить с минутной стрелкой, которая фиксирует пересечение круговорота времени черточками на циферблате, как бы не замечая промежутка, хотя реально процесс движения и происходит между черточками; ср.: [Степанов 1997: 182]. "Совершенный вид... придает действию характер определенной вехи на оси времени", – писал Ж. Вейренк [Veurenc 1980: 4]. Выразительное определение нашел Жан Поль Седон в своей диссертации: "хронотворное время аориста".

НСВ означает, что говорящий/перцептор на протяжении некоторого времени сопровождает процесс взглядом либо, по слову А.В. Исаченко, "находится как бы в потоке самого процесса" [Исаченко 1960: 133], и в том и в другом случае не отмечая его пределы. НСВ "передает синхронность позиции повествователя" [Успенский 1970: 98]; уточним: повествователь, перцептор синхронен только НСВ процессуальному и наблюдаемому, но не НСВ характеризующему. Временные рамки и таксисные отношения – одновременность, последовательность, прерывистость, повторяемость и др. – выражаются морфемными способами или контекстно (*лежит и молчит; попискивает; пили чай, болтали, сидели допоздна; захаживал, беседовал с дедом*).

"Взгляд" говорящего надо понимать как сенсорное восприятие наблюдаемой ситуации – в репродуктивном регистре ("чувственное время", как пишет Ж. Дюрен), а в ненаблюдаемой ситуации – как охватываемую мыслью ментальную информацию в отношении нелокализованного текстового времени (в информативном) и за его пределами (в генеритивном регистре).

Вряд ли правомерна сформулированная Р.О. Якобсоном оппозиция времени как шифтерной глагольной категории (зависимой от речевой ситуации) виду и таксису как нешифтерным [Якобсон 1972: 101, 104]. Вид и таксис, как и представляемое в речи время, неотделимо связаны с точкой зрения говорящего субъекта и конструируемой им ситуацией речи.

14. Из сказанного вытекает неизбежность пересмотра и уточнений принятых определений вида. Аспектологическое знание пробивается сквозь слои формулировок, уважительно переписываемых из предшествующих работ. Из-за того, что значение многих слов, пришедших из вторых-третьих рук, не определено точно, дефиниции оказываются противоречивыми и недостаточно информативными.

Вот одна из формулировок, подытоживавших полувекковой аспектологический опыт такого значительного специалиста как Ю.С. Маслов: «В отличие от категории глагольного времени, вид связан не с дейктической темпоральной локализацией действия, а с его внутренней "темпоральной структурой", с тем, как она интерпретируется говорящим» [ЛЭС 1990: 83].

Теперь уже трудно согласиться с тем, что и вид, и время целесообразно определять через дейктическую темпоральную локализацию действия. Надеюсь, удалось показать, что видо-временные функции глагола в тексте ориентированы на иные точки отсчета, чем время морфологической парадигмы, и выбор видо-временных форм зависит от потребностей говорящего организовать текстовое время.

Верно найдены слова об интерпретации говорящим (они встречаются у А.В. Бондарко, Б. Комри, И.Б. Шатуновского и др.) – но *чего?* Что такое «внутренняя "темпоральная структура" действия»? Внутренняя по отношению к чему? Противопоставление понятий внутреннее/внешнее используется аспектологами нередко. Но, оказывается, употребляются эти термины разными авторами в противоположном смысле. Обнаружились две тенденции, которые нуждаются в домыслении.

Приведенная формулировка из ЛЭС построена на противопоставлении времени, действительной локализации с одной стороны, – и вида, внутренней темпоральной структуры действия, с другой. Значит ли это, что внутреннее – недействительное, то есть не речевая ситуация, а сама речь и текст? Или морфемная организация глагола СВ и НСВ?

В ином смысле прочитывается тот же термин в определении **Аспектных модификаций** у В. Матезиуса: "...при переходе из класса в класс изменяется только внешний аспект соответствующих значений, а их общая основа остается неизменной"; цит. по [Вахек 1964: 38].

Если принять во внимание, что латинское *aspectus* и означало 'внешний вид, облик' (с этой этимологической справки начинается и статья Ю.С. Маслова **Аспектология** в ЛЭС [ЛЭС 1990: 47]), можно думать, что больше оснований считать в н у т р е н н е й , о б щ е й о с н о в о й глаголов семантику акциональности/неакциональности и моментальности/длительности, не изменяющуюся при видовых преобразованиях, при переходе из одного вида в другой, а в н е ш н и м – то видовое облачение, которое придает им интерпретация говорящего в интересах его текста.

Так или иначе, двусмысленность термина мешает ему участвовать в выяснении сущности такого непростого явления, как вид. Столь же неоднозначно и понятие изменение характера действия, которое используется как ключевое во многих аспектологических и словарных определениях вида.

Выше (п. 10) показано, что именно изначальный характер действия, отражающий объективную реальность, заданную самой природой, остается неизменным, приспосабливая свое видовое аффиксально-морфологическое оформление к потребностям данного текста. Языковое сознание фиксирует в речи не изменение этого характера действия, но характер восприятия, представления действия.

Вот еще примеры: *Гуси-лебеди полетали – полетали, покричали – покричали и ни с чем улетели к Бабе Яге* (Сказка). Приставка *по-* "ограничительного способа действия", действительно, ограничивает протяженность действия во времени, но, переводя глагол в СВ, не меняет ни "способа действия", ни длительного характера действия, еще и подчеркиваемого повтором; *Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло, и вдруг яростно ударил шлем оземь...* (Булгаков). И здесь приставка *по-*, не меняя характера длительного действия, отмечает лишь его начальную границу, устанавливая таксисную последовательность.

"Таким образом, мы видим различие мнений там, где велика доля словесных заблуждений" [Мазон 1958: 42].

Как возможное, предложим следующее определение **вида**: вид – это грамматическая категория, выражающая способ, которым говорящий передает свое одномоментное либо длительное восприятие предикативного признака или обобщенное знание о нем, включая его в таксисные отношения порождаемого текста. Не случайно русский термин "вид" – корень глагола *видеть*.

Различая семантику глагола и ее видовую интерпретацию, можно утверждать, что составляющими глагольного вида служат семантика глагола как объективная база (з н а ч е н и е) и авторская, субъективная интерпретация процесса средствами СВ или НСВ в интересах данного высказывания (ф у н к ц и я).

Что касается ф о р м ы, то известен набор словоизменительных и словообразовательных средств выражения значений времени и вида. Но обнаружено много случаев, свидетельствующих о нежесткой привязанности глагольных функций к определенным

морфологическим средствам. Таким образом, время и вид несводимы к морфологическим категориям глагола. Это категории предиката и текстовой структуры.

Один из первопроходцев текстовой проблематики Б.М. Гаспаров еще в 1979 году высказывал надежду, "что обнаружение лингвистических закономерностей построения текста окажет влияние на изучение грамматических категорий" [Гаспаров Б. 1979: 112].

Хотелось бы думать, что изложенная концепция представляет некоторые шаги в ожидаемом направлении.

Изучение категорий вида и времени в их естественном функционировании – как организаторов текста – открывает

- а) возможности дальнейшего обсуждения дискуссионных вопросов об их природе;
- б) возможности перспективных поисков лингвистических решений – с опорой на критерий взаимообусловленности формы, значения и функции;
- в) возможности углубления представлений общегуманитарных – о характере отношений в системе человек – язык – познание мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. и др.* 1997 – Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1. М., 1997.
- Аспектуальные и темпоральные значения... 1983 – Аспектуальные и темпоральные значения в славянских языках. М., 1983.
- Барт Р.* 1989 – Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989.
- Бахтин М.М.* 1975 – Эпос и роман // Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
- Богуславский А.* 1963 – Перфектные глаголы в русском языке // *Slavia. Roč. XXXII. Praha*, 1963.
- Бондарко А.В.* 1980 – Глагол // Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
- Булыгина Т.В.* 1982 – К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.
- Вахек Й.* 1964 – Лингвистический словарь Пражской школы. М., 1964.
- Виноградов В.В.* 1936 – Стиль "Пиковой дамы" // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 2. М; Л., 1936.
- Виноградов В.В.* 1941 – Стиль Пушкина. М., 1941.
- Виноградов В.В.* 1947 – Русский язык. Грамматическое учение о слове. М; Л., 1947.
- Виноградов В.В.* 1980 (1930) – О художественной прозе // Виноградов В.В. Избранные труды. О языке художественной прозы. М., 1980.
- Гаспаров Б.М.* 1979 – О некоторых функциях видовых форм в повествовательном тексте // Уч. зап. Тартуского ун-та. Вып. 482, 1979.
- Гаспаров М.Л.* 1994 – "Письмо о судьбе" Александра Ромма // Понятие судьбы. М., 1994.
- Гловинская М.Я.* 1982 – Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
- Гловинская М.Я.* 1982 – Семантика, прагматика и стилистика видо-временных форм // Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект. М., 1989.
- Дюрен Жан.* 2002 – О стереолингвистике // Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста. М., 2002.
- Зализняк А.А.* 1987 – Текстовая структура древнерусских писем на бересте // Исследования по структуре текста. М., 1987.
- Зализняк Анна А., Шмелев А.Д.* 2000 – Введение в русскую аспектологию. М., 2000.
- Золотова Г.А.* 1973 – Очерк функционального синтаксиса. М., 1973.
- Золотова Г.А.* 1982 – Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982. (Изд. 2-е. М., 2001.)
- Золотова Г.А.* 1995 – Монопредикативность и полипредикативность в русском синтаксисе // ВЯ. 1995. № 2.
- Золотова Г.А. и др.* 1998 – Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.
- Золотова Г.А.* 2001 – К вопросу о таксисе // Исследования по языкознанию. СПб., 2001.

- Исаченко А.В.* 1960 – Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Морфология. Ч. II. Братислава, 1960.
- Кароляк С.* 1995 – Понятийная и видовая структура глагола // Семантика и структура славянского вида. I. Kraków, 1995.
- Кюльмоя И.П.* 1983 – О понятии кратнo-соотносительных конструкций и их признаках // Уч. зап. Тартуского ун-та. Вып. 651. 1983.
- Лихачев Д.С.* 1971 – Поэтика древнерусской литературы. М., 1971.
- ЛЭС 1990 – Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Мазон А.* 1958 – Вид в славянских языках (принципы и проблемы) // Доклад IV МСС. М., 1958.
- Маслов Ю.С.* 1984 – Очерки по аспектологии. Л., 1984.
- Словарь Ожегова 1992 – *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 1992.
- Падучева Е.В.* 1995 – Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива). М., 1995.
- Поспелов Н.С.* 1990 – Мысли о русской грамматике. М., 1990.
- Потебня А.А.* 1977 – Из записок по русской грамматике. Т. 4. Вып. II. М., 1977.
- Русская грамматика 1980 – Русская грамматика / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1980.
- Семантика славянского вида 1995 – Семантика и структура славянского вида. Т. I /Отв. ред. С. Кароляк. Kraków, 1995.
- Степанов Ю.С.* 1997 – Константы. Словарь русской культуры. М., 1997.
- Телин Н.* 1988 – О системном статусе перфектного значения в функциональной грамматике // Язык: система и функционирование. М., 1988.
- Типология вида 1998 – Типология вида. Проблемы, поиски, решения. М., 1998.
- Трубачев О.Н.* 1976 – Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
- Трубачев О.Н.* 1998 – Славянская филология и сравнительность, От съезда к съезду // ВЯ. 1998. № 3.
- Успенский Б.А.* 1970 – Поэтика композиции: структура художественного текста и типология композиционной формы. М., 1970.
- Щерба Л.В.* 1974 – О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
- Якобсон Р.О.* 1972 – Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
- Jensen P.A.* 1990 – Narrative description or descriptive narration: Problems of aspectuality in Čechov // Verbal aspect in discourse / N.B. Thelin (ed). Amsterdam; Philadelphia, 1990.
- Mańczak W.* 1970 – Z zagadnień językoznawstwa ogólnego. Wrocław, Warszawa, Kraków, 1970.
- Thelin N.B.* 1990 – Verbal aspect in discours: On the state of the art // Verbal aspect in discourse / N.B. Thelin (ed.) Amsterdam; Philadelphia, 1990.
- Thelin Nils B.* 2002 – A- and B-series, tensed vs. tenseless theories and the causality-time interdependence // Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста. М., 2002.
- Veyrenc J.* 1980 – Etudes sur le verbe russe. Paris, 1980.

© 2002 г. Г.М. ЗЕЛЬДОВИЧ

**СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА СОВЕРШЕННОГО ВИДА
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ***

0. Совершенный вид по отношению к парному несовершенному виду *первичен* – хотя бы уже потому, что наиболее типичный глагол совершенного вида обозначает *событие* (как бы последнее ни понимать); с другой же стороны событие в нейтральном, наиболее естественном случае обозначается *глаголом совершенного вида* (см. [Chaput 1985; Boguslawski 2000]).

Едва ли не самое трудное в описании как совершенного, так и несовершенного видов – это объяснение единства так называемых частных видовых значений [Бондарко, Буланин 1967; Гловинская 1989]. Они, как известно, настолько разнообразны, что попытки найти для них общий знаменатель обычно приводят к выводам слишком отвлеченного характера; если говорить о СВ, то ни рассмотренные ниже его "инцептивная" трактовка и теория предельности, ни иные известные нам интерпретации не объясняют, как, например, наглядно-примерное значение связано с конкретно-фактическим или почему первое значение у СВ употребляется гораздо менее свободно, чем многократное значение у несовершенного вида.

В предлагаемой ниже модели СВ единство его частных значений проявляется в том, что без соответствующего понятия вообще можно обойтись (заметим, что в западной русистике понятие о частновидовых значениях почти не используется). Легко догадаться, что предлагаемый инвариант будет в высокой степени ориентирован на прагматику и в разных контекстах будет по-разному "восполняться", порождая то, что соответствует разным частным значениям СВ.

Сразу надо сказать о принятых здесь прагматических постулатах. Они идут от П. Грайса и от так называемой теории релевантности [Sperber, Wilson 1986] – наиболее влиятельный ныне прагматической теории, объяснительную силу которой, нам кажется, особенно хорошо иллюстрирует русский вид, – и состоят в следующем.

Во-первых, если какая-то единица (в нашем случае – глагол, точнее, видовая грамма) может интерпретироваться несколькими способами, если все они дают информативное высказывание (некоторым релевантным образом обогащают когнитивную среду Адресата; к сожалению, хорошо формализовать понятие "релевантный" прагматика еще едва ли способна, и в то же время оно безусловно необходимо; мы принимаем, что условию релевантности отвечают все разбираемые случаи, кроме специально оговоренных) и если все они вовлекают в свое осмысление некую контекстную информацию, – то из этих способов предпочтителен тот, который связан с *наиболее эксплицируемыми* элементами контекста.

Во-вторых – это гораздо менее очевидно, – есть очень серьезные основания думать, что данное правило, пускай природа его и прагматическая, соблюдается языком *неукоснительно*. Д. Спербер и Д. Вильсон [Yus Ramos 1998: 317] показали, что отбор нужной интерпретации высказывания, если он вообще рационально объясним, происходит, грубо говоря, так: интерпретатор перебирает варианты, начиная с самого

* Автор благодарит Андрея Богуславского за обсуждение настоящей работы.

простого, т.е. доступного, и на первом же осмысленном, сколько-нибудь информативном – в оптимальном случае он и *просто первый* – останавливается, *игнорируя* все остальные.

Поэтому, если интерпретируемая единица неполна по смыслу (а такова, нам кажется, перфективная видовая граммема) и разные потенциальные интерпретации используют радикально отличные по степени доступности элементы контекста, мы скорее всего будем иметь дело с очень жесткой иерархией осмыслений, где более сложное выбирается, *только* если простое в данном контексте не дает никакой релевантной информации.

Наконец, в-третьих, если для интерпретации есть *несколько путей* и все они "равнозатратны", связаны с эксплуатацией одинаково эксплицитных элементов контекста, то выбирается осмысление *наиболее информативное*.

Добавим еще, что, формулируя инвариант, мы стремились к предельной – какая допускается фактами и нашей теоретической осначенностью – его простоте. Насколько мы преуспели, измерить затруднительно, однако само наше стремление оправдывается не только общенаучными принципами, но и тем, что даже косноязычный носитель языка не делает ошибок в употреблении видов; ребенок осваивает вид раньше, чем время глагола и многие другие категории; наконец, при афазиях порядок обратный: способность правильно использовать виды теряется *позднее* [Durst-Andersen 1993].

Оговорим с самого начала, что ввиду стеснительного объема статьи будем подробно рассматривать лишь примеры, где обозначенная глаголом ситуация относится к сфере *realis*; поведение СВ в контексте отрицания и разного рода модальных контекстах (в том числе в контексте императива и в так называемом потенциальном значении), нам кажется, тоже можно объяснить с излагаемых позиций, но об этом будут сделаны только частные замечания.

1. Не имея никакой возможности рассмотреть здесь все предлагавшиеся трактовки СВ и отсылая читателя к работе [Гловинская 1982], остановимся на двух наиболее популярных и конкурентоспособных интерпретациях.

Первая, "инцептивная", принятая в [Гловинская 1982; Падучева 1996] и многих других работах, гласит, что всякий глагол СВ обозначает *смену состояний*, т.е. включает в свою семантику идею начала или конца, напр. *Х сварил суп* ⇒ 'суп начал существовать', *Х решил задачу* ⇒ 'Х начал знать ответ' и т.п. (Кроме того, признается небезразличным коммуникативный статус инцептивной семы: она, как пишет Е.В. Падучева [1996: 155], должна быть на первом плане; об этой гипотезе мы скажем позднее.) Наличие такого инцептивного семантического компонента несомненно для "образцовых" и наиболее многочисленных глаголов, однако некоторые периферийные случаи дают повод засомневаться. Так, глагол ПОСПАТЬ на первый взгляд значит (может быть, среди прочего) '(а) начать спать, (б) спать, (в) перестать спать', но ни компонент (а), ни (в) не обнаруживают той обязательности, которая только и дала бы нам право считать их элементами семантики. Допустимо сказать:

(1) После ухода жены Иван еще поспал.

(2) До прихода жены Иван уже успел поспать, но и теперь просыпаться не собирался.

Очевидно, что любые попытки усмотреть сему (а) в (1) и сему (в) в (2) – в духе 'в какой-то момент начался / кончился тот сон Ивана, который имел место после / до прихода жены (и отличный от сна, имевшего место в другое время),' – слишком неуклюжи, чтобы серьезно их обсуждать.

Можно возразить, что по крайней мере *один* инцептивный компонент безусловно присутствует и в (1), и в (2) (соответственно – окончание сна и его начало), однако есть и примеры наподобие (3):

(3) Ивану дали снотворное, так что время кинофильма, который показывали с двух до четырех, он проспал.

Здесь Иван скорее всего не начал спать в два часа и не перестал в четыре, так что ни начала, ни конца этого действия совершенный вид ПРОСПАТЬ может не обозначать. С другой стороны, очень трудно принять и неуклюжую мысль, будто в какой-то момент (а именно, в четыре часа) исполнилась некая мера сна, т.е. *начало быть так, что 'Иван спал с двух до четырех'*.

Вспомним еще и тот известный факт, что обстоятельства типа "столько-то времени" (*час, день, год* и т.п.) не сочетаются ни с какими глаголами совершенного вида, кроме делимитативов (глаголов наподобие *поспать*) и пердуративов (глаголов наподобие *проспать* (сколько-то)): нельзя, например, **час сварить суп, *год написать книгу*, зато можно *час поспать, проспать, поработать* или *проработать, год где-то прожить* или *прописать книгу*. Очень правдоподобное объяснение состоит в том, что, с одной стороны, обстоятельство типа "столько-то времени" требует, чтобы занимающая данный интервал ситуация была гомогенна, а с другой стороны глаголы-делимитативы и пердуративы, в отличие от иных, включающих в свою семантику идею "скачка", обозначают именно гомогенную ситуацию.

Еще один случай, который крайне трудно объяснять с "инцептивных" позиций. – глаголы типа ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ, ПОВЕЗЛО и т.п. Ср.:

(4) Ивану посчастливилось жить в Москве.

Если мы попытаемся ответить, в чем состоит инцептивность глагола *посчастливилось*, то скорее всего придется думать, что он индуцирует инцептивность у подчиненного ему *жить*. Между тем предложение (4) обычно понимается, по крайней мере может пониматься, в том смысле, что Иван прожил в Москве всю жизнь, от начала до конца. При этом по достаточно ясным причинам очень неловко сказать, будто Иван, родившись, начал жить в Москве, а умерев, закончил. Другое объяснение примеру (4) (предложенное Андреем Богуславским при обсуждении этой работы) состоит в том, что (4) значит, среди прочего, 'случилось что-то такое, что Иван жил в Москве'. Однако и оно кажется небесспорным: неясно, что собственно заставляет ввести в толкование событийный глагол совершенного вида *случилось* (или *произошло*, или другой подобный: важно только, что совершенным видом этого глагола как раз и отражается перфективность обсуждаемого *посчастливилось*), а не какой-нибудь *статив*, например, 'имело место такое положение вещей, что Иван жил в Москве'. И хотя толкования типа приведенных в принципе не требуют обязательной конкретизации – *что именно* случилось или имело место, – но ставить так вопрос все-таки допустимо, и тогда ко многим случаям (например, если, сказав (4), говорящий имеет в виду что-то несобытийное, вроде 'все предки Ивана были коренными москвичами') дефиниция 'случилось что-то такое, что Иван жил в Москве' не подойдет – как, впрочем, ко многим (например, к 'незадолго перед его рождением родители Ивана приехали в Москву') не подойдет и интерпретация 'имело место такое положение вещей, что Иван жил в Москве'. Такие трудности принуждают отказаться и от второго объяснения примера (4), и в итоге остается загадочным, как могла бы тут реализоваться идея инцептивности.

Наконец, неприятны для "инцептивной" трактовки примеры типа

(5) Плащ уберег Ивана от дождя.

Объяснение вроде 'в какой-то момент (совпадающий с моментом, когда начался дождь или Иван вышел на улицу), плащ начал защищать Ивана от дождя' звучит в немалой мере казуистически.

Учитывая эти обстоятельства (о других трудностях инцептивной теории см. [Зельдович 1996]), такую интерпретацию совершенного вида нельзя признать универсальной – хотя и несомненно, что ее объяснительная сила весьма велика.

Вторая широко принимаемая точка зрения состоит в том, что глагол совершенного вида всегда обозначает достижение некоторого предела. В своем классическом варианте (см., среди прочего, [РГ 1982]) она, разумеется, неприемлема, ибо ей противоречат глаголы-делимитативы (типа ПОСПАТЬ, ПОСИДЕТЬ) и градативы

(ПОВЫСИТЬСЯ, ПОНИЗИТЬСЯ, УЛУЧШИТЬСЯ, УХУДИТЬСЯ и т.п.): для сна, сидения, повышения и т.д. нет естественной внутренней границы, и потому, проспав, можно спать еще (ср. (2)), повысившись – еще повышаться и т.д. Ср. пример из [Гловинская 1982]: *Цены повысились и продолжают повышаться*.

С учетом этих фактов понятие предела не раз пытались пересмотреть и уточнить. Так, в [Кошелев 1996] акцент сделан на *субъективности, условности* предела. Например, фраза *Белье высохло* не значит, будто белье не может стать *более сухим*: просто оно уже сухо в той степени, что его можно использовать, сложить в шкаф и т.п.

К сожалению, и при такой трактовке предела делимитативы и градативы труднообъяснимы.

По-видимому, с точки зрения А.Д. Кошелева, фразу *Иван проспал* надо толковать как 'Иван спал определенное количество времени, *достаточное для чего-то* (например, достаточное, чтобы быть бодрым и т.п.)'. Но тогда если Иван спал определенное количество времени, *не достаточное* для этого "чего-то", то фраза *Иван проспал* в этой ситуации должна быть неуместна (т.е., в зависимости от предполагаемого коммуникативного статуса соответствующих сем, либо неверна, либо лишена истинностного значения). А между тем она безупречна, ср.: *Иван проспал, но не столько, сколько нужно*.

Многие аспектологические работы, даже такие подробные и амбициозные, как [Durst-Andersen 1993], от существования делимитативов отвлекаются – на том основании, что делимитативы скорее всего лишены видовых пар и представляют маргинальное для видовой системы явление¹. Но и в ее центре, среди парных глаголов, многие тоже лишены сколько-нибудь осязаемого "предела": это все те же названные выше градативы (ПОВЫСИТЬСЯ, ПОНИЗИТЬСЯ и т.д.).

О чем, по сути, говорит фраза

(6) *Цены повысились (и продолжают повышаться)?*

О том, что Говорящий сравнивает состояние цен в момент речи или другой, предшествующий момент, с их состоянием в какое-то более раннее время. Следовательно, *граница* ситуации задана моментом речи или другим, предшествующим ему моментом и к существу обозначенного действия никакого отношения не имеет. Точно так же, произвольно по отношению к процессу как таковому, выбирается и та начальная временная точка, с которой сопоставляется нынешний уровень цен. Например, цены могут повыситься за последний год в целом и *не повыситься* за последний месяц: все определяется *только* тем, какой период нас интересует. (Дело не меняется оттого, что люди склонны искать в мире именно изменения и о них говорить: это касается не инвентаря языковых средств, а стратегии их использования.)

Таким образом, обозначенная совершенным видом ситуация может быть ограничена пределом внутренним (качественное или субъективно понятое как качественное изменение в субъекте или объекте) и – в некоторых более редких, зато и показательных случаях – пределом сугубо временным, "внешним" и от сути ситуации не зависящим.

Однако понятие временного, "внешнего" предела если и отражает суть СВ, то только как метафора, логически же оно совершенно некорректно, поскольку предел, при любых нюансах в его интерпретации, остается точкой, после которой действие продолжаться не может *в силу самой своей сущности*².

¹ Эту практику нужно признать порочной, во-первых, потому что подлинная теория вида обязана объяснить все факты, во-вторых, потому что делимитативная приставка ПО- и есть, вероятно, *самая чистая* видовая приставка [Comrie 1976: 89].

² Неприемлемость "предельной" трактовки СВ заставляет отказаться и от более сложных теорий, которые понятие предельности используют. Наиболее известна из них, кажется, теория А. Барентсена [1995; ср. Шарит 1990], гласящая, грубо говоря, что СВ = 'предельность + секвенная связь с другой ситуацией + целостность'.

Заметим также, что сомнителен и признак 'целостность', ибо это понятие слишком рас-

Наконец, и "инцептивная" теория, и теория предельности страдают тем принципиальным изъяном, что не позволяют четко отграничить от совершенного вида несовершенный. Как идея "начала", так и идея достигнутого предела часто выражаются несовершенным видом (НСВ) столь же недвусмысленно, сколь и совершенным.

Так, фраза *По субботам Маши варит суп* нормально значит, что каждый раз она его *доваривает*, то есть, в зависимости от выбранного метаязыка, 'суп начинает существовать' или 'достигается предел (готовность супа)'. Можно возразить, что та же фраза совместима и с утверждением, что всякий раз суп *не доваривается*, и потому идея 'начала' или 'достигнутого предела' здесь не закодирована в прямом смысле слова, а является импликатурой – и в этом коренится отличие НСВ от СВ; иначе говоря, играет роль не только содержание "инцептивности" или "предельности", но и способ их выражения: для СВ соответствующая идея выражена семантически. тогда как для НСВ она имплицатурна. Однако и такая оговорка чревата осложнениями. Существуют – хотя скорее всего крайне малочисленные – моментальные глаголы типа ПРИХОДИТЬ, *абсолютно неспособные* обозначать какой-либо безрезультатный процесс: ср. совершенно аномальное **приходил, но не пришел* (другие моментальные глаголы ведут себя гибче и могут обозначать какую-то подготовительную фазу. ср. приемлемое *стрелял, но не выстрелил*. См. об этом [Апресян 1988]). Это значит, что во фразах *Цезарь приходит в Галлию, Иван сюда иногда приходит, Иван сюда приходил* идея 'начала' или 'достигнутого предела' никак не отменима, неотменимый же элемент смысла по определению нельзя счесть имплицатурой. Если же мы в обоих видах имеем здесь дело с семантикой, то для спасения "инцептивной" или "предельной" теорий необходимо показать, что в *Иван пришел* видовая сема коммуникативно значимее, чем в *Иван приходил*. (Применительно к идее 'начала' эта мысль, как уже упоминалось, высказывается в [Падучева 1996: 155].) Как это сделать, совершенно неясно.

Разумеется, подавляющее большинство глаголов НСВ в каких-то условиях действительно способны обозначать безрезультатный процесс, и ПРИХОДИТЬ на этом фоне смотрится как исключение – хотя и единичные исключения никакую теорию не укрепляют. Однако есть целые четко очерченные области употребления видов, где СВ и НСВ с точки зрения результативности (наличия / отсутствия перехода к новому состоянию или достигнутой / недостигнутой предела) *заведомо* – кроме совершенно экзотических случаев – не отличаются: это многие модальные контексты и контекст императива, а также будущее время. Например, если кто-то может или должен поднять или поднимать 25 килограммов, то модальная установка относится ко всему действию в целом – независимо от выбранного вида³. Точно так же, императивные предложения *Войдите* и *Входите* выражают желание, чтоб Адресат *вошел* (примеры типа *Входите, но не войдите* мыслимы, но практически неупотребимы [Boguslawski 1985]). Точно так же, в будущем времени сообщения *Мы уйдем* и *Мы будем уходить* оба говорят о намерении *уйти*.

пльвчато [Гловинская 1982: 12–14]. Узязвима концепция и потому, что представляет семантику СВ как простой конгломерат отдельных элементов, без попытки прояснить их взаимосвязь, а может быть, и "выводимость" (хотя бы прагматическую) один из другого. В то же время та *связь* между обозначенной совершенным видом ситуацией и чем-то *другим*, на которую обращает особое внимание А. Барентсен (видимо, вслед за Г. Галтоном [Galton 1976; 1980]), кажется исключительно важной и в наших дальнейших рассуждениях будет учтена.

³ При деонтической интерпретации фраза *Иван может (имеет право или позволение) поднимать 25 килограммов* совместима с предположением, что алетически – т.е. по физическим способностям – Иван такой груз не поднимет, но это уже одна из крайне маловероятных ситуаций. Известно, что деонтическая модальность нормально предполагает алетическую; высказывание о деонтической возможности или деонтическом должествовании уместно только там, где есть *алетическая* возможность.

2. Спросим себя: какой элемент значения *всегда и везде* появляется при употреблении СВ – включая фразы (1–3) и (6) с делимитативными, пердуративными (на ПРО-) и градативными глаголами?

Самый наивный ответ прозвучит скорее всего так: действие чем-то ограничено.

Как мы видели, внутренним пределом оно ограничено не всегда, и в отсутствие других мыслимых возможностей говорить следует об ограниченности во времени. Однако формула СВ = '*ситуация ограничена во времени*' в поведении русского СВ объяснит очень мало. Она без всяких натяжек допускает, что ограниченная во времени ситуация *многократно повторяется*. Таковы правила употребления СВ в чешском языке⁴, но не в русском. Дело в том, что русский СВ нормально обозначает *однократную* ситуацию, а итеративное значение приобретает лишь под недвусмысленным давлением контекста. Отсюда ясно, что одной временной ограниченностью значение русского СВ не исчерпывается.

Второй "наивный", но интуитивно убедительный шаг – счесть, что СВ обозначает *единичное* действие⁵. Наивен это шаг ввиду несомненно корректных примеров типа (7–8):

(7) Иван вообще-то трезвенник, но иногда и выпьет.

(8) Иван придет домой – и сразу хлопнется спать,
где обозначенные с помощью СВ ситуации явно *многократны*.

С другой стороны, мысль, что СВ значит 'ситуация однократна', верна в двух отношениях. Во-первых, полное объяснение СВ должно быть таким, чтобы "однократная" интерпретация порождалась *в первую очередь*, оказалась прагматически более доступной и возникала везде, где контекст не принуждает к иному (заметим, что ни "инцептивная" теория СВ, ни теория предельности этого не обеспечивают). Во-вторых, идея однократности неожиданным образом как-то сохраняется и в примерах типа (7–8). Особенно хорошо это видно там, где при глаголе СВ имеется объект: как известно, если речь идет о дискретной сущности и в каждом отдельном событии участвует *один* экземпляр данного предмета, последний всегда называется существительным в *единственном* числе (исключение, конечно, – существительные *pluralia tantum*). Для глагола НСВ это правило не действует; ср.:

(9) а. Бывает, что Иван съест яблоко (форма *яблоки* значила бы, что яблок всякий раз съедается несколько);

б. Бывает, что Иван ест яблоко (форма *яблоки* может значить, что всякий раз съедается только одно).

(10) а. Закончив книгу, он тут же продает авторские права;

б. Закончивая книгу, он тут же продает авторские права (во втором случае множественное число *книги* способно выразить тот смысл, в первом оно бы означало, что авторские права всегда продаются оптом, на несколько книг сразу).

Это правило выполняется совершенным видом столь строго, что его нельзя списать на счет прагматики, и толкование СВ должно говорить *о такой единичности ситуаций, которая совместима с их реальной множественностью*⁶.

⁴ См. [Широкова 1971; Stunová 1991]. Из сказанного не следует, что обсуждаемая экспликация обязательно и есть инвариантное значение чешского СВ; мы имеем в виду только то, что она *скорее* подходит к чешскому, чем к русскому языку.

⁵ Так мы и поступили в [Зельдович 1999б], но факты сильнее нас, и ниже мы от этой мысли отказываемся.

⁶ Интуитивно очень соблазнительна интерпретация СВ, согласно которой СВ предполагает, что каждая из релевантных ситуаций *чем-то индивидуализирована*, например, *сопровождается своими особыми обстоятельствами*. Так, предложение (7) *Иван вообще-то трезвенник, но иногда и выпьет* могло бы, грубо говоря, значить: 'всякий случай, когда Иван выпивает,

Парадокс здесь в том, что такая комбинация вовсе не парадоксальна. Если ситуация Р однократна, то однократна она непременно в *каком-то множестве М*. Представим себе, что есть *много* отдельных множеств и в каждом имеется по одной ситуации Р. Надо думать, именно с таким положением мы сталкиваемся в примерах (7–8) и (9а–10а). и, следовательно, в толковании видового инварианта нужно учесть, что множество М не обязательно одно.

3. Чтобы сказать эти же вещи более точно, надо ответить, множеством *каких объектов* является М.

Из двух возможных ответов, гласящих, что М – это множество *временных интервалов* (на одном из которых имеет место Р) и что М есть множество *ситуаций*, верен второй.

Во-первых, он более интуитивен: с наивной точки зрения квантифицировать ситуации гораздо естественнее, чем те временные интервалы, на которых они имеют место. Так, например, известно, что и в русском, и в других языках большинство временных квантификаторов (ЧАСТО, ЗАЧАСТУЮ, РЕДКО, ИЗРЕДКА, ИНОГДА, ПОРОЙ, БЫВАЕТ и мн. др.) способны в равной степени квантифицировать и актанты, ср.: *У кошек часто (редко, иногда) бывает дурное настроение* (временная квантификация); *У кошек часто (редко, иногда) бывает дурной нрав* (квантификация не временная). Такая сверхрегулярная двузначность заставляет думать, что реально два типа квантификации едины – представляя собой просто квантификацию *ситуаций*.

Во-вторых, есть случаи употребления СВ, когда релевантных ситуаций две (или больше), а временной интервал явно один; ср.:

(11) Иван проболтался и (тем самым) выдал друзей.

(12) Иван поторопился – и погубил все дело.

(13) Иван сказал глупость и обидел товарища.

Очень важно здесь, что две части в (11), (12) и (13) нельзя разорвать, не изменив их значение. Вместе они формируют так называемую "цепь" (см. ниже), и предложения (11–13) говорят о развитии событий *безотносительно к моменту речи*. Сократив (11–13) до *Иван проболтался*, *Иван поторопился* и *Иван сказал глупость*, мы получим фразы, требующие уже перфектной интерпретации (грубо говоря, результат происшедшего актуален в момент речи или иной опорный момент). Так, после фразы (11) в ее полном виде отрицать значимость события *Иван проболтался* в момент речи гораздо легче, чем если фраза урезана; ср.:

(11') – Иван проболтался и (тем самым) выдал друзей.

– Значит, будут неприятности?

– Нет, это дело уже прошлое.

(11'') – Иван проболтался.

– Значит, будут неприятности?

' – Нет, это дело уже прошлое.

Ясно, что две ситуации в каждом примере отнесены к одному и тому же времени: вторая из них есть просто дополнительная интерпретация первой. Между тем "множество М" мы понимаем буквально: это именно *множество*, включающее по крайней мере два, но никогда не один объект. Таким образом, множества интервалов в (11–13) нет, а предложения все-таки корректны.

Вообще говоря, приуроченность двух ситуаций к одному отрезку времени столь маловероятна, что без особых на то причин едва ли когда-нибудь предполагается, но она безусловно возможна и неприятна, если видеть в М множество *интервалов*.

индивидуализирован¹. Примеры (9а) и (10а) такой трактовке противоречат. Можно сказать, что в отдельных, индивидуализированных случаях кто-то ест яблоки, имея в виду, что каждый раз съедается лишь одно. Объяснить с этой точки зрения выбор объекта только в единственном числе не удастся.

Таким образом, множество М гораздо корректнее считать множеством ситуаций, а не множеством временных интервалов; но при этом само понятие "ситуация" необходимо уточнить. Уточнения не претендуют на универсальность, а затрагивают лишь то, что важно с точки зрения вида. Не страшно, если релевантное для вида понятие ситуации окажется специфичнее соответствующего понятия в его обычном истолковании.

Из (11–13), где онтологически единая ситуация представляется как две разных, видно, что с точки зрения вида под ситуацией надо понимать *что-то такое, что может быть сказано* (причем сказано *самостоятельно*, отдельно от других ситуаций).

Но это еще не все. Может возникнуть недоумение: допустим, мы имеем дело с итеративом несовершенного вида, например *Я хожу в шахматный клуб*. Интуиция очень определенно подсказывает, что здесь уместно говорить о *множестве* ситуаций (приблизительно – ситуаций *Я иду в шахматный клуб*). Если же ситуация есть что-то, что может быть сказано, то возникает противоречие: с одной стороны, ситуаций *много*, с другой – они имеют одно и то же наименование и, следовательно, ситуация *одна* (иными словами, *воспроизводимость* какой-либо ситуации становится парадоксом). В действительности последнее неверно. Только редкие так называемые не локализованные во времени ситуации (типа *Дважды два равняется четырем*, *Сумма углов (произвольного) треугольника составляет 180 градусов*) сводятся к тому, что говорится эксплицитно – и ясно, что каждая такая ситуация невоспроизводима, абсурден сам вопрос, сколько раз или насколько часто *Дважды два равняется четырем* или *Сумма углов (произвольного) треугольника составляет 180 градусов*. Однако ни глаголы СВ, ни – скорее всего – парные глаголы НСВ таких ситуаций никогда не обозначают⁷. Обозначаемые ими ситуации имеют логическую форму 'P' = 'на каком-то временном интервале имеет место то, что описывается в "P"', или 'о каком-то временном интервале можно сказать "P"'. Не противоречат этому и высказывания типа *Время – субботнее*, поскольку ничто не мешает поставить в роль P выражение темпорального характера. Таким образом, формулировка "что-то такое, что может быть сказано" предполагает учет и временной координаты. Сообщение о точной временной локализации событий в обычной речи скорее исключение, а не норма, однако иного и не требуется: важно лишь то, что о темпоральной координате в принципе *может быть сказано*. Иными словами, ситуация – это, с точки зрения совершенного вида, пара {P; t}, где P – "содержательное описание", а t – временная локализация. В примере *Я хожу в шахматный клуб* P у всех повторяющихся ситуаций совпадает, а t – различны; будь последнее не так, мы имели бы дело с *одной* ситуацией.

З а м е ч а н и е. В дальнейшем, чтобы не утяжелять изложение, мы используем символ "P" достаточно свободно, подразумевая под ним, в зависимости от контекста, либо собственно "вещественное" содержание ситуации, либо всю ситуацию в целом, т.е. P *вместе* с соответствующим интервалом t.

⁷ Мы полагаем, что своя, пусть и несколько необычная, временная соотношенность есть у многих ситуаций, которые принято считать не локализованными во времени, например у ситуации *посчастливилось (X–у P)*, даже в предложении (4) *Ивану посчастливилось жить в Москве*. Не входя в детали, заметим, что можно сказать: *Ивану посчастливилось жить в Москве, а после (посчастливилось жить) в Париже*, – и что очень странно подводить под одну рубрику и предложение (4), и действительно *никак* не локализованные во времени ситуации типа *Сумма углов треугольника составляет 180 градусов*.

Также заметим, что если принять, что парный глагол НСВ всегда обозначает локализуемую во времени ситуацию, то окажутся непарными, по крайней мере в некоторых употреблениях, глаголы наподобие ПОНИМАТЬ; ср.: *Моя собака понимает очень многие вещи*. Кажется, такое решение достаточно естественно: необычность этих глаголов НСВ давно привлекает внимание, отразившись даже терминологически в понятии "глаголы перфектного состояния".

4.0. Итак, совершенный вид (а) предполагает множество (множества) ситуаций М, куда входит данная ситуация Р, и (б) говорит о единичности Р в рамках каждого М. И тезис (а), и тезис (б) нуждаются в дальнейших уточнениях.

4.1. Начнем с (б). Что именно означает единичность Р? В свете сказанного выше, получается, что при *строгом* подходе единична *всякая* ситуация: либо за счет своей вневременности, либо за счет того, что всякая пара {Р; t} уникальна. Тогда, чтобы интуитивно вполне корректное понятие единичности ситуаций не потеряло смысл, необходимо говорить так: множество мыслимых ситуаций М таково, что *есть один интервал, о котором говорится "Р"*.

Таким образом, идея времени возвращается в наше описание, только теперь мы имеем дело больше с прагматикой, чем с семантикой. Если предполагается множество ситуаций – а большинство их локализуется во времени, причем локализация двух или нескольких на одном интервале весьма экзотична (особенно ввиду прямого указания на прикрепленность Р к *одному* интервалу, имплицитующего представление о *других*), – то отсюда с очень большой вероятностью следует, что есть и множество временных интервалов – в котором данный интервал единичен.

З а м е ч а н и е 1. Большинство исследователей признает, что вид нельзя описать, не прибегая к понятию о времени; ср. в особенности [Timberlake 1985]. Некоторые авторы считают, что суть СВ, грубо говоря, в смене "картинок", т.е. она *не пропозициональна*, и вместе с тем постулирует для СВ пропозициональную "подоплеку", которая, естественно, без понятий 'раньше', 'позже' и т.п. – будь они явны или замаскированы в описаниях – обойтись неспособна.

З а м е ч а н и е 2. Из наших рассуждений вытекает, что тот единственный временной интервал, где имеет место Р, целостен и недробим. Другими словами, интервал выделяется благодаря тому, что на нем от начала до конца имеет место какая-то ситуация. Это не соответствует пониманию временного интервала в логике, зато согласуется с фактами языка. Имей мы право произвольно дробить всякий временной отрезок, не могли бы существовать такие временные квантификаторы, как РЕДКО, ИЗРЕДКА и др. Если РЕДКО Р значит 'мало интервалов, где Р' (обоснование такого толкования – в [Зельдович 1999а]) и вместе с тем каждый интервал бесконечно делим, то их одновременно оказывается *сколь угодно много*. Абсурд избегается тем, что выделение и дробление временных интервалов всегда имеет какие-то мотивы; самый очевидный из них – то, что данный временной отрезок занят (или, в немного более сложном случае, *мог бы быть занят*) определенной ситуацией.

4.2. Теперь обратимся к тезису (а): что СВ *предполагает множество ситуаций* Нас будет интересовать, что подразумевается под словом *предполагает*. Проще всего было бы включить в семантику СВ компонент 'существует множество ситуаций М, в которое входит данная ситуация Р', но делать этого не следует. Найти такое М можно для *любого* произвольного Р, следовательно, эта информация абсолютно тривиальна, причем тривиальна не в том смысле, что повторяет уже присутствующие в контексте сообщения (это положение совершенно нормально; например, во фразе *У меня своя жизнь, а у тебя – своя союз А дублирует некий противопоставительный смысл, и без того присутствующий во фразе У меня своя жизнь, у тебя – своя* [Крейдлин, Падучева 1974]; во фразе *В этом доме была и гостиница, в которой я, приезжая в Москву, иногда жила подолгу* (И.А. Бунин) идея многократности выражена трижды: словами *иногда, жила и подолгу*), а в том смысле, что в любом случае может быть выведена "заочно": отрицание этой информации 'нет множества ситуаций, в которое входила бы данная ситуация Р' просто лишено смысла. Такое тоже встречается в нормальных высказываниях (типа *Вася есть Вася. Что было, то было* [Булыгина, Шмелев 1997: 504 и сл.]), но представляется, что в собственно грамматической семантике смириться с подобным нельзя: как известно, тавтология не дает аномалии только там, где она затрагивает *эксплицитную* информацию, связана с ассер-

тивными элементами значения [Апресян 1989], а семантика видового инварианта явно не такова.

Приведем посторонний, хотя и не совсем чуждый нашей теме пример с родительным отделительным падежом. Он уместен всюду, где в ситуации могло бы принять участие большее количество вещества, чем это реально произошло, происходит или может произойти. Благоприятный контекст может создаваться по-разному: чаще всего с помощью управляющего глагола совершенного вида (*Он выпил воды*) или тоже несущего идею какой-то ограниченности вторичного имперфектива (*Вместо завтрака он выпивает воды*); иногда роль ограничителя выполняет определенного размера вместилище (*Лью в кастрюлю воды, ставлю на огонь*; любопытно, что если кому-то *льют в рот воды*, то скорее всего для *полоскания рта*, а не для питья: видимо, нижележащие отделы пищеварительного тракта мыслить как некую емкость значительно труднее, чем рот) или "адресат" действия (*Я несу Ивану воды vs. 'Я несу воды*; ср. [Падучева 1996: 189–191]; кроме реально несомой воды для *Ивана* представима *вода для кого-то еще*). Очевидно, в примерах типа *'Я несу (пью) воды* "ограничителя" нет и, таким образом, в ситуации *всегда* может принять участие больше воды, чем реально принимает; противоречия с семантикой родительного отделительного падежа нет, однако он неуместен – как раз в силу своей абсолютной тривиальности.

Вспомним по этому поводу и другой хорошо известный факт: в сообщении типа *X существует* терм *X* заведомо что-то денотирует – пускай даже денотат и является только продуктом нашего воображения, существует в некотором *возможном* мире. Поэтому выражение *X не существует* (*Кентавры не существуют*; *Русалки не существуют*) в буквальном смысле, в смысле абсолютного не-бытия, употребляться не может; поэтому и *X существует* в буквальном смысле не употребляется, переосмысляясь в '*X существует в реальном мире*'.

Вернемся к нашему главному предмету. Что множество *M* просто *существует*, нельзя говорить и по другой причине. Интуитивно несомненно, что единичность данной ситуации *важна* для Говорящего, в высокой степени интерпретативна по отношению к действительности; например, фраза *Я пообедал* не исключает, что Говорящий пообедал и раньше: предыдущие обеды его просто *не интересуют*. Поэтому в более корректной формулировке СВ значит, что '*Говорящий мыслит множество ситуаций M, в котором ситуация P единична*'. Подчеркнем – и будем помнить, что прагматически важна не только сама эта информация, но и то, что Говорящий *ее сообщает*: из последнего вытекает, что множество *M* чем-то *важно* для Говорящего⁸.

4.3. Но и приведенное толкование еще не отражает всей сути дела. Рассмотрим примеры:

(14) а. Потом я эту историю слышал еще несколько раз от других, но *в первый раз* я ее услышал от Яшки (Ф. Искандер);

б. Иван прочел книгу *первый раз* с удовольствием, *второй* (раз прочел книгу) – с отвращением.

(15) Иван стукнул в дверь, потом стукнул *еще раз*.

(16) Я ударил по гвоздю *молотком*, потом *кувалдой*.

Вспомним заодно и пример

(3) Ивану дали снотворное, так что время кинофильма, который показывали *с двух до четырех*, он проспал,

который, как мы говорили выше, очень трудно интерпретировать с "инцептивных", равно как и с "предельных" позиций. Из (14–16) и (3) видно, что действие *P* может

⁸ С тезисом, что информативно важен самый акт говорения, в значительной степени связан пафос грайсовой и постграйсовской прагматики; см. особенно [Sperber, Wilson 1986].

быть единичным не само по себе, а вместе с каким-то модификатором А (*в первый раз, первый раз, второй раз, еще раз, молотком, кувалдой, с двух до четырех*). Подобная же картина – скорее всего и в примерах типа *Игорь сегодня всего два часа поиграл на скрипке, утром и вечером по часу* (пример из [Мелиг 1995: 142]), где в роли А выступает выражение *два часа*.

Претендовать на роль А способна далеко не всякая единица. Так, малоестественна фраза *Иван стукнул в дверь, а потом стукнул и присвистнул*. Она либо неловка, либо очень специфична: представляет *стукнул* и *присвистнул* как неделимую целостность (т.е. *присвистнула* сродни обстоятельству, ср. *стукнул, присвистнув*). Сравнив это предложение с предыдущими – безусловно хорошими – примерами, можно заключить, что модификатор А есть нечто говоримое о Р: в *первый раз* в (14а) сообщает о слушании истории, *первый раз* и *второй раз* говорят в (14б) о прочтении книги, *еще раз* в (15) – об ударе в дверь, и т.д. В последнем же предложении и *присвистнул* едва ли говорит о стуке в дверь, и отсюда аномалия.

С другой стороны, формулировка "А есть то, что говорится о Р" допускает, что в роли А выступает отрицание. Соответствующие примеры безусловно существуют; ср.:

(17) Все время я ему помогал, а когда *не помог*, он обиделся.

Интуитивно очевидно, что здесь, как и в других случаях, за совершенным видом (*не*) *помог* стоит идея какой-то единичности; однако, в отличие от очень частых ситуаций, когда речь идет о событии, которое было или было бы, если бы было, только однажды (по крайней мере в релевантном для Говорящего фрагменте мира), здесь события 'я ему помог' заведомо множественны, а единичным может быть только *не помог*.

(Заметим, что большинство рассмотренных ниже примеров с этой точки зрения просты, и единично само по себе Р, – конечно, вместе со своими актантами. В конце статьи мы приведем, однако, более изысканный пример совершенно вида в отрицательном императивном контексте, где тезис о возможности модификатора А позволяет справиться с классической трудностью в интерпретации СВ.)

Таким образом, суть совершенного вида в том, что 'а) Говорящий мыслит множество (множества) ситуаций М; (б) данная ситуация имеет место в М (в каждом М из многих) один раз = для М (каждого М) то, что говорится с помощью "Р" или "Р + А", имеет место на одном временном интервале'.

4.4. Чтобы сделать последнее содержательное уточнение, сравним предложения:

(18) Иван вызвал врача.

(19) Иван не мог вызвать врача.

В (18), как это и предусмотрено нашей формулировкой, с помощью глагола ВЫЗВАТЬ говорится *что-то* (описывается поступок Ивана); однако в (19), в присутствии модальности НЕ МОЧЬ, глагол ВЫЗВАТЬ ничего такого не говорит, а сам есть (вместе с актантами) то, *о чем* говорится. В простых случаях с этой тонкостью можно не считаться, но для СВ в контексте отрицательного императива она тоже важна, и более корректная генерализация гласит, что единично то, *что или о чем* говорится с помощью "Р" или "Р + А".

4.5. Наконец, еще одно пояснение. После работы [Wierzbicka 1967; также см. Гловинская 1982; Падучева 1996] специфику вида принято искать непосредственно в лексическом, индивидуальном значении отдельного глагола; именно в такого рода исследованиях и формулируется малопримлемая идея об инцептивности как общей характеристике совершенного вида. Обосновывается такая позиция тем, что инцептивный и предельный компоненты от лексического значения крайне трудно, а часто и невозможно отделить. Очевидно, единичность, о которой мы говорим, такую процедуру допускает, и потому целостную семантику глаголов можно (и поэтому нужно – ибо так нагляднее) представлять как совокупность инвариантного "единичного" значения и значения лексического – того "сценария" событий (Р), ради обозначения которого существует конкретный глагол.

4.6. В итоге наших рассуждений можно сформулировать следующее толкование совершенного вида:

(20) 'а. Говорящий мыслит множество (множества) ситуаций (М), в которое (в каждое из которых) входит то, что или о чем говорится с помощью "Р" или "Р + А" (А – что-то, что говорится о Р), такое (такие), что

б. в пределах М (каждого отдельного М), то, что или о чем говорится с помощью "Р" или "Р + А", имеет место на одном временном интервале;

в. Р'.

З а м е ч а н и е. Подчеркнем, что формулировка пунктов (а) и (б) – поскольку речь идет лишь о вещах, которые *мыслит себе Говорящий*, – не навязывает тому, что или о чем говорится с помощью "Р", никакой определенной модальности: последняя в принципе может быть как реальной, так и ирреальной. С другой стороны – и только это здесь важно, раз в центре нашего внимания сфера *realis*, – *реальная* ситуация автоматически помещает тот единственный интервал, к которому приурочена, на *реальную* временную ось.

5.0. Теперь надо показать, как толкование (20) позволяет объяснить закономерности употребления совершенного вида.

Говоря обобщенно, при интерпретации СВ огромную роль играет прагматика. В отношении чисто "вещественного" содержания компоненты (а) и (б) совершенно необязательны: примыслить их к данному "сценарию" Р Говорящий может почти всегда или просто всегда; следовательно, эти смыслы суть не что иное, как своего рода призыв к Адресату дополнить их таким образом, чтобы возникло нечто информативное⁹. Кроме того, в (а) и (б) содержится и прямая инструкция, какого именно восполнения хочет Говорящий: если он сообщает, что он мыслит (и, следовательно, его *интересует* или *интересуют*) множество (множества) ситуаций М, где данная ситуация (для простоты примем, что это просто "Р") имеет место на одном интервале *t*, то вопрос, ради чего это сообщено, естественнее всего переинтерпретируется в вопрос, что собой представляют *другие ситуации* (Р'). Как раз призыв восстановить Р' и определяет важнейшие черты в поведении СВ.

Как мы уже говорили в начале, высказывание, при прочих равных условиях, тем естественнее – и соответствующая интерпретация имеет тем больше шансов быть выбранной предпочтительно перед иными, – чем меньше требуется усилий для его обработки¹⁰. В частности, естественнее, когда для интерпретации того или иного семантического элемента используется ровно столько – и не больше – материала, сколько данный элемент *логически требует*.

Отсюда вытекает, что множество М, если контекст не вынуждает к иному (а бывает это достаточно редко), содержит, помимо Р, только *одну* ситуацию Р'.

⁹ Часто утверждается, что имплицитур, прагматически выводимые смыслы, порождаются единицей U_1 за счет ее противопоставленности другой единице U_2 : например, слово НЕКОТОРЫЕ значит обычно 'не все' потому, что есть логически более сильное ВСЕ, не будь же его, имплицитур 'не все' либо не возникла бы, либо оказалась бы едва уловимой. Это, однако, неверно даже для хрестоматийных примеров типа *Я порезал палец => 'свой палец'*, в особенности же для случаев типа *Вася есть Вася, Что было, то было* [Булыгина, Шмелев 1997: 504 и сл.], где видимая *безинформативность* сама по себе заставляет искать дополнительные смыслы. Аналогична картина и с совершенным видом. Что касается оппозиции СВ vs. НСВ, то она, по-видимому, устроена отнюдь не так просто, как оппозиция НЕКОТОРЫЕ vs. ВСЕ, и потому не только допустимо, но и более надежно объяснять прагматику совершенного вида *из него самого*.

¹⁰ Напомним, что имеются в виду идеи постграйсовской прагматики вообще, а в особенности так называемая теория релевантности [Sperber, Wilson 1986]. Безусловно требует прояснения понятие "при прочих равных условиях" (на него направлена едва ли не в первую очередь критика теории релевантности в [Wilks, Cunningham 1986]), которое, к большому сожалению, мы не можем формализовать, но и обойтись без него тоже не можем.

(С этой точки зрения вместо термина "множество ситуаций" был бы нагляднее термин "ряд ситуаций", поскольку ряд из двух членов несколько привычнее, чем двучленное множество. Однако термин "множество" универсальнее в том смысле, что, в отличие от "ряда", может быть использовано также при интерпретации несовершенного вида, который относительно совершенного во многом "зеркален"; поэтому мы предпочитаем и здесь пользоваться понятием "множество").

Отсюда же вытекает, что высказывание с глаголом СВ тем естественнее, чем легче восстановить содержание Р', т.е. чем прямее это содержание дано в тексте.

В силу того же самого "принципа простоты" гораздо естественнее вариант, когда с глаголом СВ связано лишь *одно единственное* множество М (и не только потому, что мыслить *много* объектов труднее, чем один; о другой важной причине будет сказано в своем месте): поэтому интуиция так отчетливо и связывает СВ с идеей реальной однократности.

5.1. Таким образом, прагматически наиболее проста и предпочтительна конфигурация, при которой множество М одно, а Р' названо прямо; этот тип употребления СВ обычно называют "цепным"; ср.:

(21) Иван вошел и сел.

(22) Техник допустил оплошность, и случилась авария.

(23) Отказавшись от выгодного предложения, он потом долго раскаивался.

(Очевидно, что если в "цеп" входят два глагола СВ (хотя это не обязательно: один из глаголов может быть и несовершенного вида), то отношения зеркальны: первый глагол выступает как Р' для второго, а второй – для первого.)

Мы не будем обсуждать вопрос, насколько физически далеко от Р может отстоять Р', но ограничений принципиального характера здесь нет, и в реальных текстах Р' часто находится в *другом*, а иногда и не соседнем предложении.

Заметим, что если глагол СВ в прошедшем времени употреблен сам по себе и нет специального глагола (или, может быть, какого-то другого средства), указывающего на Р', то возникает перфектная, ориентированная на момент речи или иную точку отсчета интерпретация. Поскольку многие, в первую очередь нарративные, тексты на такую точку отсчета как правило не ориентированы, то изолированное высказывание с глаголом СВ (типа *Иван вошел*; еще показательнее примеры, заведомо исключаящие перфект: *Цезарь двинулся войной на Фарнака*) звучит здесь как "неполное", еще требующее что-то сказать о Р' (для последнего предложения это может быть... *и его разгромил*). Учитывая, что изолированный или первый во фразе СВ чаще всего ориентирован на будущее (о чем – ниже), СВ оказывается своего рода движителем повествования – свойство, которое Б. Гаспаров назвал метафизикой русского вида [Gasparov 1990], но которое все-таки поддается рациональному объяснению.

5.2. Если указания на Р' контекст не содержит, то Р' надо восстановить.

При этом актуальны следующие обстоятельства. Во-первых, в типичном случае Р' локализуется во времени. Примеры с не локализованными во времени Р', вроде *Джон родился в США и является американцем*, где Р' = '*Джон является американцем*', сугубо маргинальны. Во-вторых, если известно, что есть две (или несколько; для простоты считаем, что их две) ситуации Р и Р', то, как мы уже упоминали, к одному и тому же интервалу они приурочиваются только при особых условиях – когда иное недопустимо или малоестественно (ср. (11–12)). Таким образом, по умолчанию ожидается, что ситуация Р' занимает какой-то интервал времени (t'), причем не тот же самый, что ситуация Р.

5.2.1. Если контекст не дает готового Р', то совершенно естественно искать по крайней мере готовый интервал t'.

В этом качестве чаще всего используется прагматически самый доступный интервал – какая-то явная из контекста "точка отсчета" или момент речи, и возникает *перфектное* значение СВ. Не усложняя наши рассуждения, будем говорить только

о втором варианте¹¹ и предполагать (почему – прояснится ниже, см. 5.2.3), что глагол относит действие к плану прошедшего. В таком случае СВ означает, что (а) имело место Р и (б) *Говорящий* мыслит, среди прочего, что-то, что имеет место в момент речи¹².

Достаточно ли истолковать перфектный СВ таким образом? Часто его признаком считают *сохранение результата* Р в момент речи. При этом подразумевается, что "результаты" бывают разного типа: без труда можно разграничить результат прямой и результат косвенный. Так, для *X сел, X лег, X сварил суп* прямой результат, соответственно, – 'X сидит', 'X лежит', 'суп существует'; косвенный результат может состоять, например, в том, что *X выполнил приказ* или *обещание* сесть, лечь или сварить суп, *выиграл пари*, что сумеет это сделать, и т.п. Косвенные результаты в принципе бесконечно разнообразны, а между тем перфектный СВ часто употребляется именно ради какого-то косвенного, а не прямого эффекта Р (может быть загодя известно, что прямой результат Р к моменту речи не сохранен).

Если даже такое размытое понятие о результате нас не смутит, учтем еще, что, когда это специально оговорено, *никакого* из релевантных эффектов Р может не быть – а внимание к актуальной в момент речи ситуации безусловно сохранено. Ср.:

(24) а. Я съездил в Париж (релевантный результат: 'я имею представление об этом городе' или 'я получил какие-то впечатления' и т.п.);

б. Я съездил в Париж – и ровным счетом никаких впечатлений не привез (не видно, какой релевантный результат налицо).

Коротко говоря, перфектные употребления СВ столь многообразны, что общий знаменатель, если его искать – а интуитивно он есть – состоит только в *интересе* Говорящего к тому, что есть в момент речи. Другое дело, что, поскольку глагол СВ сообщает о каком-то изменении мира и *при этом* обращено внимание на состояние мира в момент речи, то очень вероятно, что вызвано такое именно сохранением к моменту речи каких-то эффектов действия: отсюда иллюзия тождества между перфектом и результативом.

Адекватно наше объяснение и в другом: в обсуждаемых контекстах совершенный вид, в отличие от несовершенного, обычно не просто информирует Адресата, но и побуждает к определенным (часто речевым) действиям. Давно замечено, что, например, фраза *Я прочитал эту книгу*, в отличие от *Я читал эту книгу*, – это скорее всего приглашение книгу обсудить, а фраза *Я сварила суп* (ср. *Я варила суп*) – весьма вероятное приглашение супа отпробовать.

З а м е ч а н и е. Достоин внимания, что здесь русский СВ очень похож на английское время *Present Perfect* и на соответствующую форму во многих других языках. Ср.: "Вызванное событием результирующее состояние может длиться бесконечно, однако при этом представлять ситуацию как временную с точки зрения "кризисной стратегии" (crisis management): результирующее состояние прекратится, как только собеседники определяют стратегию преодоления последовавшего кризиса, хотя поро-

¹¹ Впрочем, стоит помнить, что в реальных употреблениях СВ очень часто предполагает особую, не совпадающую с моментом речи точку отсчета. От чего зависит ее возникновение – интересная и во многом выходящая из лингвистики в поэтику тема (ср. [Падучева 1996]), но именно в силу последнего обстоятельства заниматься ею надо все-таки *во вторую* очередь.

¹² Иногда, в более редких случаях, которые специально не рассматриваются, бывает так, что необходимый материал для "цепи" есть, но СВ все равно имеет *перфектное* значение, которое подсказывается специальными средствами. Ср.: *Когда мне дали творческий отпуск, я написал статью* (значение скорее не перфектное, а "цепное"); *Теперь, когда мне дали творческий отпуск, я написал статью* (благодаря слову *теперь*, значение почти наверняка перфектное).

Кроме того, возможен случай, когда материал для "цепи" опять-таки есть, но из более широкого контекста видно, что "цепь" в данных обстоятельствах малоинформативна: это просто не то, что важно для Говорящего. К сожалению, назвать формальные приметы такой интерпретации едва ли можно.

дившая этот кризис ситуация... может и не прекращаться" [Michaelis 1994: 142; перевод наш].

5.2.2. Наконец, помимо "цепи" и перфекта, есть еще третий случай – когда контекст вообще не дает материала для восстановления Р'. Самый простой (хотя далеко не единственный) пример здесь – употребление СВ в будущем времени в предложениях типа

(25) Я сварю суп.

(26) Ивана уволят.

(Заметим, что расширение этих фраз до *Я сварю суп и подам на стол; Ивана уволят, и он должен будет искать новую работу* создает "цепь"; если же предполагается какая-то "опорная точка" в будущем, то возникает перфект.)

Надо думать, Р' восстанавливается в (25–26) исходя из значения *самого* глагола. Глагол СВ безусловно существует в первую очередь ради того описания событий, которое содержится в Р: поэтому именно Р или по крайней мере его часть является ассерцией¹³, и именно к Р сводится содержание соответствующего глагола в безвидовых языках. Получается, что как раз необходимость сказать Р (пускай и вместе с иными обстоятельствами, делающими в данном контексте предпочтительным именно совершенный вид) заставляет Говорящего мыслить какие-то другие ситуации Р'. Тогда естественнее всего, чтобы эти ситуации *и в реальности*¹⁴ сопровождали ситуацию Р, т.е. были либо ее последствиями, либо необходимыми предпосылками.

И СВАРИТЬ, и УВОЛИТЬ – как и подавляющее большинство остальных глаголов совершенного вида – обозначают какое-то изменение¹⁵; если Говорящий о нем сказал, то самый очевидный кандидат на роль Р' – то измененное состояние мира, которое имеет место *после* Р (эту интерпретацию СВ можно назвать квазиперфектом). Этим объясняется неловкость СВ в последней реплике диалога:

(27) – Я вам буду звонить / позвоню в десять часов.

– Меня может не быть.

– Неважно, все равно буду звонить / позвоню.

Из первой реплики ясно, что интересующее Говорящего Р' – это возможность поговорить по телефону с Адресатом (а не, например, с его родными), в третьей же реплике такое Р' предполагаться не может, и это создает серьезную угрозу связности диалога. Очевидно, подобное объяснение – а никакого более простого мы не видим – опирается на мысль, что совершенный вид предполагает в (27) какую-то локализованную после Р ситуацию Р'.

Напрашивается как будто предположение, что на роль Р', как и в случае с перфектом, может претендовать *что-то наличное в момент речи* (чем бы оно ни оказалось), неверно. Действительно, во фразах типа *Я сварю суп; Ивана уволят; Я позвоню* идея о том, что будет *после* (и *вследствие*) Р, и идея о том, что *есть в момент речи*, прагматически одинаково доступны, так как оба эти представления предзаданы: первое – (лексической) семантикой глагола, второе – самой речевой ситуацией. Однако первая идея имеет огромный перевес в том смысле, что *непосред-*

¹³ Вопрос, каков коммуникативный статус собственно видовых сем (20а) и (20б), здесь решать необязательно; им мы намерены заняться в другой работе.

¹⁴ О том, в какой степени (гораздо большей, видимо, чем думал даже Р. Jakobson) язык иконичен, см. [Givón 1995].

¹⁵ Сказанное *mutatis mutandis* относится и к пердуративам (глаголам типа ПРОСПАТЬ (какое-то время)). Хотя очень сомнительно, чтобы они обозначали изменение мира в узком смысле (ср. выше пример (3) и комментарий к нему), пердуративы тем не менее ощутимо динамичны, несут идею движения "сквозь" время и потому задают вектор от прошлого к будущему.

Можно также считать, что изменение мира обозначается и делимитативами типа ПОСПАТЬ, только изменение это куда менее явное, и у делимитативов в будущем времени соответствующие черты могут и проявляться, и не проявляться; см. 5.3. Замечание 5.

ственно связана с конкретным глаголом и прямо отражает его специфику (результаты, например, *варки супа, увольнения и звонка* заведомо разные и связаны с конкретной речевой ситуацией), в то время как вторая гораздо более размыта: если считать, что $P' = \text{'то, что есть в момент речи'}$, это скорее всего значит, что P' суть какие-то *предпосылки* к осуществлению P . Ясно, что понятие о предпосылках P несопоставимо туманнее понятия о результатах, и последнее – как обеспечивающее большую информативность высказывания – и должно выигрывать конкуренцию за роль P' . Иными словами, в случае с перфектом имеет место благоприятное совпадение: Говорящего интересует нечто локализованное во времени *после* P , и это нечто может быть связано с прагматически хорошо доступным моментом речи, который *тоже* находится *после* P . В данном случае подобной гармонии нет, и первое обстоятельство оказывается важнее. Поэтому ниже обсуждаемая возможность – что во фразах типа *Я сварю суп; Ивана уволят* роль P' выполняется чем-то прикрепленным к моменту речи – учитываться не будет.

В том же самом – что Говорящего действительно *интересует то, что будет после* P , – легко убедиться, немного расширив (25) и (26):

(25') Я сварю суп. Купи, пожалуйста, перца.

(26') Ивана уволят. Надо ему помочь.

(25') естественнее понять в том смысле, что перец будет положен в *готовый* суп, а (26') – в том, что помогать Ивану надо *после* его увольнения¹⁶. Особенно это наглядно, если поставить в (25'–26') глаголы *несовершенного* вида:

(25'') Я буду варить суп. Купи, пожалуйста, перца.

(26'') Ивана будут увольнять. Надо ему помочь.

Отличие НСВ от СВ заведомо не проходит здесь по линии 'много-/однократность'; кроме того, в будущем времени (как, между прочим, и в модальных контекстах) крайне маловероятна оппозиция 'безуспешное / успешное действие' [ср. Boguslawski 1985]. По всей видимости, НСВ служит в (25''–26'') главным образом, чтобы переменить перспективу и подчеркнуть интерес Говорящего к тому, что есть или будет *перед* P' ¹⁷. Так, (25''), в отличие от (25'), скорее всего значит, что перец добавляется к супу *в ходе* его варки, а (26''), в отличие от (26'), – что Ивану надо помогать *до* увольнения (может быть, помогать психологически, может быть, самое увольнение предотвратить). Учитывая это, именно несовершенный вид обычно связывается с идеей "намерений" (у фраз *Я буду варить суп; Ивана будут увольнять* этот оттенок гораздо ощутимее, чем у *Я сварю суп; Ивана уволят*) или с мыслью, что действие обусловлено какими-то наличными (либо уже в момент речи прогнозируемыми) обстоятельствами. Так, если человек находится в пустом театре и хочет посмотреть на зрительный зал, он скажет *Зайду в зал*; если же он пришел на спектакль и слышит третий звонок, то сказать надо: *Буду заходить*. То же явление давно отмечалось для русского императива; например, фраза *Зайдите* – чистое волеизъявление Говорящего, в то время как *Заходите* значит нечто вроде 'я обращаю внимание (свое и, следовательно, ваше) на то, что есть сейчас (например, на то, что вы стоите у дверей), и говорю: я хочу, чтобы вы зашли', и волеизъявление здесь *обосновывается*; отсюда более вежливый характер фразы *Заходите*. Отсюда же и особая окраска несовер-

¹⁶ Не опровергает сказанного пример *Купи перца – я сварю суп*. Здесь покупка предполагается *до* варки супа, но и дело мы имеем с другим явлением, а именно с "цепью". В (25') важно то, что сообщение *Я сварю суп* делается до и независимо от *Купи перца* и осмысливается само по себе: еще до появления второй фразы должно быть восстановлено то, что предполагается значением глагола *сварю*.

¹⁷ Мы исходим из известного и очень хорошо согласующегося с нашей точкой зрения тезиса, что НСВ – своеобразное гибкое отрицание СВ, способное затрагивать и его логическое содержание, и порожденные им импликатуры [Boguslawski 2000].

шенного вида в часто обсуждаемом примере: кто-то в ресторане попросил официанта дать воды; если после долгого ожидания он скажет *Давайте воду*, то прозвучит это не мягче, а грубее, чем *Дайте (же) воду*. Дело в том, что здесь Говорящий обращает внимание Адресата на обстоятельства, которые тому *заведомо известны*, а это не что иное как *напоминание* – и потому значительно жестче. (Заметим также, что способность переключать перспективу – с соответствующим переносом в прошлое и точки отсчета – есть у НСВ и в прошедшем времени; ср.: *Иван уедет vs. Иван будет уезжать, Наавтра Иван уехал vs. Наавтра Иван уезжал*. Предпоследняя фраза имплицитно интересуется к тому, что было *после* события, а последняя – к тому, что было *до*.)

Разумеется, коль скоро речь идет о прагматике, описанная закономерность иногда нарушается (например, допустимо сказать: *Я сварю суп. Зажги огонь*), однако для глаголов, чей "сценарий" Р прямо говорит об изменении мира, она несомненна.

Больше того, хотя при подобном употреблении СВ контекст не предоставляет готового материала или подсказки для восстановления Р', в другом смысле как раз такое употребление *наиболее нейтрально*. Если мысленно освободить Р от видовых сем (20а-б), то оно и само по себе – будучи *сообщаемо* и говоря о каком-то изменении мира – предполагает интерес к эффекту этого изменения [Johnson 1981: 152]. Иными словами, здесь собственно видовая информация лишь подчеркивает и так подразумеваемый интерес к эффекту Р, причем к эффекту не в определенный момент, например в момент речи, как при перфектной интерпретации, а к эффекту в *некоторое произвольное время* (т.е. во время, когда этот эффект есть). Подчеркнем, что интерес к эффектам Р – и здесь, и в случае перфекта – тоже связан с прагматикой. Сама *семантика* глаголов СВ логически допускает, что достигнутое изменение мира *немедленно утрачивается*. Так, даже экзотическая ситуация, когда, например, сваренный суп немедленно улетучивается, существованию описываемого глаголом СВ АРИТЬ "сценария" отнюдь не угрожает. Иными словами, здесь возникает своего рода конфликт между семантикой глагола и требованиями прагматики. Прагматика предполагает, что действие мыслится вместе со своими эффектами, вместе с "последствием", а семантика глагола в сравнении с этой потребностью "урезана" и в норме домысливается до, так сказать, полного сценария¹⁸.

Из сказанного следует, что в будущем времени при отсутствии "цепи" и при отсутствии какой-либо точки отсчета, позволяющей перфектно пониманию, СВ своими собственно видовыми семами (20а-б) не сообщает ничего такого, что без них не было бы сообщено; таким образом, он совершенно *нейтрален*, а от НСВ следует ждать "спецэффектов", чему данные выше примеры служат неполной, но достаточной иллюстрацией.

З а м е ч а н и е. Из сказанного выше следует, между прочим, что уже в силу своего *лексического* значения событийный глагол (глагол, обозначающий скачок в новое состояние) непременно, в том числе при "цепном" употреблении, должен привлекать внимание к послескачковой фазе. Действительно, хотя в "цепи", где по определению есть эксплицитное Р, собственно видовые семы СВ этого не требуют, такое внимание несомненно есть. Ср.: *Он купил продукты и варил суп, так что понадобился перец; Он купил продукты и сварил суп, так что понадобился перец*. Вторая фраза, в отличие от первой, с очень большой вероятностью подразумевает, что перец клался в *готовый* суп.

¹⁸ Ср.: "...фазы события начинаются в то самое раннее время, когда событие уже можно считать конкретной реальностью... и длятся до самого позднего времени, пока данное событие продолжает влиять на характер последующих" [Johnson, 1981: 152; перевод наш]. Для нас важно, что между подготовительной фазой и последствием нет полной симметрии в плане их прагматической доступности: характер *последствия*, по крайней мере частично, *закодирован* в значении разбираемых глаголов, и потому именно *последствие* должно привлечь внимание в первую очередь.

(Может возникнуть соблазн усматривать в подобных примерах просто квази-перфектное, а не "цепное" значение, но это неправильно, поскольку, разбив "цель" (*Он купил продукты; Он сварил суп*), мы получим безусловный перфект, с явным интересом к тому, что налично в момент речи.)

5.2.3. В итоге оказывается, что СВ в прошедшем и будущем времени интерпретируется по-разному. Если нет эксплицитной "цели", то прошедшее время почти всегда (об исключениях – ниже) получает *перфектное*, но не *квазиперфектное* значение. Например, фраза *Я написал письмо*, если взять ее без соответствующего контекста и считать, что Говорящий не интересуется наличным в момент речи положением дел, звучит весьма странно. С другой стороны, такое вполне естественно для будущего времени – а также, заметим, и для СВ во многих модальных контекстах, которые здесь не обсуждаются, но СВ тоже часто имеет в них квазиперфектное значение: во всех этих случаях результат или другой эффект Р *не привязывается* к какому-либо определенному, существующему безотносительно к Р моменту референции. Уместен вопрос, *почему* квазиперфект в прошедшем времени избегается: ведь понятие об эффектах Р *прагматически как будто не менее доступно*, чем эксплуатируемое перфектом понятие о моменте речи.

Если, как мы сделали это выше, считать, что перфектом сигнализируется только интерес к *моменту речи*, то ответ более чем очевиден: просто информативность квазиперфектной интерпретации очень низка, ибо здесь несомый видовой граммемой смысл (интерес к Р) лишь подчеркивает и без того естественное внимание к эффектам события Р, связанное же с перфектной интерпретацией внимание к моменту речи куда менее тривиально. С другой стороны, как мы уже говорили, при равной доступности двух интерпретаций предпочтительна более информативная.

Если же мы снимем принятое выше ограничение и признаем, что перфект сигнализирует о внимании к *любой* точке отсчета, а не обязательно к моменту речи, то обсуждаемый вопрос окажется сложнее.

Для начала стоит его слегка переформулировать. Допустим, употребляя глагол совершенного вида в прошедшем времени, мы заведомо *не интересуемся* ситуацией, которая налична в момент речи. Сравним теперь фразы *На будущий день рождения я подарю ей цветы* и *На прошлый день рождения я подарил ей цветы*. Интуитивно ясно, что вторая, в отличие от первой, имплицитно представляет о более или менее *определённом* моменте, таком, что (а) этот момент *не совпадает* с моментом речи; (б) говорящему важна ситуация, наличная в этот момент (т.е. глагол относительно этого момента перфектен). Другими словами, в первой фразе действие тривиально подается с точки зрения момента речи, а во второй – с точки зрения какого-то особого опорного момента в прошлом. Вопрос, следовательно, в том, откуда эта новая точка отсчета берется.

Можно полагать, дело объясняется семантикой прошедшего времени, а именно – более узкой, чем в будущем времени (а также в императиве, инфинитиве и, вероятно, в сослагательном наклонении), когнитивной установкой Говорящего: прошедшее время сигнализирует, что ситуация помещена в ряд уже состоявшихся и закрепленных во времени ситуаций. Будущие (равно как возможные, желательные и т.д.) ситуации допускают, что о них никто в настоящее время *не знает и знает не может* [ср. Johnson 1981: 146–147]. Сказать, что о прошлых событиях никто – никто в буквальном смысле слова – не может знать, более чем экзотично и по сути равносильно утверждению, что этих событий *не было вовсе* [Boguslawski 1994]. Не менее экзотично и предположение, будто сам Говорящий знает о событии Р, но ничего другого о прошлом не знает. Можно поэтому предположить, что форма прошедшего времени *семантически* сигнализирует о помещении данного события Р в ряд известных, в частности Говорящему, событий.

Думать так есть и посторонние причины. Почему можно сказать *Иван иногда (редко) к нам зайдет*, но нельзя **Иван иногда (редко) к нам зашел?* (Заметим, что в польском языке, чья видовая система почти идентична русской, подобные высказывания допустимы; как это объяснить, мы не знаем.) Наречия ИНОГДА Р, РЕДКО Р и некоторые другие представляют повторяющиеся ситуации Р, так сказать *en masse*, исключая сам вопрос о месте какого-то отдельного Р в ряду других ситуаций (подробнее см. [Зельдович 1994; 1995]). Будь вид глагола несовершенным, как в *Иван иногда (редко) к нам заходил*, – налагаемые формой прошедшего времени требования оказались бы исполнимы благодаря тому, что итеративная ситуация как целое локализуема в событийном ряду (например, *После детского сада я ходил в школу*; ср. [Тимберлейк 1985: 271]). При глаголе же СВ, как следует из толкования (20), каждое Р берется *само по себе*; поэтому во фразе **Иван иногда (редко) к нам зашел* возникает конфликт между значением прошедшего времени и значением наречия. (Разумеется, событийный ряд может быть и не "уникальным", а "типизированным", повторяющимся; ср.: *Иван иногда так: зашел к нам – и без всякого приглашения плюхнулся в кресло.*)

Таким образом, в прошедшем времени СВ с одной стороны, как и всегда, требует восстановить ситуацию Р', а с другой стороны сообщает о наличии известных кому-то и нормально известных Говорящему соположенных с Р ситуаций. В результате не только идея эффектов Р, но и идея иных, нежели Р или его эффекты, ситуаций, в контексте присутствует и хорошо доступна – и, как мы уже говорили, она *информативнее*, чем идея эффектов Р.

В будущем времени (и модальных контекстах) *других* известных событий может не быть, и тогда (квазиперфектное) осмысление СВ обходится минимальным материалом.

5.2.4. Заканчивая рассматривать случай употребления совершенного вида, когда множество М одно, позволим себе еще несколько замечаний.

З а м е ч а н и е 1. Интересно, что большая разветвленность – а потому и специфичность – форм и значений прошедшего времени по сравнению с будущим скорее всего является языковой универсалией [Comrie 1976: 31, 32].

З а м е ч а н и е 2. Даже попадая в ирреальный контекст (например, *Она, кажется, сварила суп*), форма прошедшего времени гипотетическое событие (конечно, тоже гипотетически) помещает в *реальный* временной ряд, и возникает перфектное значение (так, в последнем примере по сути говорится о том, что *суп, кажется, существует*).

З а м е ч а н и е 3. Иногда о реальных событиях прошедшего говорит форма *инфинитива*, но информация, что событие помещается в ряд других, ею ни в коем случае не выражается, ибо инфинитив свободно осмысливается по квазиперфектной модели (*Хочу сварить суп; Сварить суп – дело нехитрое*). Перфектное значение во фразах типа *Мне удалось сварить суп* связывать с инфинитивом нет никакой надобности, так как в подобных конструкциях всегда есть другой – и несомненный – носитель перфектного значения, в данном случае – глагольная форма *удалось*.

З а м е ч а н и е 4. Подчеркнем, впрочем, что описанные правила относятся к прагматическим и, значит, не абсолютны. Там, где *несовершенный* вид по каким-либо причинам недопустим и СВ в прошедшем времени *обязателен*, он может не требовать ни "целной", ни перфектной интерпретации. Например, нельзя сказать, что кто-то *рождался* в определенном году или *выигрывал* – в результативном смысле – определенный матч; поэтому фразы *Пушкин родился в 1799 году; Ботвинник выиграл матч-реванш у Таля* тоже являются примером квазиперфекта.

З а м е ч а н и е 5. То, что говорилось о квазиперфекте, полностью относится только к каноническим, прямо обозначающим *изменение*, глаголам СВ. Несколько иначе ведут себя глаголы типа ПОСПАТЬ, у которых Р – будь это само состояние

(‘спать’) или состояние вместе с неким “довеском” – безусловно гомогенно и *прямо, на уровне своей семантики, об изменениях мира не говорит*. Разумеется, усмотреть здесь изменение мира можно (например, если кто-то *поспал*, то он в результате может быть бодр, готов работать и т.п.), однако существенно, что такое восстановление Р’ скорее опирается на общие знания о мире, а не на то, что высказывание содержит в *закодированном* виде, и поэтому подобное осмысление допустимо, но *не предпочтительно* перед какими-то другими. Для делимитативов можно представить себе – и они реально существуют – еще два типа осмыслений, при которых Р’ оказывается *не эффектом Р*, а чем-то иным, и при этом, естественно, возникают особые оттенки в значении СВ (по сути эти типы хотя и очень локальны, но совершенно самостоятельны, отличаясь и от “цепи”, и от перфекта, и от квазиперфекта)¹⁹.

При первом типе Р’, как и при перфекте и квазиперфекте, локализуется *после Р*, только представляет собой не эффект Р, а нечто *неопределенное*. Здесь смысл СВ в том, что Говорящему важно, что помимо и после называемой ситуации есть или будут *какие-то другие*. Этим объясняется, почему предложения *Я посплю, Я погуляю* часто имеют отчетливый оттенок ограниченности (нечто вроде ‘я буду спать/гулять не все (релевантное) время; после этого я займусь чем-то другим’).

При втором типе Р’ локализуется *до Р*, и фраза получает общий смысл ‘я имею в виду нечто, что есть сейчас или будет (Р’); после этого будет Р’. Самая очевидная интерпретация этого смысла состоит в том, что Р’ является каким-то условием или предпосылкой для Р. Те же самые фразы *Я посплю, Я погуляю* могут использоваться, чтобы обратить внимание Адресата на что-то очевидное (или предполагающееся таковым), например, на то, что Говорящий уже приготовился ко сну, устал, уже одет для прогулки и т.п. Отсюда своего рода оправдательно-аргументативный оттенок, которого нет у соответствующих предложений с несовершенным видом *Я буду спать, Я буду гулять*²⁰.

З а м е ч а н и е 6. Описанный выше тип употребления СВ (с “цепной”, перфектной и квазиперфектной интерпретацией как частными случаями) обычно именуют конкретно-фактическим. Точно таким же образом можно описывать и так называемое ограниченно-кратное употребление. Во-первых, как хорошо известно, тот временной промежуток, где локализуются отдельные действия, должен быть достаточно компактен. Фразы типа

(29) Он несколько раз постучал в дверь.

(30) Мы трижды предупредили его об урагане.

¹⁹ То, что здесь действительно должно быть некое Р’, видно из примера:

(28) – Что ты будешь делать?

– Буду спать.

– А еще что?

– Говорю же тебе – буду спать.

(28’) – Что ты будешь делать?

– Посплю.

– А еще что?

– Говорю же тебе – посплю.

²⁰ Очень любопытно, что в случае подлинно видовых пар (каковыми пары ПОСПАТЬ – СПАТЬ и ПОГУЛЯТЬ – ГУЛЯТЬ ни в коем случае не являются) распределение функций между видами иное: как показывают рассмотренные выше примеры типа *Заходите vs. Зайдите, Дайте воду vs. Давайте воду*, здесь *несовершенный* вид используется, чтобы привлечь внимание к тому, что имеет место *до Р*. Происходит так по уже объясненным причинам: с одной стороны, глаголы здесь обозначают *изменение* и потому именно *результат* изменения оказывается первым и главным кандидатом на роль Р’; с другой стороны, несовершенный вид, по нашему мнению (которое мы, к сожалению, не можем здесь подробно обосновать), вступает в игру как раз там, где совершенный неуместен – причины же его неуместности могут быть в каждом случае свои.

допускают только, что ряд действий имел место в рамках одной объемлющей ситуации [Тимберлейк 1985: 271–272]: если удары в дверь разделены несколькими часами, о них нельзя сказать с помощью (29), а предложение (30) непременно имеет в виду *один и тот же ураган*. Во-вторых, недопустимо слишком большое число отдельных актов: *'Он триста раз ударил (⇒ ударял) в дверь; 'Он много раз проведаль (⇒ проведывал) товарища*. Это обстоятельство тоже свидетельствует, что время ситуации рассматривается как некая компактная целостность. В-третьих, отдельные действия должны (хотя бы потенциально) иметь совокупный эффект [Маслов 1984: 80]. Например, многократный стук в дверь может соответствовать условленному сигналу или с большей вероятностью привлечь внимание хозяина; многократные предупреждения могут лучше убедить и т.д. Таким образом, для ограниченно-кратного значения по сравнению с конкретно-фактическим специфично лишь то, что в сферу действия видовой граммы входит количественный показатель **СТОЛЬКО-ТО РАЗ** – который есть не что иное, как предусмотренная выше добавка А, *вместе с которой* данное Р единично (см. 4.3).

6. Мы рассмотрели случай употребления СВ, когда множество М *одно*. Во избежание неясности позволим себе еще небольшое отступление, касающееся того, как выбирается одна, нужная, из трех главных – "цепной", перфектной и квазиперфектной – интерпретаций глагола.

По логике наших рассуждений, там, где помимо Р есть другая эксплицитная ситуация она становится Р', и возникает "цепная" разновидность СВ. Однако какая-то иная, чем данное Р, ситуация есть практически *во всяком* тексте, и интуитивно несомненно, что не любая эксплицитная ситуация на роль Р' годится. Чтобы убедиться в последнем, рассмотрим пример:

(31) а. Лучше купить готовые котлеты, чем жарить их самому;

б. Лучше купить готовые котлеты, чем поджарить их самому.

Фраза (б), где во втором случае вместо НСВ *жарить* употреблен СВ *поджарить*, сильно отличается от (а) по смыслу: здесь имеется в виду, что покупные котлеты сами по себе лучше домашних, между тем как (а) допускает и эту интерпретацию, и другую, при которой сама *покупка* предпочтительна перед жаркой. Такую суженность значения у (б) нетрудно объяснить – и другого объяснения мы не видим. – если признать за обоими глаголами *квазиперфектное* значение 'Говорящий мыслит себе (и, следовательно, она его интересуется) ситуацию-результат ситуации Р', т.е. 'Говорящего интересуется результат покупки котлет' и 'Говорящего интересуется результат жарки котлет'. Однако предложение (б) говорит о предпочтении первого второму; в первом приближении это значит 'Говорящий хочет покупки котлет (и, следовательно, ее результата)' и 'Говорящий не хочет жарки котлет (и, следовательно, ее результата)'. Если в обоих случаях предполагается *один и тот же* результат – в виде наличия котлет (а разница в качестве, если и есть, то в расчет не берется). – то значение фразы (б) оказывается внутренне конфликтным, чем и блокирована тут одна из допустимых в (а) интерпретаций.

Таким образом, чтобы объяснить обсуждаемое различие, у глаголов СВ в (31) надо усматривать *квазиперфектное* значение. Тогда нет никаких оснований видеть здесь признаки "цепи".

На самом деле выбор / не-выбор "цепной" интерпретации управляется закономерностями более сложными, чем это предполагалось выше. Вспомним наши рассуждения по поводу семы (20а). Мы отказались от формулировки 'существует множество ситуаций, включающих данную', потому что эта информация семантически тривиальна: такое множество существует *всегда*, – и предпочли сказать, что 'Говорящий *мыслит* множество (множества) ситуаций (М), в которое (в каждое из которых) входит то, что или о чем говорится с помощью "Р"'. Однако мы не

упомянули, что и эта формулировка тривиальна, только *прагматически*: едва ли наберется много текстов, которые можно породить, не мысля *многих* ситуаций. В отличие от *семантических* тривиальностей, прагматические имеют право на существование (без смысловых сдвигов, происходящих в случаях типа *Иван есть Иван*), как имеют это право сообщения, что Волга впадает в Каспий, а сахар сладкий (но не *сахарный*), поэтому пересматривать данное совершенному виду толкование (20) не обязательно. Важно только знать, что и в пункте (а) оно требует доосмысления: чтобы пункт (а) был информативен, надо *сузить* множество мыслимых ситуаций.

Самый прямой, "немаркированный" способ сказать о ситуации – это назвать ее прямо, с помощью соответствующего предиката и его актанта. Совершенный вид говорит о ситуациях *P'* отнюдь не так, а использует своего рода фигуру демонстративного умолчания или намека. Главная цель здесь, как мы уже говорили, – назвать ситуацию *P*, которая эксплицитна и связана с ассертивной частью в значении глагола как целого. При таком положении дел незачем было бы вообще как-то указывать на ситуации *P'*, если бы они не оказались связаны с *P*, причем связью более сильной, нежели просто ассоциации Говорящего. Тривиальнее всего здесь, конечно, соположенность ситуаций во времени и/или причинно-следственные отношения. Применительно же к (31) сказать, что две ситуации в каждой фразе *связаны*, достаточно странно²¹.

Заметим еще, что именно требование о *нетривиальной* связи *P* и *P'* исключает как будто допустимую интерпретацию фраз "*Маленькие трагедии*" Пушкин написал в Болдине; "*Маленькие трагедии*" Пушкин написал Болдинской осенью в том смысле, что *P* здесь 'Пушкин написал "*Маленькие трагедии*"', а *P'* – 'это было в Болдине', 'это было Болдинской осенью'. Дело в том, что такое *P* (некоторое действие) с таким *P'* (его местом или временем) *не связаны быть не могут*, т.е. связь события с местом и временем всегда тривиальна; безинформативно и абсурдно сообщать, что написание "*Маленьких трагедий*" или иное пространственно и темпорально локализованное событие *связано* со своим местом или временем. Поэтому в приведенных примерах реализуется не цепная (цепная, конечно, тоже возможна, но только если в более широком контексте есть хороший кандидат на роль *P'*), а перфектная интерпретация – которая в случае со значительным художественным произведением более чем уместна; там, где идея сохраненного результата или вообще интереса к моменту речи малоестественна, подобные предложения звучат странно: например, фраза *На Кавказ я приехал в 1960 году* уместна в устах осевшего или регулярно бывающего там человека, но не человека, побывавшего там один или несколько раз в далеком прошлом.

7.0. Теперь обратимся ко второму типу употребления СВ, когда множество, в каждом из которых *P* единично, имеется *много*. Как говорилось, этот вариант прагматически сложнее предыдущего и реализуется только под давлением контекста. Так обстоит по двум причинам.

Первая в том, что мыслить *один* объект при прочих равных условиях проще, чем *много* объектов. Вторая, еще более важная, связана с *характером* нашего объекта. Поскольку множество – это мыслительный конструкт, у объектов должна быть некая объединяющая черта; говоря языком логики, оно должно быть *естественным* (теоретически возможный вариант, когда множество задается списком, здесь едва ли

²¹ Заметим, что с похожей и давно обсуждаемой проблемой сталкивается теория условных конструкций. Толкуй мы *Если P₁, то P₂* как 'невозможно (P₁ и не-P₂)', должна оказаться удачной очень сомнительная фраза **Если будет хорошая погода (P₁), то дважды два равно четырем (P₂)*. Очевидно, что P₁ и P₂ всегда как-то *содержательно* связаны, но объяснить эту связь крайне трудно, и это одна из причин, почему некоторые авторы, в первую очередь А. Вежбица, считают ЕСЛИ семантическим примитивом.

релевантен, хотя бы потому, что значение СВ отнюдь не требует полного перечисления составляющих М членов и допускает, что М – естественное множество, а задание множества списком столь неэкономно, что имеет смысл, только если нет другого выхода). Там, где М одно, оно, в согласии с толкованием (20), строится как множество ситуаций, которые в момент речи мыслит Говорящий (и которые, следовательно, его интересуют). Если множеств М много, то этот способ их конструирования уже не годится – ибо если множества М суть просто множества ситуаций, которые Говорящий *мыслит* (которые Говорящего *интересуют*), то неясно, как эти множества *отличимы* одно от другого. В результате то общее, что есть у Р и Р', должно восстанавливаться из контекста.

Очень часто – хоть и не всегда – этим обжим оказываются причинно-следственные (в предельно ослабленном, вероятно до *post hoc ergo propter hoc*, понимании) связи, о которых сообщает посторонний данному глаголу контекст; тогда каждое М отлично от других тем, что составляет самостоятельную "причинно-следственную пару".

7.1. Наиболее эксплицитен – и сходен с описанной выше "цепью" – случай так называемых соотносительно-кратных конструкций, когда в тексте прямо названы и Р, и связанная с ним ситуация Р', причем между ними есть – выраженные синтаксической конструкцией, интонацией, а иногда и специальными лексическими средствами – причинные или квазипричинные отношения. Ср.:

(32) Захотел – пришел на работу.

(33) Он же как всегда. Послушал меня, сел и забыл.

(34) Теперь я знаю каждое ее слово. Она сама вечером прибежит и все расскажет (Л. Толстой).

(35) Чего-чего только не придет в голову, пока его дожدهшься. Три раза похоронишь, а девять приревнуешь (Е. Шварц).

(36) Перерывы между моими посещениями Переделкина бывали долгими... Один раз за лето я появлюсь в доме Корнея Ивановича, затем надолго исчезну (Н. Ильина).

(37) Этак всегда кричит человек: "подавайте! подавайте!", а подашь – так и рассердится (Н.В. Гоголь)²².

(Р и Р' мы никак не маркируем: их распределение для каждого ряда "СВ + СВ" зависит просто от того, какой именно глагол нас интересует, т.е. соотношения, как и в случае с "цепью", зеркальны; бывает, впрочем, и так, что глагол СВ входит в ряд с видом несовершенным, например, в *Хочу – пришел на работу*).

Соотносительно-кратные конструкции еще требуют классификации и изучения. В предварительном порядке скажем только, что они неоднородны и в интересующем нас аспекте, так как видовая семантика глагола может вносить в их значение и больший, и меньший вклад.

Легко видеть, что соотносительно-кратные конструкции реализуют смысловую модель

(38) Когда Р₁, Р₂,

причем предполагается, что и Р₁, и Р₂ осуществляются *многократно*.

Поскольку сообщать о многократных ситуациях составляет самую неоспоримую и универсальную функцию *несовершенного* вида, то он употребляется в подобных случаях без всяких ограничений – как, например, в (39а–41а):

(39а) Приходя домой (Р₁), Иван ложится спать (Р₂).

(40а) Иван, когда приходит домой (Р₁), ложится спать (Р₂).

(41а) Иван приходит домой (Р₁) – и ложится спать (Р₂).

Что касается совершенного вида, то он, по своей сути, называя ситуацию А, заставляет автоматически мыслить и какую-то ситуацию В. Поэтому он уместен там, где одна ситуация естественным образом вызывает представление о другой. Применительно к структуре (38) это без оговорок справедливо для ситуации-"причины" ("причины" – повторим – в предельно ослабленном понимании), Р₁. Можно ожидать,

²² Некоторые примеры – из [Гловинская 1989] и [Бондарко, Буланин 1967].

что в роли P_1 совершенный вид будет употребляться без существенных отличий от несовершенного: использование обоих видов мотивировано уже *наличными* в контексте смыслами: несовершенного – многократностью, а совершенного – причинно-следственной связью P_1 с P_2 . Действительно, соответствующая трансформация мало что меняет в значениях примеров (39а–41а); ср.:

(39б) Придя домой (P_1), Иван ложится спать (P_2).

(40б) Иван, когда придет домой (P_1), ложится спать (P_2).

(41б) Иван придет домой (P_1) – и ложится спать (P_2)²³.

С другой стороны, использование совершенного вида в P_2 чревато серьезным смысловым наращением. Рассмотрим примеры:

(42)³ Иван, когда придет домой (P_1), ляжет (P_2).

(43) Иван, когда придет домой (P_1), тут же (всегда, непременно, обязательно) ляжет (P_2).

(44) Иван придет домой (P_1) – и ляжет (P_2).

Предложение (42) скорее всего малопринемлемо, а если и допустимо, то разве что со смыслом 'Иван *нечасто* ложится, придя домой', о котором будет речь в п. 7.3.2 и который сейчас нерелевантен. Положение сразу улучшается, если ввести слова *тут же, всегда, непременно, обязательно* и т.п., говорящие об обязательном, многократном характере связи P_2 с P_1 (ср. (43)), либо если использовать имеющую похожий смысл бессоюзную синтаксическую конструкцию (ср. (44)).

Таким образом, СВ в P_2 уместен, если только отраженная в *Когда P_1 , P_2* связь ситуаций особенно тесна и регулярна.

Как объяснить эти факты? Позволим себе следующую гипотезу.

Совершенный вид в P_2 сигнализирует, что, мысля P_2 , Говорящий мыслит и другую ситуацию, – разумеется, P_1 . Иными словами, *мысля следствие, Говорящий вместе с тем мыслит и причину*. Естественно полагать, что при этом P_2 и в реальности влечет за собой P_1 , т.е. причинно-следственные связи взаимонаправленны. Однако здесь возникает парадоксальное осложнение: если произвольная ситуация P_1 влечет произвольную ситуацию P_2 (а так в модели (38) и обстоит, просто в силу ее семантики), а P_2 влечет P_1 , то P_1 и P_2 *суть одно и то же*, ибо они друг от друга ни в одном случае *не отличимы*. Между тем в реальных примерах типа (43–44) фигурируют такие P_1 и P_2 (вроде 'прихода домой' и 'отхода ко сну'), которые никак не тождественны. Если так, то для осмысления (39б–41б) требуются по крайней мере еще один шаг²⁴. Чтобы ответить, каков именно этот шаг, обратимся сначала к посторонним примерам.

Если звонят по телефону и кто-то, сняв трубку, отвечает, что

(45) Все услыш,

то *логически* это ложно, ибо сам отвечающий безусловно дома. Тем не менее, ответ вполне удачен, и дело в том, что Говорящий просто сузил референтное пространство до какого-то ситуативно релевантного минимума. (Несомненно и важно, что суждение это высоко произвольно: кто-то, сказав (45), может иметь в виду действительно всех без исключения, кто-то – всех за вычетом маленьких детей, и т.д.).

²³ Заметим, кстати, что фразы (39б–41б) опровергают распространенное мнение, будто, обозначая реально многократное действие, СВ автоматически представляет его "партикулярно" и тем самым "наглядно" (так называемое наглядно-примерное значение; см., среди прочего, [Бондарко, Буланин 1967]). Ярлык "наглядности" здесь едва ли применим, а если даже и применим, то все равно не объясняет, почему СВ ощущимо более "картинен" в приводимых ниже примерах (43), (44) и (47а).

²⁴ Заметим, что и на уровне чистых впечатлений примеры этого типа ощущаются как намного более специфичные (следовательно, сложно устроенные), нежели фразы вроде (39б–41б), с совершенным видом в P_1 , но не в P_2 .

Аналогичное явление имеет место при интерпретации определенных дескрипций. Так, фраза

(46) Стулья стоят в углу

либо неверна (поскольку едва ли все мыслимые в мире стулья стоят в углу), либо – и именно эта возможность как правило учитывается при осмыслении реальных высказываний – верна, но только в применении к заранее ограниченному релевантному множеству стульев (обсуждение других интерпретаций и убедительные доводы в пользу этой содержится в [Reimer 1998]).

Таким образом, если высказывание не удается хорошо интерпретировать в применении к "миру вообще", то оно прилагается к "миру частному". Для примеров (45) и (46) внеязыковая ситуация достаточно хорошо подсказывает, до какого предела надо сужать мир. В случае, который мы рассматриваем, внеязыковых подсказок может не быть, и конструкция типа *Когда P_1 , P_2 с СВ* в P_2 , взятая сама по себе, в интересующей нас части значит просто, что 'есть **некоторый** мир (часть целостного мира), в котором ситуацию P_2 сопровождает ситуация P_1 '. Учитывая непредзаданность этого "некоторого" мира (он может быть произвольно ограничен каким-то местом, временем или чьим-то личным опытом, в конце концов специально мысленно сконструирован так, чтобы в нем выполнялась требуемая закономерность), оказывается, что либо информативность последнего смысла сводится к нулю, либо же его ценность состоит как раз в том, что в связи с сообщением о P_2 Говорящего интересует некая *специфическая часть* целостного мира. Разумеется, реально в расчет принимается только вторая возможность.

Остается спросить себя: в каком конкретно фрагменте мира (все равно – объективного или ментального) наблюдаются регулярные связи не только от причины (P_1) к следствию (P_2), но и наоборот, от следствия к причине? Если оставить в стороне интеллектуалистские версии, где будут упомянуты разного рода магические практики, ответить нужно, что это *мир стереотипов*: тех жестких "сценариев", которые есть в памяти у каждого человека. Таким образом, наиболее вероятно, что если в P_2 использован совершенный вид, как в (43) и (44), то Говорящий мыслит P_2 как часть стереотипного сценария.

При этом вовсе не обязательно, чтобы Говорящий имел только один стереотип с участием P_2 , т.е. чтобы в мире разделяемых Говорящим стереотипов данное P_2 *непрерывно* связывалось с данным P_1 ; в этом случае были бы неприемлемы тексты типа

(44') Иван придет домой (P_1) – ляжет (P_2), придет на дачу (P_1') – опять ляжет (P_2').

Существенно то, что стереотипы существуют, чтобы упростить мир; если число их слишком велико, они уже перестают быть стереотипами. Поэтому стереотипов, сценариев с участием произвольного P_2 не может быть много. Поэтому, какой бы ни оказалась произвольно взятая ситуация P_1 , Говорящий мыслит ее *достаточно конкретно*, и потому несомое совершенным видом сообщение, что P_2 связывается для Говорящего с P_1 , *имеет информативную ценность*, а не сводится к абсолютно безинформативному ' P_2 связывается для Говорящего с чем-то другим, какой-то (любой) другой ситуацией', как это было бы, если бы речь шла о *всем мире как целом*, где у любого следствия P_2 имеется, строго говоря, *бесконечное* множество причин.

Разумеется, использование совершенного вида в P_2 еще недостаточно, чтобы непременно индуцировалась идея стереотипа. Именно поэтому СВ хорош прежде всего там, где эту же идею подсказывает контекст. Фразы типа (43) гораздо лучше, если содержат показатель "универсальности" типа *тут же, всегда, непременно, обязательно* или *редко*; чуть хуже – с *очень часто*, и еще хуже – с *часто, иногда* и т.п. Ср. несколько неловкие (особенно – второй) варианты:

(43') Иван, когда придет домой (P_1), очень часто ляжет (P_2).

(43'') 'Иван, когда придет домой (P_1), часто (иногда) ляжет (P_2).

Что касается бессоюзной синтаксической модели в (44), то она, видимо, сама по себе гораздо теснее связана с идеей стереотипа, и потому *часто и иногда* здесь не мешают: *Иван часто (иногда) придет домой – и ляжет.*

Очень важно, что "сценарий" должен быть у Говорящего как-то сформирован. Если речь не идет о стереотипах общего характера (а соотносительно-кратные конструкции для сообщения о таких стереотипах употребляются, кажется, крайне редко), то самое вероятное, что стереотип сложился в личном опыте Говорящего, и отсюда часто возникающий "эффект наблюдателя", мысль о котором и кроется, по-видимому, за термином "наглядно-примерное значение". Он есть в (43) и (44), а также в предложении

(47а) Функция превысит пороговую величину – и начнет резко падать.

Эта фраза, в отличие от более академической

(47б) Функция превысит пороговую величину – и начинает резко падать, уместна лишь при условии, что кто-то это наблюдал (процесс вычислений, построения графика и т.п.) или хотя бы наблюдал *мысленно*.

Заметим в заключение, что рассмотренные примеры, весьма вероятно, манифестируют в русском языке так называемый эвидентив – категорию, сигнализирующую, что описываемое дано Говорящему в опыте.

Заметим также, что соотносительно-кратные конструкции не следует смешивать с конструкциями типа *Если два умножить на два (P₁), получится четыре (P₂)*, которые сообщают о *чисто логической* связи P₁ с P₂, ничего не говоря, осуществляются ли P₁ и P₂ реально. Здесь мотив для использования СВ в P₂ состоит в том, что для рассуждений о логических связях достаточно мыслить *одно* P₂ (как, впрочем, и одно P₁). Поэтому при употреблении в P₂ совершенного вида не возникает описанных выше эффектов "стереотипности"²⁵.

7.2. Существует и второй вариант употребления СВ при множественности множеств М. Здесь никакого эксплицитного Р' нет, и оно должно быть восстановлено; как мы помним, самый доступный способ его восстановить – принять за Р' те эффекты, к которым ведет Р. Кроме того, необходимо, чтобы всякое множество М имело некую объединяющую его содержательную черту: выше говорилось, что отдельное М не может быть просто "множеством, куда входят данная ситуация и ее эффекты" – из-за абсолютной тривиальности такого множества. В том случае, когда М *одно*, выручало то, что это может быть множество, о котором просто *думает Говорящий*. Здесь, как мы уже говорили выше, это не так: Говорящий мыслит *много* множеств М, и чтобы формировать *отдельное* М, этого признака мало.

Отсюда вытекает, что у каждого М есть *иная* объединяющая черта и на нее либо указывает контекст, либо содержательный признак М остается непроясненным.

7.2.1. Первый случай лучше всего проиллюстрируют конструкции с имплицативным глаголом несовершенного вида в итеративном значении, например, *X–у удавалось / приходилось / случалось / доводилось S; X успевал S*.

Все имплицативы несомненно имеют свое собственное, отличное от S (хотя иногда и трудноуловимое), значение. Именно этим значением и скрепляется каждое М.

Так, глаголы *приходилось, случалось и доводилось* несут идею определенного *личного опыта*, причем, если они итеративны, заведомо разделенного на отдельные "кванты". Там, где для подобного опыта существенно не только Р, но и какие-то его эффекты Р', при этих имплицативах уместен совершенный вид:

(48) а. Мне приходилось упасть с крыши;

б. Мне случалось оказаться в таком же неприятном положении;

в. Мне доводилось остаться без работы.

²⁵ Кстати, тот же мотив для употребления СВ имеется и в других случаях, например, в сообщениях о возможности-способности (*Он может поднять 25 килограммов; Он поднимет 25 килограммов*) – в отличие от сообщений о возможности-"умении", которая предполагает ряд осуществлений и описывается несовершенным видом (*Он поднимает 25 килограммов*).

(Естественно, идея "последствия" Р' обычно достаточно очевидна, и несовершенный вид успешно конкурирует здесь с совершенным.)

Если эффекты Р лежат явно вне сферы субъективного опыта, то СВ при названных глаголах-имплицативах малоупотребителен; ср.:

(49) а. ? Мне приходилось (доводилось) написать книгу (*лучше*: писать книги);

б. ? Мне приходилось (доводилось, случалось) сварить (*лучше*: варить) французский суп.

Если же, наоборот, ситуация Р' как результат Р особенно важна, то предпочитается вид совершенный. Так обстоит для глагольного сочетания *удачно выйти / выходить замуж*: *удачно* здесь почти всегда относится к *последствиям* выхода замуж, т.е. к Р', а не к Р, и потому лучше сказать *В этом городке женщинам редко приходилось удачно выйти* (а не *выходить*) *замуж* (пример адаптирован из [Fielder 1985: 87]; там же – ряд других примеров, допускающих сходное объяснение).

Нечто подобное верно и для глагола *удавалось*: будучи итеративен, он предполагает отдельные интервалы, на каждом из которых, грубо говоря, кто-то *хочет и прилагает усилия*, чтобы было Р и его эффект Р'. Это *стремление* к Р и Р' и служит нетривиальным объединителем для каждого отдельного множества М. Аналогично объяснение и для *Х успевал S*, где глагол *успевал* – скорее всего гипоним глагола *удавалось* (гипоним, уточняющий, какого характера препятствия подлежали преодолению).

З а м е ч а н и е 1. Подобный предложенному анализ подходит и ко многим случаям модализованного употребления СВ, например, к фразам *Каждый раз, когда его вижу, хочется сразу уйти*; *Каждый раз, когда он приходит, надо открыть ему дверь*. Так, последнее предложение значит, что есть много отличимых друг от друга случаев ("раз"), в пределах каждого из которых необходимо *однократно* открыть дверь, причем к области необходимого безусловно относится не только Р (открывание двери), но и его эффект Р' (наличие *открытой* двери). Таким образом, здесь есть множество отдельных множеств ситуаций и есть та нетривиальная особенность ('необходимость'), которая спаивает Р и Р'²⁶.

З а м е ч а н и е 2. Сказанное никоим образом не требует, чтобы Р' *входило в сферу действия* имплицативного глагола (применительно к прагматически восстанавливаемой, а не семантической информации такая мысль грозит непредсказуемыми последствиями). Важно только, что по очевидным *прагматическим* причинам вхождение Р в личный опыт, стремление к Р и т.д. предопределяют точно такой же статус Р' (Р' – часть личного опыта, Р' – предмет стремлений и т.д.).

7.2.2. Наконец, если текст не предлагает ничего подходящего на роль нужного объединителя, возникают самые маргинальные случаи употребления СВ, первый из которых представлен в (7) и (50):

(7) Иван вообще-то трезвенник, но иногда и выпьет.

(50) Иван редко чем-нибудь поможет,

а также во фразах типа

(51) Люблю выпить (прогуляться, прочитать хорошую книгу).

Ради чего здесь, в идеальном для несовершенного вида контексте многократности, появляется совершенный вид?

С одной стороны, при множественности множеств М каждое М должно иметь нетривиальную объединяющую черту. С другой стороны, текст (7), (50) и (51) ничего

²⁶ Другой как будто возможный с излагаемой точки зрения анализ фразы *Каждый раз, когда он приходит, надо открыть ему дверь*, предполагающий, что это соотносительно-кратная конструкция и совершенный вид *открыть* сигнализирует о связи этой ситуации с ситуацией прихода, неверен: связь второй ситуации с первой, конечно, налицо, только эта вторая ситуация – не само открывание двери, но *надобность* открыть дверь.

не говорит ни об этой черте, ни о Р' (поэтому Р' здесь не может быть просто "эффектом" Р, а представляет собой какую-то другую сопровождающую Р ситуацию): Говорящий имеет в виду существование каких-то (неприменно естественных, раз каждое не задается "перечнем") М и, следовательно, каких-то Р', но не считает нужным их характер прояснить. Он просто сообщает, что мыслит себе некое не уточняемое "ситуативное окружение" каждой ситуации 'Иван выпил', 'Иван помог'. Два этих обстоятельства – причем именно в своей совокупности: для соотносительнократных конструкций второе неактуально, так как в них Р' называется *прямо*. – и определяют специфику подобных фраз.

Вспомним в качестве хрестоматийной аналогии слова ОПРЕДЕЛЕННЫЕ, ИЗВЕСТНЫЕ и СЧИТАННЫЕ: они, как давно замечено, прилагаются к тому, что *недостаточно* определено, *недостаточно* известно и скорее всего не посчитано – т.е. не по прямому назначению, а каким-то особым способом, в развитии которого очень важен механизм прагматического вывода. Высказывания *Определенные Х-ы Р*, *Известные Х-ы Р*, *Считанные Х-ы Р* все означают, что Говорящий мог бы четко назвать Х-ы, которые Р; раз он этого не делает, значит, *важна сама такая возможность, безусловно к ее осуществлению*. Это, в свою очередь, значит, что *Х-ов сравнительно мало*.

Аналогичным образом, в (7), (50) и (51) для Говорящего важен не характер отдельных М, а то, что этот характер ему известен: Говорящий мыслит себе и, следовательно, мог бы назвать "ситуативное окружение" каждого Р. В то же время, говоря о неограниченно повторяющихся событиях, естественнее *не мыслить* разного рода детали и подробности. Отсюда та идея обозримости всех Р, сравнительной немногочисленности отдельных случаев, которая несомненно есть в (7), (50) и (51) и которая делает крайне нежелательным сочетание СВ в подобных конструкциях с наречием ЧАСТО; ср.:

(7)²⁷ Иван часто выпьет.

(50)²⁷ Иван часто поможет.

(Наречие ЧАСТЕНЬКО здесь более уместно, но это как раз потому, что оно уводит идею высокой частоты на второй план, на первом же оказывается само *наличие* данной ситуации. В этом смысле ЧАСТЕНЬКО скорее всего похоже на слова типа ИЗРЕДКА, НЕМНОГО и др. См. [Зельдович 1998а, б; 1999а].)

7.2.3. Несколько иная ситуация возникает в контексте будущего времени (52–54), либо если прошедшие события описываются как будущие по отношению к некоторой точке отсчета в прошлом (в (55) – *относительное* будущее):

(52) Я иногда вам помогу.

(53) Он еще не раз сюда придет.

(54) Душою мы, конечно, еще не раз вернемся к нему... (Л. Соловьев).

(55) Я потом еще не раз пожалел о своем поступке.

В (7), (50) и (51) мыслить ситуативное окружение (Р') для каждой ситуации Р достаточно необычно из-за того, что они берутся как масса, и отсюда эффект "обозримости". В (52–55) – особенно в (52) – подобное не исключено, однако возможно и другое.

Дело в том, что те высказывания о повторяющихся событиях, которые относятся к плану настоящего – как (7), (50) и (51), – по сути говорят *о прошлом*²⁷, только экстраполированным и на будущее. Другими словами, за фразой (7), например, стоит лишь то, что *в прошлом* Иван выпивал и нет оснований ждать от него перемены привычек в дальнейшем. Таким образом, будучи сообщениями о прошлом, (7), (50) и (51) говорят о том, что во всех подробностях доступно знанию, и с этой точки зрения осведомленность Говорящего о характере "сопроводительных" ситуаций Р' вполне закономерна. Если подробности каждого отдельного события в (7), (50) и (51) знать

²⁷ Разумеется, подобные сообщения могут и прямо относиться к прошлому; ср. *Бывало, что Иван выпьет*.

и затруднительно, то связано это лишь с "оптовым" способом представления: *посторонний* виду контекст (*иногда, редко, люблю*) здесь таков, что, вообще говоря, не предрасполагает интересоваться деталями.

Что же касается *будущего*, то оно в *принципе неизвестно*, и знание или (в норме сколько-нибудь *обоснованное*) мышление о всякой его подробности является своего рода гносеологическим прорывом. Поэтому высказывание о будущем тем надежнее, чем оно слабее. Учитывая, во-первых, это, во-вторых, что сообщения типа (52–55), как и любое высказывание с глаголом СВ, делаются прежде всего ради информации о Р, а информация о ситуациях Р' находится на втором плане, а в-третьих, что для сообщения о *самом* Р здесь идеально подходит *несовершенный* вид (ибо в (52–55) мы имеем дело с наиболее каноническим для НСВ контекстом многократности), – учитывая все это, можно объяснить, почему здесь естественнее *не мыслить* "сопроводительной" ситуации Р' и почему в (52–55) возникает оттенок предсказательности и загляда в будущее, о котором Говорящий мыслит с некоторыми не обязательными подробностями.

З а м е ч а н и е. Для наших рассуждений по поводу примеров (7) и (50–55) было важно, что глагол СВ предпочитается *парному* глаголу НСВ. Однако и глаголы *perfectiva tantum* ведут себя примерно так же, как парные глаголы. Например, фраза *Иван иногда поспит* несет оттенок невысокой частоты, а *Иван здесь еще не раз посидит* – "предсказательности". Видимо, здесь вступает в игру давно замеченная закономерность [Мелиг 1995: 144; Падучева 1998: 37], что при отсутствии парного глагола НСВ лакуна заполняется или *может* заполняться ближайшим по смыслу непарным глаголом: иначе говоря, пары ПОСПАТЬ – СПАТЬ, ПОСИДЕТЬ – СИДЕТЬ могут *использоваться* как видовые. Существенно, что СВ здесь семантически вторичен по отношению к НСВ и предпочитается перед НСВ, как кажется, только ради помещения данной ситуации в какую-то ситуативную среду.

8.0. Подведем итоги и скажем о некоторых перспективах исследования.

Предложенная выше интерпретация совершенного вида несомненно требует проверки и разработки, но и сейчас мы видим три ее важных преимущества.

8.1. Первое состоит в том, что она обещает достаточное естественное объяснение трудных случаев функционирования СВ. Рассмотрим только один, но как бы не самый загадочный из них – употребление, точнее, крайне редкое и "окрашенное" употребление совершенного вида в отрицательном императиве; ср.:

(56) а. Не простудись;

б. Не проговоришься;

в. Не походи на это собрание – и не надо будет выступать по щекотливому вопросу.

Нельзя считать – хотя это распространенное мнение, – будто отрицательный императив СВ всегда несет значение "предостережения": с одной стороны, оно слишком уж специфично, чтобы грамматикализироваться; с другой стороны, есть явные контрпримеры типа (56в) [Boguslawski 1985].

Вспомним, что, согласно толкованию (20), единично *то, что можно сказать или о чем можно сказать* с помощью "Р" или "Р + А" ("Р" вместе с произвольным модификатором; см. 4.3). Во всех приведенных ранее примерах – кроме (3) и (14–16) – это значило, что единично *само* Р (вместе с актантами), – ибо везде примеры допускали наиболее простую и предпочтительную трактовку, согласно которой что-то говорится или о чем-то говорится с помощью Р *взятого само по себе*. В случае с фразами (56) это не так. Как бы ни толковалось значение императива (см. [Boguslawski 2000] с дальнейшей литературой), в (56) всюду есть компонент наподобие 'Говорящий хочет не-Р': 'Говорящий хочет, чтобы Адресат не простудился / не проговорился / не пошел на собрание' (дело принципиально не меняется, даже если вместо *хочет* нужно поставить что-то иное, более тонко устроенное).

Очевидно, то, что Говорящий чего-то хочет и хочет, чтобы это исполнил Адресат. суть части *темы (пресуппозиции)*, а Р принадлежит к *реме*. Но можно ли сказать, что с помощью самого по себе Р здесь *что-то говорится*? Разумеется, нет: говорится здесь именно 'не-Р': именно 'не-Р' сообщает о желаниях Говорящего относительно действий Адресата²⁸. Раз так, то ситуации 'Адресат *не простудился / не проговорился / не пошел на собрание*' и должны быть единичны в некотором множестве М, которое мыслит в момент речи и которым, следовательно, интересуется Говорящий. Проще говоря, в роли А здесь (как выше в примере (17)) выступает *отрицание* – и эти *отрицательные* ситуации должны быть каким-то образом *выделены* на фоне других ситуаций.

Какой может быть для этого выделения мотив? Будь предметом желания нечто *позитивное*, мотив несомненен; тут же его надо искать специально, и состоять он может либо в том, что на всех, кроме одного, релевантных для Говорящего интервалах *имеет место Р* (т.е. случай, когда адресат не простудится / не проговорится / не пойдет на собрание, резко выделен на фоне многократных или постоянных простуд, проговоров, походов на собрания), либо тем, что какой-то в первую очередь интересующий Говорящего интервал выделен посторонним образом: на нем было или будет что-то заставляющее подумать о Р, т.е., иными словами, какие-то *предпосылки Р* (в самом широком смысле слова). Первый вариант выглядит естественным только для походов на собрание, и именно соответствующее предложение (56в) не несет оттенка "предостережения", а в (56а) и в (56б) сталкиваются смыслы 'Говорящий этого не хочет' и 'Говорящий видит к этому предпосылки', которые вместе "предостережение" – или нечто близкое к нему – и формируют.

З а м е ч а н и е. Последняя мысль перекликается с идеями работы [Boguslawski 1985]. Где "предостережение" объясняется тоже столкновением в принципе независимых элементов смысла, но несколько по-иному: для А. Богуславского важно, что глагол СВ в типичном случае обозначает (1) процесс или деятельность и (2) достижение результата. Отрицание СВ естественнее понять как отрицание компонента (2), но не компонента (1). Отсюда вытекает, что в отрицательном императиве наличие процесса или деятельности *предполагается*, т.е. предполагается наличие все тех же *предпосылок*. Это объяснение (ныне автор от него отказался; см. [Boguslawski 2000]) трудно прилагать ко многим конкретным случаям, особенно к (56б) и (56в), где процессно-деятельностная фаза может в момент речи и не быть начата, а также всюду, где такая фаза плохо отделима от результата, – у так называемых глаголов непосредственного эффекта типа СКАЗАТЬ (глагол ПРОГОВОРИТЬСЯ из (56б) – того же типа). *Говорить что-то, но не сказать*, как известно, нельзя, однако в отрицательном императиве СКАЗАТЬ (как и ПРОГОВОРИТЬСЯ) подчиняется общим закономерностям; ср.: *Не скажи ему ненароком, куда мы едем*.

8.2. Второе преимущество описанной модели СВ можно видеть в том, что она вскрывает единство так называемых частных значений СВ (в первую очередь – наиболее далеких друг от друга конкретно-фактического и наглядно-примерного): все они порождаются одним и тем же инвариантом.

8.3. Наконец, третье преимущество – в том, что парный глагол несовершенного вида оказывается своего рода зеркальным отражением вида совершенного: употребляя НСВ, Говорящий мыслит себе *много* интервалов, на которых реализуется данная ситуация. Мыслить много интервалов можно чаще всего (хотя и не всегда: мы даем только приближительную схему) по следующим причинам. Во-первых, потому,

²⁸ Именно здесь и коренится контраст между СВ в отрицательном императиве и СВ в обычном, повествовательном отрицательном предложении типа *Я не простудился: Я не пошел на собрание*. Последние более чем естественно трактовать как сообщения о пропозициях *Я простудился: Я пошел на собрание*, т.е. здесь говорится о Р, взятом само по себе; ср. [Boguslawski 1977].

что ситуация *реально многократно*, так возникает итеративное значение НСВ Во-вторых, потому что в ситуацию *заглядывают изнутри*" выбирается некая временная точка отсчета (точнее – 'интервал отсчета') и сообщается, что ситуация имеет место на этом интервале и на других прилегающих к нему интервалах, отсюда – актуально-длительное значение НСВ В-третьих, потому что ситуация *параллельна* какой-то другой ситуации Параллельность, синхронность ситуаций состоит в том, что *во всякий момент*, когда имеет место одна, имеет место и другая (обоснование – в [Carlson 1981]), здесь возникает дуратив разного типа, например, *Во время телепередачи я писал письмо* Наконец, иногда Говорящий мыслит, вернее вынужден мыслить, ситуацию как приуроченную ко многим интервалам по совсем особой причине он не может употребить совершенный вид потому, что его не устраивает совершенная импликатура, у него *нет* (неважно, почему) интереса к ситуации наличной в момент речи Здесь возникает общефактическое значение НСВ, причем то, что Говорящий мыслит *много* интервалов, заполненных данной ситуацией, часто оказывается не предметом сообщения, а неизбежной платой за возможность отказать от перфекта Заведомо неповторимое событие таким несовершенным видом описываться не может Так, заведомо неповторимо *Иван умер*, и плохо сказать *Иван умирал*, если предполагать здесь *результативную* интерпретацию, *нерезультативная* же приемлема как раз потому, что умирание как не дошедший до результата процесс повторимо Аналогичным образом, только с рядом не делаемых здесь оговорок объясняется контраст в давно обсуждаемых аспектологами примерах "*Войну и мир* писал Толстой vs *Зимний дворец строил Растрелли* постройка дворца мыслится нами как нечто в гораздо большей степени воспроизводимое, нежели создается художественного текста, именно по этой причине можно сказать, что какой то дворец строил сначала один архитектор, а затем (достраивал) – другой, сказать же, что например, "Египетские ночи" писал сперва Пушкин, а затем Брюсов более чем странно

Таким образом, трактуя несовершенный вид в том же духе, что и совершенный, мы можем, не умножая сущностей и не постулируя отдельных частновидовых значений, предсказать основные типы его употребления Впрочем, детальное обсуждение этого вопроса – тема для другой работы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1988 – Глаголы моментального действия и перформативы в русском языке // Русистика сегодня Язык система и ее функционирование М, 1988
- Апресян Ю.Д. 1989 – Тавтологические и противоречивые аномалии // Логический анализ языка Проблемы интенциональных и прагматических контекстов М, 1989
- Барентсен А. 1995 – Трехступенчатая модель инварианта совершенного вида в русском языке // Семантика и структура славянского вида I Краков, 1995
- Бондарко А.В. Буланин Л.Л. 1967 – Русский глагол Л. 1967
- Булыгина Т.В. Шмелев А.Д. 1997 – Языковая концептуализация мира (На материале русской грамматики) М, 1997
- Гловинская М.Я. 1982 – Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола М, 1982
- Гловинская М.Я. 1989 – Семантика, прагматика и стилистика видо-временных форм // Грамматические исследования М, 1989
- Зельдович Г.М. 1994 – За референциальными свойствами на понятии период от време // Проглас Тырново 1994 № 3
- Зельдович Г.М. 1995 – Семантика времени К уточнению метаязыка // Филологические науки 1995 № 2
- Зельдович Г.М. 1998а – О типах семантической информации слабые смыслы // ИАН СЛЯ 1998 № 2

- Зельдович Г М* 19986 – Русские временные квантификаторы // Wiener Slawistischer Almanach Sonderband 46, 1998
- Зельдович Г М* 1999a – О типологии квантификаторов // ИАН СЛЯ 1999 № 5–6
- Зельдович Г М* 1999b – Семантика совершенного вида К вопросу об инварианте // Wiener Slawistischer Almanach 43 1999
- Кошелев А Д* 1996 – Референциальный подход к анализу языковых значений // Московский лингвистический альманах Вып 1 Спорное в лингвистике М, 1996
- Крейдлин Г Е Падучева Е В* 1974 – Взаимодействие ассоциативных связей и актуального членения в предложениях с союзом А // Научно-техническая информация Сер 2 1974 № 10
- Маслов Ю С* 1984 – Очерки по аспектологии Л, 1984
- Мелиз Х Р* 1995 – Гомогенность и гетерогенность в пространстве и времени // Семантика и структура славянского вида, I Kraków, 1995
- Падучева Е В* 1996 – Семантические исследования Семантика времени и вида в русском языке Семантика нарратива М, 1996
- Падучева Е В* 1998 – Опыт систематизации понятий и терминов русской аспектологии // Russian Linguistics V 22 1998
- РГ 1982 – Русская грамматика Т 1 М, 1982
- Тимберлейк А* 1985 – Инвариантность и синтаксические свойства вида в русском языке // Новое в зарубежной лингвистике Вып XV М, 1985
- Широкова А Г* 1971 – Некоторые замечания о функциональных границах вида в русском и чешском языках // Исследования по славянскому языкознанию М, 1971
- Boguslawski A* 1977 – Problems of the thematic-rhematic structure of sentences Warszawa, 1977
- Boguslawski A* 1985 – The problem of the negated imperative in perfective verbs revisited // Russian Linguistics 9 1985
- Boguslawski A* 1994 – Duality and knowledge The root and the fruit Dusseldorf, 1994
- Boguslawski A* 2000 – A note on the Slavonic aspects in imperative utterances (In print)
- Carlson L* 1981 – Aspect and quantification // Tense and aspect New York, 1981
- Comrie B* 1976 – Aspect An introduction to the study of verbal aspect and related problems Cambridge 1976
- Chaput P R* 1985 – Aspect in denials // M Flier, A Timberlake (Eds) The scope of Slavic aspect Columbus, 1985
- Chaput P R* 1990 – Temporal and semantic factors affecting Russian aspect choice in questions // N Thelin (Ed) Verbal aspect in discourse Amsterdam, Philadelphia 1990
- Fiedler G E* 1985 – Implicature and the aspect of the infinitive in Russian // M S Flier, R D Brecht (Eds) Issues in Russian morphosyntax Columbus (Ohio), 1985
- Galton H* 1976 – The main functions of the Slavic verbal aspect Skopje, 1976
- Galton H* 1980 – Nowa teoria o znaczeniu aspektu werbalnego slowianskiego (na materiale polskim) // Polonica 1980 № 6
- Gasparov B* 1990 – Notes on the 'metaphysics' of Russian aspect // N Thelin (Ed) Verbal aspect in discourse Amsterdam Philadelphia, 1990
- Givón T* 1995 – Functionalism and Grammar Amsterdam, Philadelphia, 1995
- Johnson M* 1981 – A unified temporal theory of tense and aspect // Tense and aspect New York, 1981
- Michaels L* 1994 – The ambiguity of the English present perfect // Journal of linguistics V 30 1994
- Reimer M* 1998 – Quantification and context // Linguistics and philosophy V 21 1998
- Stunova A* 1991 – In defence of language-specific invariant meanings of aspect in Russian and Czech // Studies in West Slavic and Baltic linguistics Amsterdam, 1991
- Sperber D Wilson D* 1986 – Relevance communication and cognition London, 1986
- Timberlake A* 1985 – The temporal schemata of Russian predicates // M S Flier, R D Brecht (Eds) Issues in Russian morphosyntax Columbus (Ohio), 1985
- Wierzbicka A* 1967 – On the semantics of the verbal aspect in Polish // To honor Roman Jakobson The Hague – Paris, 1967
- Wilks Y Cunningham C* 1986 – A purported theory of relevance // J L Mey (Ed) Language and discourse Test and protest Amsterdam, Philadelphia, 1986
- Yus Ramos F* 1998 – A decade of relevance theory // Journal of pragmatics V 30 1998

© 2002 г. А.А. ЗАЛЕВСКАЯ

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА

Различные аспекты теории текста и его понимания привлекают внимание ученых, ведущих исследования в гуманитарных науках. Многие авторы предпринимают теоретические изыскания, в которых глубокому и разностороннему анализу подвергаются языковые особенности текста и на этой основе моделируется логико-рационалистическая "переработка" текста реципиентом. Исследования такого рода отображают текст и его понимание с позиций теоретика-исследователя и несомненно вносят весомый вклад в общенаучные представления об изучаемом объекте. Однако имеется и другая позиция – позиция "наивного" читателя, не владеющего лингвистической или литературоведческой теорией, но все равно понимающего текст и способного различать тексты по их жанровой принадлежности, стандартности/нестандартности и т.п. Так, М.К. Мамардашвили отмечает, что при встрече с текстами разной природы и характера (житейскими, художественными, научными, философскими, религиозными и т.д.) мы безошибочно и не сомневаясь назовем некоторые из них философскими, "не зная, почему, на каком основании и каким образом. Потому что они резонируют в нас по уже проложенным колеям воображения и мысли, укладываясь во вполне определенное со-присутствие (это, а не иное) соответствующих слов, терминов, сюжетов, тем и т.п." [Мамардашвили 2000: 32].

В задачи предлагаемой публикации входит обсуждение проблем теории текста и его понимания именно в этой позиции – позиции читателя, не раздумывающего над тем, какого рода пропозиции он строит, какие слоты каких-то фреймов заполняет, на какие импликации опирается, каков уровень духовности художественного текста и т.п. Такой читатель может вообще не знать подобных терминов (т.е. не догадываться, что он "говорит прозой"), тем не менее он успешно опознает текст как таковой, понимает и оценивает его благодаря определенным характеристикам текста и процессам, которые являются общими (основополагающими) и для специалиста-теоретика, и для любого другого читателя.

Необходимость обсуждения некоторых базовых характеристик текста вызвана тем, что в последнее время появился ряд работ, авторы которых так или иначе теоретически обосновывают идею "внутренней жизни" текста, как бы не зависящей или лишь частично зависящей от продуцирующего или воспринимающего текст человека.

Например, идею существования текста как самодостаточной сущности, характеризующейся синергетикой текстовых единиц в текстовом пространстве, отстаивает Н.Л. Мышкина [Мышкина 1998; 1999]. Она трактует в качестве текста любое двустороннее языковое образование (от одной графемы или одного слова до целостного множества предложений-высказываний), имеющее смысл и обладающее свойствами спонтанности, системности и синергии, функционирующее как саморазвивающаяся и самоорганизующаяся система. По мнению Н.Л. Мышкиной, самодвижение текста как энергетического бытия – его внутренняя жизнь – ведет через мерцательную игру смыслов к точечной энергопульсации его сущности, что в совокупности осознается как смысл текста. В этой концепции текст предстает как

спонтанное самодвижение энергии, функционирующее по своим специфическим законам и в соответствии со своими целями.

Иные акценты расставлены Г.Г. Москальчук [Москальчук 1998; 1999], отмечающей, что в лингвистических работах форма текста обычно исследуется как константное образование, а факт наличия у формы собственной специфики структурного и содержательного порядка обычно не обсуждается. Сама она трактует форму текста как универсалию, существующую в виде метро-ритмической тенденции текстовой организации, которая до продуцирования текста сливается с первоначально смутным замыслом и предощущением целого, а затем оказывается вписанной в готовый текст: ритмическая матрица последнего выполняет функцию настройки читателя, гармонизирует ритмы читателя и автора. С этой точки зрения структура текста является неосознаваемой психосемиотической реальностью, при этом можно обнаружить статистические параметры формы как бессознательно предпочитаемые способы структурной самоорганизации текста, а возможности самого текста детерминированы небольшим спектром определенных психофизиологических и физических возможностей человека. Г.Г. Москальчук трактует текст как открытую неравновесную систему, упорядоченность которой возникает и поддерживается благодаря постоянному притоку энергии извне, от человека; при этом уточняется, что форма текста является результатом взаимодействия смыслопорождающей активности человека и репрезентативной функции языка: форма возникает на пересечении системы и среды как результат интегративного процесса.

Итак, в исследованиях Н.Л. Мышкиной и Г.Г. Москальчук фигурируют понятия синергетической системы, структурной самоорганизации текста, динамической системы, интегративных процессов и т.д. Однако термин "синергетика", который в последние годы становится все более популярным в гуманитарных науках, трактуют неоднозначно. Наряду с использованием его в значении 'слияние энергий' [Мышкина 1998; 1999], о синергетике говорят и как о теории самоорганизации [Базылев 1999: 11; Герман 2000], что не очень согласуется с этимологией данного слова (от греч. *συνεργεία* 'совместное действие' [Крысин 1998: 642]); нередко в одной и той же работе недифференцированно фигурируют оба названных значения (см., например [Герман, Пищальникова 1999]). Думается, что предпочтительно использование термина "синергетика" в согласующемся с его внутренней формой значения 'слияние энергий' (что не исключает сочетания такого процесса с процессом самоорганизации системы), при этом важно более четко определять источники энергопотоков.

Можно предположить, что в случаях, когда речь идет о "самодвижении энергожизни текста" (Н.Л. Мышкина) или о том, что "вся система форм текста стремится к симметричному состоянию" (Г.Г. Москальчук), используются метафоры, которые не замечаются вследствие феномена *п р е в р а щ е н н о й ф о р м ы*, заставляющего нас наделять самостоятельной бытийностью то, что на самом деле не является таковым, приписывать видимой форме действительных отношений роль самостоятельного механизма в управлении реальными процессами на поверхности системы [Мамардашвили 1990]. Специфику феномена превращенной формы в связи с проблемой речевого общения ("тела" языкового знака, речевой фиксации продукта процесса мышления в тексте и т.д.) подробно обсуждает Е.Ф. Тарасов (см., например [Тарасов 1987]).

В качестве исходного момента для дальнейших рассуждений может быть взята трактовка текста как сложного языкового знака и вытекающая отсюда необходимость обязательного учета (но не простого упоминания!) особенностей процессов означивания. С этой точки зрения, убедительно обоснованной в классической работе У. Эко (русский перевод: [Эко 1998]), в миг достижения адресата сообщение "пусто", но эта пустота на самом деле представляет собой готовность к работе некоего означивающего аппарата, который должен высветить смысл такого сообщения. Иначе говоря, текст создается и воспринимается человеком, без которого существует лишь "тело текста", а оно вне взаимодействия с человеком

остается звуковым шумом или цепочкой каких-то фигур, не становящихся знаками до тех пор, пока не появится некто, способный приписать им значение – означить. Фактически об этом же идет речь в работах Н.А. Рубакина, подчеркивающего, что мертвые физические раздражители лишь обеспечивают возможность вызывать те или иные психические переживания в каком-нибудь человеке, умеющем читать письма такого-то языка. Более того, "если вы не знаете ассирийского языка, то ассирийские письма покажутся вам вовсе не письмами, а *рисунками*, а глиняная пластинка с такими письмами – кирпичом" [Рубакин 2000: 10]. На то, что нет текста как такового без воспринимающего его человека, указывает ряд авторов (см., например, [Пятигорский 1996]). Чтобы текст "заговорил", нужна **работа понимания**, выполняемая человеком (о работе понимания см. подробно [Зинченко 1998]).

Итак, тело текста, взятое само по себе, без означающего его человека не содержит какой-либо внутренней энергии, не может самоорганизовываться структурно. Тем не менее было бы безответственным не признавать факт существования определенных закономерностей, которые во многих работах детально описываются в качестве характеристик текста как смыслового целого, или не соглашаться со справедливо отмечаемой многими авторами способностью текста воздействовать на концептуальную систему человека, в том числе в терапевтических целях. Откуда же берется то, что благодаря эффекту превращенной формы воспринимается как внутренняя энергия текста, обуславливающая его "самоорганизацию" и воздействие на реципиента?

Поиск ответа на поставленный таким образом вопрос требует признания того, что текст **"обитает"** в культуре. Именно коллективное знание задает те ориентиры, в соответствии с которыми продуцент текста придает последнему определенную структуру, отвечающую принятым культурой требованиям к языковому оформлению содержания высказывания (текста в широком смысле). Диктат таких требований создает иллюзию "саморазвития" текста, в то время как реальные действия по поиску и организации языковых средств совершает продуцирующий текст человек; это его энергия "овеществляется" в теле текста как продукте речемыслительной деятельности. В то же время доступ реципиента текста к тому же коллективному знанию в сочетании с его энергией обеспечивает возможность означивания, без которого тело текста так и останется "бессловесным", лишенным энергии мертвым телом. Итак, "воздействие" текста на концептуальную систему человека проявляется в **процессе означивания текста как сложного языкового знака**, когда индивид обращается к своему вербальному и невербальному, перцептивному, когнитивному и аффективному опыту (личному, но включенному в социальные взаимодействия) при обязательном сочетании понимания с переживанием понимаемого. Это хорошо согласуется с высказываниями В. Гумбольдта относительно того, что язык возбуждает в людях определенную энергию, позволяя использовать слова как опору для достижения того, что выходит за их рамки [Гумбольдт 1985: 349]. Идея коммуникативного универсума как силового поля детально проработана в исследованиях И.Э. Ключанова [Ключанов 1998; 1999], где семиозис трактуется как процесс генерирования знаний, т.е. опосредования непосредственного опыта при помощи знаков: в этом процессе границы между объективным и субъективным постоянно создаются и изменяются.

Случаи неоднозначности, эллиптичности, использования тех или иных художественных приемов, "языковых трюков", и т.п. активизируют поисковую и эмоционально-оценочную деятельность человека и создают и л л ю з и ю повышенной энергетики текста за счет перехода на уровень актуального сознания реципиентом языковых форм и отношений между ними и/или между содержанием текста и индивидуальной картиной мира, принятой в социуме системой норм и оценок и т.д., что в других ситуациях не замечается по причине "прозрачности" понимаемого (см., например, экспериментальное исследование И.Ф. Бревдо, где моделируется процесс разрешения неоднозначности на материале шутки [Бревдо 1999]).

Такая постановка вопроса переводит обсуждение в новую плоскость, ведет нас к необходимости обращения к более общим проблемам взаимоотношений между организацией текста и системностью языковых средств как коллективным знанием, направляющим и детерминирующим "самоорганизацию" текста; между способами воплощения мысли в слово, языковыми средствами и закономерностями их использования в тексте, с одной стороны, и используемыми людьми стратегиями означивания и помогающими в этом ориентирами и опорами, с другой; между индивидом и культурой, к которой он принадлежит.

К числу проблем теории понимания текста относится специфика знаний, на которые опирается реципиент текста.

Так, критики концепций, признающих фундаментальную роль знаний в понимании текста, исходят из трактовки знаний как "выученных", к тому же нередко выученных без понимания. В таком случае знание предстает как застывшая структура, а упоминание фрейма, схемы и других форм знаний воспринимается как свидетельство примитивизации процессов понимания текста, сведения последних к механическому заполнению соответствующих привычных "рамок", позиций во фреймах и т.д.

Психолингвистический подход исходит из базовой роли многогранного предшествующего опыта индивида в понимании текста, но категорически отрицает правомерность приведенной выше трактовки знаний, как и рассмотрения специфики знания в исключительно понятийном (логическом или псевдологическом) аспекте. В противовес мертвому или выхолощенному знанию принимается представление о знаниях как **динамических функциональных образованиях** – продуктах переработки вербального и невербального опыта, сохраняющих свои исходные "корни" и формирующих **образ мира**, вне которого никакое понимание происходить не может. Такое живое знание (см. [Зинченко 1998]) через его обобщение в структуры инвариантного типа (независимо от того, как их называть – фреймами, схемами, сценариями и т.п.) обеспечивает понимание текста через **встречное конструирование ситуации** на основе знания о том, что, как, когда, зачем и почему, с какими целями, результатами и следствиями было, бывает, может или не может случиться в реальном или воображаемом мире. Это всегда "повторение без повторения", поскольку ситуация понимания текста читателем, как и ситуация его продуцирования, зависит от взаимодействия множества внешних и внутренних факторов. Следует, однако, сделать оговорку относительно того, что, хотя образ мира формируется прежде всего и преимущественно через ставшее достоянием личности живое знание, для каждого человека важны и в той или иной мере понимаемые выученные знания, но это отдельная проблема, в том числе философская и педагогическая (см., например, [Мамардашвили 2000]), а также обзор отечественных и зарубежных работ [Залевская 1996]).

Идея встречного конструирования, воплощенная в психолингвистических исследованиях в трактовку понимания текста как процесса построения его проекции (или образа содержания текста [Леонтьев 1997]), базируется на достижениях отечественной и мировой науки, в том числе – психологии (А.Г. Асмолов, Ф. Бартлетт, Н.И. Жинкин, П.И. Зинченко, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.Р. Лурия, А.А. Смирнов, С.Д. Смирнов и др.), физиологии активности (Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин), библиопсихологии (Н.А. Рубакин). Независимо от того, признает ли тот или иной теоретик – читатель данного текста идею формирования проекции текста у реципиента, при чтении этих строк у него немедленно и независимо от его желания и степени осознаваемости актуализируются множественные следы памяти, что в соответствии со степенью компетентности каждого отдельного читателя позволяет не только опознать названные фамилии, но и понять (или не понять), почему они перечислены, а также прогнозировать множество направлений дальнейшего развития излагаемых положений. При этом формируемые ожидания, большинству из которых скорее всего не суждено оправдаться, создают определенный фон, который для одних читателей делает

ненужными более подробные рассуждения на эту тему и вызывает удовлетворение от того, что все понятно, других побуждает вспомнить работы названных авторов. в то время как третья просто отмахивается от фамилий, которые они конечно же слышали, но считают относящимися к чуждым для них областям знаний, что формирует не очень приятное ожидание продолжения разговора об идеях Ф. Бартлетта, П.К. Анохина, А.Н. Леонтьева и др. В последнем случае на основе возникшего (скорее всего неосознаваемого) раздражения может сформироваться база для неприятия дальнейшего развития содержания читаемого текста, однако факт остается фактом: имеет место не только актуализация знания, включенного в более или менее широкий **"внутренний контекст"** предшествующего опыта и **переживание отношения** к этому знанию в связи с текущей ситуацией, но и **прогнозирование** возможных путей продолжения сообщения. Такая двунаправленная (в предшествующий опыт и в развитие смысла текста) работа понимания описывается спиралевидной моделью [Залевская 1988; 1999а; 1999б], выводящей далеко за рамки "внешнего" (вербального, ситуативного) контекста. Пути построения проекции читаемого текста и используемые при этом стратегии и опоры детально прослеживаются в экспериментальном исследовании Н.В. Рафиковой (Мохамед) [Рафикова 1999; Мохамед 2000].

Необходимо особо обратить внимание на то, что приведенный пример может рассматриваться в двух упомянутых выше позиций: с одной стороны, речь идет о понимании текста читателем как носителем русского языка, а с другой – как теоретиком, ведущим научные изыскания в области понимания текста. В любом случае в первую очередь должны исследоваться **фундаментальные процессы** понимания текста как такового независимо от того, кем и с какими дальнейшими целями он читается, а уже затем могут ставиться вопросы о том, какие внешние и внутренние факторы и обстоятельства оказывают влияние на ход и результаты таких процессов. К сожалению, теоретик, находящийся во второй позиции, нередко забывает, что он сам является прежде всего носителем языка, т.е. его понимание читаемого им текста подчиняется тем же самым фундаментальным закономерностям, которые реализуются у наивного читателя и формируют обязательную предварительную основу для дальнейшей интерпретации текста и особенностей его понимания с позиций лингвистики, литературоведения, герменевтики и т.д. Названные позиции недопустимо трактовать с точки зрения **"качества"** понимания текста и квалифицировать понимание текста наивным читателем как примитивное, недостаточное и т.п.: как то, так и другое понимание может быть более или менее глубоким в зависимости от многих факторов, в том числе – от степени владения **"языком"** поэзии, драмы, художественной прозы, той или иной науки. К тому же трудно представить себе, что даже искушенный в интерпретации высоко художественных текстов литературовед или лингвист всегда сам с собой обсуждает уровень духовности любого текста, читаемого **"для себя"**, хотя он не может не обращать внимания на те или иные средства выражения, художественные приемы и т.п., переживая определенное отношение к читаемому, в том числе к его форме. На самом деле речь идет о чтении с различающимися целями, поэтому принципиально важно четко разграничивать соответствующие двум названным выше позициям читателя два вида понимания текста: **понимание – осмысление, включающее спонтанную интерпретацию и переживание понимаемого**, и **понимание – целенаправленную интерпретацию с признанием того, что второй вид понимания невозможен без первого, базового.**

При таком подходе исследователю необходимо исходить из специфики и закономерностей рассматриваемых процессов. В этой связи важны, в частности, функции, выполняемые в тексте словом как средством доступа к единой информационной базе человека, его образу мира. На пути к пониманию текста слово выступает в идентифицирующей, синтезирующей, прогностической и других

функциях, совокупность которых обеспечивает "раскручивание спирали" в названных выше направлениях.

Следует особо подчеркнуть, что слово, идентифицированное читателем как таковое, в ряде отношений отличается от разносторонних лингвистических описаний слова как единицы лексико-семантической системы языка. Это показано, например, в таких теоретических и экспериментальных исследованиях, как [Залевская 1990; Медведева 1999; Мягкова 2000; Рогожникова 2000; Сазонова 2000; Тогоева 2000]. Представляется, что слово как достояние индивида удачно описывается моделью психосемиотического тетраэдра, разработанной патофизиологом Ф.Е. Василюком [Василюк 1993]. Развивая далее идеи А.Н. Леонтьева о трех "образующих" сознания – личностном смысле, значении и чувственной ткани, Ф.Е. Василюк трактует чувственную ткань как многомерную субстанцию – живую, дышащую, текучую плазму, которая движется в пространстве образов сознания. Это пространство задается силовыми полями его узлов, или полюсов, которые представляют внешний мир (предметное содержание), внутренний мир (личностный смысл), культуру (значение) и язык (слово). Вместе с чувственной тканью образ сознания имеет, тем самым, пять измерений, однако чувственная ткань не стоит в одном ряду с другими измерениями, а заполняет весь объем образа сознания, как бы уплотняясь вблизи каждого из полюсов, приобретая характерные для того или иного измерения черты. К обсуждению этого вопроса нам предстоит вернуться ниже, однако согласимся с И.Л. Медведевой [Медведева 1999], что более точно в таком случае вслед за В.П. Зинченко [Зинченко 1997] говорить о слиянии чувственной и биодинамической ткани, поскольку тем самым подчеркивается роль действия в формировании живого знания как достояния человека. Добавим, что на уникальную роль тактильно-кинестетической модальности в формировании образа указывает также Л.М. Веккер [Веккер 1998], успешно разрабатывающий единую теорию психических процессов.

Обратим особое внимание на предлагаемую Ф.Е. Василюком трактовку чувственной ткани как особой внутренней "составляющей" образа в качестве представителя человеческого тела в образе сознания. Будучи "восчувствованным изнутри", "мир тела оказывается тем пространством, в живых стихиях которого происходит интерференция и интегрирование внешнего предметного мира, мира языка, мира культуры и внутреннего мира человека" [Василюк 1993: 19]. Это чрезвычайно важный вывод, требующий, чтобы исследователи языка как достояния индивида возвратились к признанию обязательного (для живого человека) сочетания "души" и "тела", что было хорошо известно Гиппократу, но оказалось забытым во времена господства логико-рационалистических идей.

На ущербность "бестеловечного" теоретизирования (этот эпитет используется И.Э. Клюкановым [Клюканов 1999]) указывают представители разных наук. Так, в статье нейролога А. Дамасио [Damasio 1989] обсуждаются различные трактовки термина "концепт" и на основе собственных исследований высказывается мнение, что концепт для человека не может быть ни дефиницией, ни набором (или перечнем) необходимых и достаточных признаков, ни просто "картинкой" или специфичным примером принадлежности к некоторому классу, репрезентирующим весь этот класс объектов. Следует различать то, что лежит за словом, и его возможное вербальное описание как последующий этап. На самом деле любое вербальное описание того, что лежит за словом, представляет собой выведенное знание, обеспечиваемое соответствующими механизмами и построенное на базе потенциального набора активизируемых в памяти репрезентаций некоторых сущностей или событий. В книге [Damasio 1995] указывается, что базовые "дескрипции" не используют язык, хотя они могут быть переведены на язык; они чисто невербальны, основываются на репрезентативных средствах сенсорной и моторной систем с учетом пространства и времени. Подзаголовок монографии [Damasio 1999] – "Body and emotion in the making of consciousness" –

акцентирует внимание на генетически исходных и неизбежно базовых факторах – теле и эмоциях, взаимодействие которых всегда и во всем направляет функционирование сознания (следует добавить: и под сознания человека, даже того, кто всеми силами старается оперировать исключительно логикой "чистой мысли", не поддаваясь эмоциям при анализе "духовности" художественного текста).

Недостаточное внимание к телу и эмоциям со стороны современных ученых А. Дамазо объясняет тем, что в русле идей Платона, Декарта и Канта формальная логика сама по себе дает нам решение любой проблемы. Согласно соответствующей традиции, для получения наилучших результатов необходимо избавиться от эмоций: рациональная переработка не должна испытывать воздействия со стороны страстей. Особую роль в сложившейся к нашему времени ситуации А. Дамазо отводит Декарту, отделившему сознание (разум) от мозга и тела, что привело к современному варианту этой позиции, согласно которой разум и мозг связаны друг с другом, но лишь в том смысле, что разум трактуется как компьютерная программа, работающая на подобном машине механизме – мозге; если и признается наличие связи между мозгом и телом, то лишь в том смысле, что мозг не может выжить без жизненной поддержки со стороны тела [Damasio 1995: 247–248]. А. Дамазо настаивает на том, что глубокое понимание разума человека требует учета роли тела; необходим не только сдвиг от нефизического когитума к сфере биологического функционирования, но и акцентирование внимания на целостном организме, интегрирующем само тело и мозг и полностью взаимодействующем с физическим и социальным окружением [Там же: 252].

М. Дейнези и П. Перрон [Danesi, Perron 1999] с позиций семиотики настаивают на том, что семиозис как нейробиологическая способность человека реализуется на основе взаимодействия тела, мозга и культуры. В книгах специалиста в области языка и литературы Х. Рутрофа [Ruthrof 1998; 2000] разрабатываются идеи корпоральной ("телесной") семантики, максимально учитывающей роль тела в познании и означивании языка в противовес формальным семантическим теориям. В ходе развернутой критики разных подходов к семантике он указывает, что Г. Фреге известен как теоретик, разграничивший понятия *sense* и *reference*. Менее известно значительно более важное разграничение двух видов смысла, сделанное в самом начале работы [Frege 1970]: существует, с одной стороны, формальный смысл переменных и постоянных величин в геометрии, а с другой стороны, смысл выражений естественного языка. Х. Рутроф считает Г. Фреге ответственным за фактическую подмену одного из этих смыслов другим, что имело разрушительные последствия для развития науки о языке: формальный смысл переменных "а", "b", был без колебаний перенесен на анализ выражений *утренняя звезда* и *вечерняя звезда*. Второй шаг Г. Фреге имел не менее печальные последствия: он устранил ментальные образы из содержания языковых выражений, что хорошо согласуется с формальной трактовкой смысла, но это в конце концов привело к точке зрения на язык, слишком близкой к формальным идеям. В результате неправомерного устранения из языка иконических ингредиентов были утрачены перцептивные и квазиперцептивные характеристики, которые играют важнейшую роль в значении. Ныне "чистая мысль" (или "смысл" по Фреге) заменяет утраченное тело. Эти высказывания согласуются с тем, что редактор антологии работ, отображающих основные направления в философских исследованиях языка в XX веке, Р. Рорти [Rorty 1999] говорит о "смерти значений" в действиях Квайна, Витгенштейна, Дэвидсона и Фейербенда (речь идет об обнаружении значений через логические процедуры верификации и условия истинности).

Х. Рутроф обосновывает необходимость перехода на принципиально иные позиции в анализе языковых явлений и четко формулирует основные положения корпорального подхода, согласно которому языковое выражение остается пустым, пока оно не соотнесено с совокупным продуктом обеспечиваемой телом перцептивной перера-

ботки воспринимаемой действительности. Близким к этому является мнение Кристины Харди [Hardy 1998], полагающей, что при разработке семантической теории, как и теории общения, необходимо учитывать не только осознаваемые и неосознаваемые когнитивные процессы, интуицию и творчество, но и переплетение в мыслительных процессах чувствований, переживаний и абстрактных концептов, а также двустороннее взаимодействие между телом и "душой", свободу воли и способность принимать решения (делать выбор из возможных альтернатив). Описываемая ею семантическая самоорганизующаяся сеть увязывает все возможные типы элементов: не только языковые или пропозициональные, но и участвующие в любых психологических, физиологических и мозговых процессах. К. Харди подчеркивает важность того, что при таком подходе знание у человека никогда не может быть абсолютно абстрактным: оно увязано с множеством сенсорно-аффективных и моторных процессов.

Вполне естественно, что зарубежные авторы рассматривают только историю западной науки. Однако нам есть о чем вспомнить из отечественного опыта. Необходимо прежде всего обратиться к работам физиолога И.М. Сеченова, который более 100 лет тому назад предвосхитил то, что в наши дни говорят А. Дамазео, Х. Рутроф, К. Харди и другие. В опубликованной в 1878 г. статье "Элементы мысли" И.М. Сеченов подробно прослеживает путь от первых чувственных впечатлений, из которых формируются "чувственные конкреты" и "чувственные группы" (включающие не только звуковые, слуховые, вкусовые и прочие чувственные образы, но и слово), через постепенное отделение слова, становящегося знаком всей совокупности чувственных переживаний, к формированию "мысленных абстрактов" как продуктов длинной цепи превращений – настолько длинной, что "очень часто теряется всякая видимая связь между мыслью и ее чувственным первообразом" [Сеченов 1953: 225]. Идеи И.М. Сеченова подробно рассмотрены с современных позиций в книге [Залевская 1977]; там же была предложена концепция слова как средства доступа к единой информационной базе человека – его памяти, где хранятся совокупные продукты переработки перцептивного, когнитивного и аффективного опыта взаимодействия человека с окружающим его миром. Обратим внимание на то, что к перцептивной и когнитивной переработке по И.М. Сеченову (который, естественно, не пользовался этими терминами) с опорой на труды Л.С. Выготского в названной работе был добавлен учет аффективного опыта с акцентированием внимания на том, что человек всегда воспринимает и перерабатывает опыт при наличии определенного эмоционально-оценочного отношения к этому опыту; был учтен и фактор культуры через постановку задачи выявления универсальных и определяемых спецификой языка и культуры принципов организации внутреннего лексикона человека. В том же 1977 г. И.Н. Горелов защитил докторскую диссертацию по проблеме невербального базиса коммуникации; содержание этой диссертации отражено в его книгах [Горелов 1974: 1980]. На необходимость ухода от картезианской дихотомии души и тела указывает в своих работах В.П. Зинченко (см., например [Зинченко 1997]).

К сожалению, при наличии названных и других отечественных работ подобные идеи оставались в тени до тех пор, пока они не стали популярными в мировой науке и пришли к нам из других источников. Как бы то ни было, приведенные ссылки дают основания для следующих важных выводов, имеющих прямое отношение к проблематике понимания текста.

Во-первых, логико-рационалистическая традиция проявляется в исследованиях понимания текста через сведение работы понимания, например, к аргументативному анализу [Васильев 1999] или, в пределе, к рефлексии, которая "носит мыследетельностный, духовный характер. Она не имеет отношения к психическому, поскольку относится к чистому мышлению" [Галеева 1999: 21]. В последнем случае к тому же имеет место явное смешение двух принципиально разных позиций: теоретико-философской, действительно отделяющей "чистую мысль" от психического, и позиции

реципиента текста, осуществляющего рефлексию, которая невозможна без взаимодействия "души" и "тела", когнитивного, перцептивного и аффективного опыта. Не случайно М.К. Мамардашвили неоднократно указывает на то, что при чтении философских текстов необходимо делать над собой усилие, чтобы отучиться от предметности бытового языка, "тень" которого повинна в приписывании философам того, что они вовсе не имели в виду [Мамардашвили 2000]. Продолжая эту мысль, подчеркнем, что подобные усилия требуются и для того, чтобы не поддаваться соблазну применить избавленные от такой "тени" философские понятия в исследовании понимания художественных текстов, не являющихся объектом теоретико-философского анализа. Иначе говоря, понимание как таковое изначально представляет собой психический процесс, в котором язык выступает как одна из сторон единого целого. Разграничивать мышление, речь, память, внимание, восприятие, понимание, эмоции и другие психические процессы можно только в целях научного исследования – в реальных жизненных процессах (в норме) они функционируют в едином ансамбле. При этом важно помнить, что подобно отличию философского языка от языка бытового, имеют свою специфику и язык поэзии, язык античной трагедии и т.д. Не каждому дано постичь то, что передается с их помощью (в ряде случаев для этого нужна специальная "грамотность"), и тогда особую значимость для исследования приобретает выявление соответствующих трудностей, с которыми сталкивается наивный читатель.

Во-вторых, возвращаясь к психосемиотическому тетраэдру Ф.Е. Василюка, в принципе согласующемуся с идеями целостного подхода к живому человеку, необходимо подчеркнуть относительность, условность разграничения разных "полюсов" образа сознания, как и разделения чувственной и биодинамической ткани: они могут вычлениваться и подвергаться детальному анализу с позиций теоретика-исследователя, однако для понимающего текст индивида функционируют как взаимодействующие ипостаси одного и того же целого.

В-третьих, сказанное выше объясняет то, что в естественных ситуациях для носителя языка смысл слова слит с его значением и актуализируется в составе некоторого фрагмента образа мира при взаимодействии знания и переживания отношения к этому знанию. Такое положение вещей определяется спецификой языка как достояния индивида, т.е. **живого знания**, в котором "слиты значение и смысл, чувственная и биодинамическая ткань" [Зинченко 1997: 100]. Это дает основания поставить под сомнение правомерность рассуждений о том, что понимание текста неподготовленным читателем происходит на уровне значений слов и ограничивается содержанием текста без постижения его смысла: в норме, идентифицируя слово как таковое при сочетании внешнего (текстового) и внутреннего (перцептивного, когнитивного, аффективного, вербального и невербального) контекстов (см. подробнее [Залевская 1999а; 1999б]), индивид немедленно осмысливает текст, а не "извлекает содержание текста из значений слов" (сам термин "содержание текста" относится к традициям учебного литературоведения и не может быть прямо перенесен на процессы понимания текста как таковые). Такое спонтанное осмысление в норме не замечается именно в силу его изначальности, естественности, неизбежности в соответствии с принципом "презумпции осмысленности" того, что так или иначе включено в межсубъектные взаимодействия (в том числе через текст).

Представления о раздельном функционировании значения и смысла слов, проистекающие из научного лингвистического и литературоведческого анализа лексики или из целенаправленного манипулирования словом, соотносимы лишь с ситуациями затруднений в общении или при чтении текста, когда обнаруживаются смысловые или нормативно-языковые "нестыковки", заставляющие носителя языка задуматься, вывести на "табло сознания" различные варианты понимания и принять решение о выборе из возможных альтернатив. В то же время, как свидетельствуют результаты

экспериментальных исследований, опознание (идентификация) слова, даже предложенного без "внешнего" контекста, происходит через включение его во "внутренний" контекст, выводящий в сферу ситуативного смысла и эмоционально-оценочных переживаний. Так мы снова приходим к недопустимости смешения, отождествления позиций носителя языка и исследователя, поскольку в данном случае слияние значения и смысла слова констатируется именно для позиции носителя языка. Более того, носитель языка склонен не разграничивать слово и репрезентированный в индивидуальной картине мира объект (явление, качество и т.д.), на что неоднократно указывал Н.И. Жинкин: "происходит чудо – слова пропадают и вместо них возникает образ той действительности, которая отображается в содержании этих слов" [Жинкин 1982: 53]. Объяснение механизма идентификации обозначающего с обозначаемым предлагают М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорский: «...мы думаем о предметах, а не о знаках языка, на которых мы об этих предметах рассуждаем. Мы соединяем стол со стулом по правилам грамматики, а не слово "стул" со словом "стол". И мы можем задавать языковой механизм, действующий автоматически именно потому, что условие извлечения информации, лежащее в сознании, вытеснено действием самого этого механизма» [Мамардашвили, Пятигорский 1999: 93]. Иначе говоря, в фокусе внимания индивида находится смысл сообщения, в то время как средства выражения этого смысла (в норме) функционируют именно как средства, "инструменты", которые, будучи в достаточной мере освоенными, не замечаются нами до того момента, когда произойдет какой-то сбой или потребуются целенаправленный (специфический) выбор или анализ таких средств. Этот **объяснительный принцип** лежит в основе основ выхода человека на картину мира через язык как средство "смыслоформирования" и "смыслоформулирования" (термины И.А. Зимней).

В связи со сказанным выше представляется необходимым поставить вопрос о важности разграничения разных проявлений смысла, интерпретации, рефлексии. Несомненно, наивный читатель оказывается и в ситуациях, требующих понимания как целенаправленной интерпретации, в таком случае цель чтения меняется, и то, что ранее протекало как естественный процесс, включающий спонтанную интерпретацию, оказывается в фокусе актуального сознания, требует волевых усилий и не обязательно действительно представляет интерес для индивида как личности. Как бы то ни было, то, что до этого получало смысл на фоне личностных представлений и переживаний, так или иначе учитываемых на разных уровнях осознаваемости, должно быть целенаправленно переосмыслено с каких-то заданных (возможно, самому себе) целей и позиций. Получаемый при этом продукт будет уже вторичным смыслом, который является продуктом вторичной интерпретации и нередко "подгоняется" под поставленные задачи и требования. Трудно допустить, что без подобной подгонки можно ожидать извлечения из художественного произведения какого-то единственно "правильного" (пусть даже самого "высокого" и "духовного") смысла. Согласимся с А.М. Пятигорским, что текст создается в определенной субъективной ситуации, а воспринимается в зависимости от времени и места в бесчисленном множестве объективных ситуаций, к тому же "эта субъективная ситуация может не быть описана в тексте, мало того, она может оказаться не реконструируемой на основании текста" [Пятигорский 1996: 18]. К этому можно добавить, что исходный смысл, закладываемый в текст его автором, передается через значения используемых слов, которые дважды выступают в роли медиаторов в пятичленной связи "автор – его проекция текста – тело текста – проекция текста – читатель", при этом означивание и спонтанная интерпретация протекают на базе личностного опыта и связанных с ним переживаний разных людей. Не случайно, даже перечитывая свой собственный текст, мы нередко воспринимаем его по-новому и переделываем, поскольку уже перестал быть очевидным тот внутренний фон, который делал первоначальный текст достаточным для его однозначного понимания хотя бы самим автором.

Развивая далее высказывавшееся еще В. Гумбольдтом и А.А. Потебней предположение о наличии зон понимания и непонимания, обоснованное далее Н.А. Рубакиным, Ю.А. Сорокин [Сорокин 1998: 111] справедливо говорит о совокупности зон понимания и непонимания (квазипонимания, частичного понимания) текста. Это хорошо согласуется с излагаемыми здесь представлениями о спонтанном понимании текста как процессе, который не требует актуального сознания и интерпретации каждого элемента текста, хотя в случае необходимости любой такой элемент может оказаться в фокусе внимания для уточнения или пересмотра первоначальной гипотезы о его смысле в составе целого текста или некоторого его фрагмента. Последнее представляет собой одно из возможных проявлений рефлексии, в значительной мере отличающееся от рефлексии как средства целенаправленной интерпретации текста или процесса его понимания. По аналогии с приведенным выше разграничением различных проявлений смысла представляется возможным говорить о "первичной рефлексии" при спонтанном осмыслении читаемого и о "вторичной рефлексии" при рассуждениях по поводу текста.

Для дальнейшего рассмотрения затронутых выше и связанных с ними проблем необходим **интегративный подход**, способный не просто учитывать данные ряда наук, но разработать специфическую "систему координат", базирующуюся на единой теории психических процессов и тем самым трактующую язык в качестве одной из составляющих сложной динамической системы взаимодействия "тела" и "души", индивида и социума, вербального и невербального, осознаваемого и неосознаваемого и т.д. при четком разграничении позиций носителя языка и теоретика-исследователя (специфика интегративного подхода к процессам понимания текста обсуждается в книге [Залевская 2001]). Особую значимость в этой связи приобретает выявление механизмов **спонтанного семиозиса**, без чего едва ли можно успешно продвинуться на пути к разгадке секретов работы понимания. Такая задача ставится на очередном этапе нашего исследования, ход и результаты которого освещаются в монографии "Концепты и концептуальные поля" (рукопись).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Базылев В Н 1999 – Новая метафора языка Автореф дис докт. филол. наук. М., 1999.
 Бреидо И Ф 1999 – Механизмы разрешения неоднозначности в шутке Автореф. дис. .. канд филол наук Тверь, 1999
 Васильев Л Г 1999 – Лингвистические аспекты понимания текста Автореф дис . докт филол наук СПб , 1999
 Василюк Ф Е 1993 – Структура образа // Вопросы психологии 1993. № 5
 Веккер Л М 1998 – Психика и реальность: единая теория психических процессов М , 1998
 Галеева Н Л 1999 – Параметры типологии текстов в деятельностной теории перевода Автореф дис докт филол наук. Екатеринбург, 1999
 Герман И А 2000 – Лингвосинергетика Барнаул, 2000
 Герман И А , Пищальникова В А 1999 – Введение в синергетику Барнаул, 1999
 Горелов И Н 1974 – Проблема функционального базиса речи в онтогенезе Челябинск. 1974
 Горелов И Н 1980 – Невербальные компоненты коммуникации. М . 1980.
 Гумбольдт В 1985 – Об изучении языков или план систематической энциклопедии всех языков // В. Гумбольдт Язык и философия культуры. М., 1985
 Жинкин Н И 1982 – Речь как проводник информации. М., 1982.
 Залевская А.А 1977 – Проблемы организации внутреннего лексикона человека Калинин, 1977.
 Залевская А А 1988 – Понимание текста: психолингвистический подход Калинин, 1988
 Залевская А А 1990 – Слово в лексиконе человека: Психолингвистическое исследование Воронеж, 1990
 Залевская А А 1996 – Вопросы теории овладения вторым языком в психолингвистическом аспекте Тверь, 1996.
 Залевская А А 1999а – Введение в психолингвистику М , 1999

- Залевская А А* 1996 – Психолингвистический подход к анализу языковых явлений // ВЯ 1999 № 6.
- Залевская А А* 2001 – Текст и его понимание Тверь, 2001
- Зинченко В П* 1997 – Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. М., 1997
- Зинченко В П* 1998 – Психологическая педагогика Материалы к курсу лекций Ч 1 Самара, 1998.
- Клюканов И Э* 1998 – Динамика межкультурного общения Системно-семиотическое исследование. Тверь, 1998.
- Клюканов И Э* 1999 – Динамика межкультурного общения: к построению нового концептуального аппарата: Автореф дис. . докт. филол. наук. Саратов, 1999
- Крысин Л П* 1998 – Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998.
- Леонтьев А А.* 1997 – Основы психолингвистики. М., 1997.
- Мамардашвили М К* 1990 – Превращенные формы (О необходимости иррациональных выражений) // М К Мамардашвили Как я понимаю философию. М., 1990.
- Мамардашвили М К* 2000 – Введение в философию // М.К Мамардашвили Мой опыт нетипичен СПб, 2000.
- Мамардашвили М К, Пятигорский А М* 1999 – Символ и сознание Метафизические рассуждения о сознании, символическом и языке М., 1999
- Медведева И Л* 1999 – Психолингвистические проблемы функционирования лексики неродного языка: Автореф дис. . докт. филол. наук Уфа, 1999
- Москальчук Г Г* 1998 – Структурная организация и самоорганизация текста. Барнаул, 1998.
- Москальчук Г Г* 1999 – Структура текста как синергетический процесс. Автореф. дис. . докт. филол. наук. Барнаул, 1999.
- Мохамед Н В* 2000 – Психолингвистическое исследование процессов понимания текста Автореф. дис. докт. филол. наук. Уфа, 2000.
- Мышкина Н Л* 1998 – Внутренняя жизнь текста Пермь, 1998.
- Мышкина Н Л* 1999 – Лингводинамика текста: контрадиктно-синергетический подход Автореф дис. докт. филол. наук. Уфа, 1999
- Мягкова Е. Ю* 2000 – Эмоционально-чувственный компонент значения слова: вопросы теории Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 2000.
- Пятигорский А М* 1996 – Избранные труды. М., 1996.
- Рафикова Н В* 1999 – Психолингвистическое исследование процессов понимания текста. Тверь, 1999.
- Рогожников Т М* 2000 – Психолингвистические проблемы функционирования полисемантического слова: Автореф дис. ... докт. филол. наук. Уфа, 2000.
- Рубакин Н А* 2000 – Тайна успешной пропаганды (в дискуссионном порядке) // Форматы непонимания М., 2000.
- Сазонов Т. Ю* 2000 – Психолингвистическое исследование процессов идентификации слова Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 2000.
- Сеченов И М* 1953 – Элементы мысли // И.М. Сеченов Избранные произведения. М., 1953
- Сорокин Ю А* 1998 – Введение в этнопсихолингвистику. Ульяновск, 1998
- Тарасов Е Ф* 1987 – Тенденции развития психолингвистики. М., 1987.
- Тогова С И* 2000 – Психолингвистические проблемы неологии: Автореф. дис. докт. филол. наук. Воронеж, 2000.
- Эко У* 1998 – Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998.
- Damasio A* 1989 – Concepts in the brain // Mind and Language V 4 1989 № 1–2.
- Damasio A* 1995 – Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain New York, 1995
- Damasio A* 1999 – The feeling of what happens: Body and emotion in the making of consciousness New York etc., 1999
- Danesi M, Perion P* 1999 – Analyzing cultures. An introduction and handbook Bloomington, Indianapolis, 1999
- Frege G* 1970 – On sense and reference // Translations from the philosophical writings of Gottlob Frege. Oxford, 1970.
- Hardy C* 1998 – Networks of meaning: A bridge between mind and matter. Westport, Connecticut, London, 1998.
- Rorty R. (Ed)* 1999 – The linguistic turn. Essays in philosophical method. Chicago, 1999
- Ruth of H* 1998 – Semantics and the body: meaning from Frege to the postmodern. Melbourne, 1998.
- Ruth of H* 2000 – The body in language. London; New York, 2000

© 2002 г. П.В. ГРАЩЕНКОВ

**РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ПРИ РУССКИХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ:
ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОЙ "СУГУБО ВНУТРЕННЕЙ"
ПРОБЛЕМЫ**

0. ВВЕДЕНИЕ

0.1. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ АНАЛИЗЕ РУССКОЙ КГ

Данная статья посвящена такому явлению естественного языка как **Количественная Группа** (далее – КГ). Количественной Группой мы будем называть такие именные группы (ИГ), в состав которых входят числительные¹. Типология собственно числительных как грамматической категории не будет нашей первостепенной задачей и будет затрагиваться лишь постольку, поскольку она связана с типологией КГ. Таким образом, ни система счисления (пятеричная, десятеричная, двадцатеричная...), ни количество единиц категории числительного (возможен ли в языке счет только с 3-х или до 10¹⁵) не будут иметь для нас особого значения.

В чем же заключаются проблемы, связанные с КГ? Наиболее актуальные из них могут быть продемонстрированы на примере русского языка. Так, примененные зависимые в русском, как известно, регулярно согласуются с существительным в роде, числе, падеже:

(1)

а. *По двору прошел черный кот / прошла черная кошка / прошли черные коты.*

б. *Мальчик увидел черного кота / черную кошку / черных котов.*

Отличие грамматических свойств числительных (начиная с *двух*) от свойств таких модификаторов состоит в том, что в позиции подлежащего и прямого объекта они требуют от существительного определенной формы, а именно, (как принято считать) – генитива единственного числа для числительных от *двух* до *четырех* включительно и генитива множественного числа для числительных от *пяти* до *десяти* и от *одиннадцати* до *девятнадцати*, а также для названий десятков (составные числительные наследуют свойства своего последнего элемента, т.е. числительного от *одного* до *деяти*):

(2)

а. *По двору прошли два кота.*

б. *Мальчик увидел двух котов.*

с. *По двору прошли пять котов.*

д. *Мальчик увидел пять котов.*

¹ Термины "именная группа" и "количественная группа" ни в коей мере не являются в нашей работе "идеологическими": говоря о количественной или именной группе мы не делаем никаких утверждений о вершинности числительного или существительного в таких составляющих; данная проблема, собственно, и есть предмет исследования, а принятая нами терминология выбрана лишь из соображений удобства.

В то же время, в косвенных падежах существительные в КГ получают то падежное значение, которое получило бы в данном контексте одиночное имя (и стоят во множественном числе):

(3)

- a. Мальчик обрадовался двум котам.
- b. Мальчик был напуган двумя котами.
- c. Мальчик обрадовался пяти котам.
- d. Мальчик был напуган пятью котами.

Ниже мы перечислим основные вопросы, которые возникают при более или менее пристальном взгляде на материал русской КГ.

Пожалуй, первостепенным надо признать вопрос о том, который из двух элементов КГ, существительное или числительное, является Вершиной или Главным Словом подобных именных групп. Примеры (2) вынуждают нас считать вершиной числительное, что несколько неожиданно с точки зрения традиционного анализа именной группы (ср. с примерами (1)). В то же время, примеры группы (3) явным образом противоречат этому решению.

Неоднозначный материал русского языка был неоднократно обсужден как отечественными, так и зарубежными лингвистами, при этом каждый исследователь выдвигал свои доводы в пользу того или иного решения (более подробное описание основных точек зрения на эту проблему будет дано нами в пункте 1.2). И так, как видно, из приведенных нами примеров, оба варианта анализа имеют равные права на существование, т.е., решить данную проблему на материале одного языка (или даже нескольких близкородственных языков) не представляется возможным. Мы же попробуем предложить свое решение, опираясь на данные, предоставляемые разноструктурными языками.

Мы также постараемся ответить и на другие вопросы, которые неизбежно появляются у исследователя при рассмотрении КГ русского языка, а именно: каковы правила построения ИГ с количественным числительным в различных языках (т.е. мы попытаемся построить типологию КГ); насколько распространена ситуация, представленная в русском; наконец, – каковы причины возникновения столь нестандартного поведения приименного модификатора в русском языке.

Для того чтобы дать ответ на эти вопросы, нам будет необходимо разобрать некоторые чисто теоретические проблемы синтаксиса и несколько углубиться в общую теорию структуры ИГ.

0.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА

0.2.1. ПРАВИЛА ВЫДЕЛЕНИЯ ВЕРШИНЫ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ: ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ И НЕУНИВЕРСАЛЬНОСТИ

Несложно показать, что попытки однозначно и непротиворечиво выделить синтаксическую вершину далеко не всегда оказываются успешными. Хорошим примером может служить S(entence)-составляющая, т.е. составляющая, включающая подлежащее и группу глагола: общепризнанно, что VP выступает вершиной такой составляющей, однако, тот факт, что во многих языках подлежащее является контролером согласования, явным образом противоречит такому решению.

Если говорить об именной группе, то в качестве примера можно привести, скажем, такие ИГ, как английская *a devil of a fellow* – "бравый парень" или французская *diable d'enfant* – "ужасный ребенок". В них семантической вершиной (см. определение в следующем пункте) являются имена *fellow* и *enfant*, в то время как на уровне поверхностного синтаксиса они должны интерпретироваться как зависимые. Здесь, как и в случае с подлежащим и глагольной группой, налицо противоречия между различными правилами выделения вершины синтаксической составляющей.

На наш взгляд, нет необходимости ни подгонять все критерии с целью добиться однообразия (которого в действительности нет!) итоговых данных, ни отказываться от понятия вершины как такового. Более логично было бы выявлять свойства каждой составляющей по отношению к разным тестам в разных языках мира. Противоречивые случаи, таким образом, не будут ни отвергаться, ни подвергаться насильственному упрощению, напротив, особо интересными будут для нас примеры несоответствия между Семантической и Синтаксической Вершиной.

Итак, было бы методологически обоснованно отмечать результаты теста не для одного из элементов ИГ, а для обоих тестируемых на предмет определения направления синтаксических отношений элементов составляющей; результаты применения теста могли бы в таком случае выглядеть следующим образом (на примере двух тестов для составляющей $S = NP + VP$, т.е. простой предикации, терминология разъясняется ниже):

Таблица 1

Пример применения тестов, позволяющих определить синтаксическую вершину, к составляющей $S = NP + VP$ в русском языке

	NP	VP
Контролер согласования	+	-
Морфосинтаксический центр	-	+

Причем, в любой ячейке можно ожидать как "+" или "-", так и прочерк. Результат же применения критериев должен выглядеть не как категоричное утверждение, а как вывод о приоритетности рассмотрения одной составляющей в качестве синтаксической вершины по сравнению с признанием вершиной другой составляющей.

Прежде чем перейти собственно к правилам выделения синтаксической вершины и зависимого, сделаем еще одно важное замечание. В свое время серьезное влияние на развитие лингвистической теории оказала работа Дж. Николс [Nichols 1986], в которой осуществляется попытка построения типологии отношений "вершина – зависимое" в языках мира. Никоим образом не стремясь преуменьшить результаты исследования Николс, мы хотели бы заранее застраховаться от одной досадной ошибки, допущенной, на наш взгляд, автором. Ошибка эта состоит в следующем: рассматривая разные типы составляющих (ИГ, группу глагола, предложную группу...) Николс говорит о синтаксической вершине как о едином для всего множества составляющих явлении, вершина и зависимое выделяются в составляющих разных типов на одних и те же основаниях. Такой подход нам кажется несколько упрощенным. Действительно, в случае, скажем, глагольной или предложной группы нет сомнений в том, что можно без труда определить вершину каждой из этих составляющих, глагол в первом случае и предлог – во втором. Однако причины, по которым мы принимаем решение в каждом из этих случаев, совершенно разные, строить пропорцию глагол / прямое дополнение = предлог / именная группа у нас нет никаких оснований. Являясь вершинами в случае каждого отдельного типа составляющих, т.е. играя схожую синтаксическую роль в разных составляющих, единицы различных лексических категорий, тем не менее, являются разными вершинами.

Поэтому, пытаясь установить вершину в именной группе, мы не будем выходить за рамки явлений, связанных с ИГ, т.е. аргументы типа "данный тест (не) работает на предложной (глагольной...) группе, поэтому (не) будет распространяться и на именную группу" не являются для нас убедительными.

Скорее мы будем руководствоваться иной логикой: "если в языке X в составляющих некоторого типа вершиной являются единицы категории А (глагол, существительное, определенное местоимение...), то естественно ожидать, что и в другом языке в данном типе составляющих вершиной будут представители той же категории". Такой ход рассуждений продиктован соображениями об универсальном устройстве мышления человека.

0.2.2. ВЕРШИНА И ЗАВИСИМОЕ: КРИТЕРИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Понятие **Синтаксическая Вершина** (главное слово, синтаксический хозяин...) является принципиальным как для ученых, придерживающихся так называемой **Грамматики Зависимостей** (ГЗ), (развивавшейся в рамках европейской грамматической традиции и связанной в западной науке с именем Л. Тенбера), так и для исследователей, исповедующих принципы **Грамматики Составляющих** (ГС), провозглашенной американским лингвистом Н. Хомским в 50-х гг. XX-го века.

Отслеживая полемику сторонников разных синтаксических теорий, нельзя не заметить следующий парадоксальный факт: несмотря на все разнообразие мнений о том, что считать синтаксической вершиной, а что – зависимым, теоретические основания, на которых выделяется вершина, в значительной степени совпадают у лингвистов, работающих в различных научных парадигмах. Поэтому было бы разумно максимально "деидеологизировать" подход к проблеме синтаксической вершины и попытаться найти такие способы определения направления синтаксических отношений, которые были бы как можно ближе к языковому материалу и являлись бы равноприемлемыми для сторонников различных лингвистических теорий.

В восьмидесятых годах прошлого века благодаря полемике двух лингвистов, Арнольда Цвики и Ричарда Хадсона, проблема необходимости выделения в некоторой синтаксической составляющей вершины и зависимого стала одной из наиболее актуальных проблем современной синтаксической теории.

Если описать вкратце предварительные результаты (продолжающейся до сих пор) дискуссии по этому вопросу, то можно сказать, что основным выводом Цвики (см. [Zwicky 1985]), придерживающегося принципов ГС, стало утверждение о факультативности понятия синтаксической вершины. Хадсон [Hudson 1980a; 1980b], являющийся сторонником ГЗ, напротив, настаивает на первостепенности этого понятия и утверждает факультативность понятия составляющей. Мы не будем излишне углубляться в детали этой дискуссии, а воспользуемся лишь ее результатами, проявившимися в том, что синтаксическая теория получила целый ряд критериев, позволяющих устанавливать вершину и зависимое некоторой составляющей. Скажем лишь, что одним из результатов дискуссии было обсуждение данной проблематики в сборнике *Heads in grammatical theory* (Cambridge 1993) интересное для нас как благодаря ряду чисто теоретических работ [Cann 1993; Hudson 1993; Payne 1993; Radford 1993], так и по той причине, что в ней обсуждается интересующая нас проблема вершины в русской КГ (см. [Corbett 1993], а также [Payne 1993 : 135–138]). Итак, ниже мы перечислим критерии установления направления синтаксических отношений и прием согласования о правилах применения этих критериев.

1. **Синтаксическое Управление** (Form Government в англоязычной традиции): **X Управляет Y-м**, если выбор грамматической формы Y-а определяется лексическими характеристиками X-а.

Примеры на синтаксическое управление очевидны: это определенное морфосинтаксическое оформление различных актантов при глаголах, сочетаемость русских предлогов с определенными падежными формами имени и т.п. Лексема, предписывающая выбор формы и считается синтаксической вершиной.

2. **Согласование (Agreement, Concord):** X является **Контролером Согласования** для Y-а, если: а) грамматическая форма X-а определяет выбор грамматической формы Y-а или б) X обладает некоторым лексическим признаком, который предписывает Y-у выбор одной из имеющихся у него грамматических форм².

Случай а) соответствует для русского языка согласованию прилагательного с именем в числе и падеже, а случай б) – в роде. В обоих случаях мы можем говорить о согласовании, так как и в а) и в б) имеет место выбор формы одного элемента в зависимости от некоторой характеристики (грамматической или лексической) другого. Контролер согласования в некоторой составляющей проявляет в ней вершинные свойства.

3. **Морфосинтаксический Центр (Morphosyntactic Locus):** Синтаксическая единица, являющаяся морфосинтаксическим центром некоторой составляющей, выражает все грамматические характеристики данной составляющей.

Хорошим примером морфосинтаксического центра является существительное в татарском языке, которое несет всю грамматическую информацию об именной группе в целом:

(4)

тат.

bu	žir-lär	kiŋ	kyr-lar-ga,	
этот	земля-PL	широкий	поле- <u>PL-DAT</u>	
jäŋel	büŋ-nar-ga	bik	baj	bul-a.
зеленый	луг- <u>PL-DAT</u>	очень	богатый	быть-ST.IPEV

Эти земли были очень богаты широкими полями, зелеными лугами.

Здесь все грамматические характеристики ИГ *широкие поля* и *зеленые луга* выражаются существительными, получающими показатели множественного числа и дательного падежа. Очевидно, что морфосинтаксический центр является кандидатом на то, чтобы считаться вершиной ИГ³.

4. **Субкатегоризация (Subcategorization):** если единицы категории А подразделяют единицы категории В на два или несколько подмножеств, то говорят, что А **субкатегоризует** В.

Классический пример субкатегоризации – подразделение глаголов на переходные и непереходные, осуществляемое посредством категории существительного. Используется же этот критерий, как можно догадаться, следующим образом: субкатегоризирующие единицы являются в некоторой синтаксической составляющей зависимыми по отношению к субкатегоризируемым.

5. **Обязательность Составляющей:** X является **Обязательной Составляющей (Obligatory Constituency)** в группе X + Y, если именно X определяет, является ли обязательным Y, а не наоборот.

Для русского языка очевидно, что в ИГ обязательной составляющей, и, следовательно, вершиной, является имя, а не (например) определенное местоимение (ср: *Папа принес эти книги* = *Папа принес книги* ≠ *Папа принес эти*), в группе глагола – собственно глагол (ср: *Петя ест суп* = *Петя ест* ≠ *Петя суп*) и т.д.

² Строго говоря, наше определение управления и согласования следовало бы уточнить и предписать в таких случаях не выбор одной из нескольких словоформ, а выбор одного из значений для некоторого признака, задающего словоформы, скажем, значения [Dat] падежного признака, как определяющего управление и согласование в примерах *радоваться летней грозе*, *летним грозам*; признак же числа в данном случае выбирается отдельными согласовательными правилами, которые также должны описываться похожим образом.

³ Данный критерий неприменим к языкам типа баскского, где все грамматические свойства ИГ оказываются выражены ее крайне правым элементом (см. ниже); скажем также, что (там, где они применимы) согласовательный критерий и критерий морфосинтаксического центра оказываются в языках мира в отношении дополнительного распределения.

6. **Дистрибуция: X – Дистрибутивный Эквивалент (Distributional Equivalent)** в некоторой составляющей $X + Y$, если X способен, а Y – не способен употребляться в тех же синтаксических контекстах, что и вся составляющая $X + Y$.

Так, дистрибутивным эквивалентом ИГ будет имя (а не, например, прилагательное, ср.: *Я купил хорошую книгу; Я купил книгу; ?Я купил хорошую*). Дистрибутивный критерий, как справедливо замечает Цвики, работает не для любых составляющих, например, для предложной группы его выбрать достаточно проблематично (им может являться, скажем, единица категории *Adv*, как это имеет место в случае *move towards those penguins – move towards*).

Важной оговоркой является то, что данный критерий применим лишь к так называемым эндоцентрическим конструкциям, т.е. конструкциям с ярко выраженным центральным элементом, каковыми являются, например, сочетания имен с прилагательными или глаголов с прямым объектом. По поводу эндоцентричности ИГ в случае, например, с модифицирующим имя демонстративом, у разных авторов возникают сомнения. Мы уклонимся здесь от обсуждения этой чрезвычайно сложной проблемы, отметив лишь, что тогда, когда речь не идет об эллиптических конструкциях (*принеси Пете тот карандаш, а мне – этот / *карандаш*) то, что ИГ "организуется" вокруг существительного кажется достаточно очевидным. Так, с точки зрения пропозиционального содержания высказывания *Эти яблоки лежали на земле* и *Яблоки лежали на земле* полностью совпадают, чего нельзя сказать о высказываниях *Эти яблоки лежали на земле* и *Эти лежали на земле (яблоки? люди? болванки?...)*.

Следующим является так называемый **Семантический Критерий (Semantic Criterion)**:

7. Семантика составляющей в целом задается значением вершины, в то время как зависимое лишь конкретизирует это значение.

Так, например, в ИГ *черный кот* прилагательное лишь выделяет некоторое подмножество объектов (*черные коты*), тогда как сам тип объекта (*кот*) задается существительным. Как и в перечисленных выше случаях, этот критерий выполняется не для всех типов составляющих: например, далеко не так просто определить, какой из элементов (подлежащее или сказуемое) является семантической вершиной в составляющих типа *S*. Но, насколько мы можем судить, возможность распространения этого критерия на отношения между именем и его модификаторами не должна вызывать никаких возражений.

И, наконец, мы будем использовать еще один, вспомогательный критерий **Линейного Порядка (Linear Ordering)** внутри составляющей:

8. Зависимые некоторой вершины, близкие по семантическим и грамматическим свойствам, склонны соблюдать одинаковое линейное расположение по отношению к вершине.

Данный критерий, упоминавшийся еще Теньером и получивший более корректную интерпретацию в гринберговских универсалиях, приводится нами в более слабой (т.е. накладывающей менее строгие ограничения) формулировке – мы ожидаем лишь одинакового упорядочивания близких по семантике и функциям (в широком смысле) применимых модификаторов. Цвики и Хадсон (см. выше) апеллируют при иллюстрации этого принципа к работе Гринберга [Гринберг 1999], приведем и мы пример наиболее уместной в нашем случае универсалии:

Универсалия 17. Когда описательное прилагательное предшествует существительному, указательное местоимение и числительное в подавляющем большинстве случаев также предшествуют существительному.

Мы не будем включать критерий линейного порядка в число обязательных и будем обращаться к нему в тех случаях, когда он способен предоставить информацию, не выводимую из других критериев.

Все перечисленные выше критерии мы считаем целесообразным сгруппировать следующим образом: критерии 1–3 (**Синтаксического Управления, Согласования и Морфосинтаксического центра**) мы объединим под общим названием **Формальных Характеристик**. Данные критерии будут применяться как одно целое только в том случае, если все они одновременно определяют некоторый элемент как вершину, в остальных случаях будет уточняться значение каждой из формальных характеристик.

Далее, критерии 5–7 (т.е. **Обязательность Составляющей, критерий Дистрибутивного Эквивалента и Семантический Критерий**) мы будем рассматривать как единый **Семантический Критерий** по следующим причинам. По нашему убеждению, все три критерия основываются на представлении о существовании у синтаксической составляющей некоторого семантически обязательного, центрального элемента. "вокруг" которого организуется вся группа. Очевидно, что подобный элемент можно найти далеко не во всех составляющих, однако, как мы уже говорили, из-за того, что данное исследование ограничено лишь одним типом составляющих, именной группой, мы считаем правомерным делать заключения об условии применения того или иного критерия, имея в виду его адекватность прежде всего в контексте ИГ. А как было замечено выше, для ИГ существительное является **Обязательной Составляющей, Дистрибутивным Эквивалентом и Семантической Вершиной**, т.е. вершиной по всем трем пунктам семантического критерия.

Семантический критерий и критерии формальных характеристик будут рассмотрены и применены в 1-й и 2-й частях работы; кроме того, мы посвятим согласовательной категории числа отдельную, 4-ю часть нашего исследования. Критерий 5 (**Субкатегоризации**) мы выделим как самостоятельный и посвятим ему 3-ю часть данной работы. Результат применения всех критериев будет специально обсужден в части 5.

0.2.3. СОГЛАСОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИГ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

В своем описании ИГ известный американский лингвист Т. Гивон (см. [Givón 1989]) выдвинул один весьма важный, по нашему мнению, принцип. Этот принцип, который Гивон назвал **Принципом Единообразия** (Uniformity principle) кратко можно изложить следующим образом: **Распространенная именная группа стремится уподобиться по своей структуре единичному имени.**

Данное свойство проявляется в том, что в распространенных ИГ действует ряд механизмов, которые придают им сходство с ИГ, состоящей из одного существительного. Одним из таких механизмов является согласование между элементами ИГ по релевантным для данного языка грамматическим категориям. Так, хорошим примером может служить русский язык, в котором обязательно согласование по роду / числу / падежу / одушевленности внутри ИГ, оформляющее всю ИГ как цельную синтаксическую составляющую. Ниже мы рассмотрим наиболее важные для нас случаи согласования грамматических характеристик.

Особый интерес будут вызывать у нас те случаи согласования признаков, при которых сам модификатор навязывает существительному некоторую грамматическую форму. В русском языке их можно продемонстрировать следующими примерами:

(5)

- a. *Все прочие явления жизни перестали его интересовать.*
- b. *Однако вскоре он, как и многие другие дворяне, вернулся на службу.*

(6)

- a. *У него было много собственных вещей.*
- b. *На экране медленно перемещались несколько ярких разноцветных точек.*

В примерах (5) семантика модификаторов такова, что они предписывают всей ИГ соотносению с более чем одним референтом, поэтому существительное в таких ИГ должно получать, в соответствии с правилами построения высказывания в русском языке, показатель множественного числа. Такой тип проверки соответствия признаков мы будем называть сопоставлением **Числа**.

В примерах (6) модификаторы также имплицитируют множественность референтов. Однако, кроме показателя множественного числа, данные ИГ получают (в позиции субъекта или прямого объекта) еще и показатель генитива. С чем же связано появление этого падежного показателя в данном случае? На наш взгляд, семантика Gen.PI в данном случае соответствует значению **выбора из некоторого множества объектов определенного типа**, ср: *Трудами многих из них восстанавливалась сожженная в 1812 году Москва*. Более подробно мы остановимся на этом признаке в части 1, здесь лишь заметим, что это грамматическое значение, которое мы будем называть **Партитивом**⁴, точно так же, как и грамматическая категория числа имплицитирует процедуру сопоставления грамматических признаков.

Итак, резюмируем: для некоторых именных модификаторов (значение которых близко к значению грамматических категорий имени) в русском языке должна быть осуществлена проверка признаков **Числа** и **Партитивности**. Важно отметить, что обе эти категории способны функционировать и в отсутствие модификаторов; это более чем очевидно для числа, но справедливо также и для партитива, ср: *В лесу грибов! Дай мне, пожалуйста, хлеба*. В случае появления модификаторов с соответствующей семантикой срабатывает обязательный механизм сопоставления признаков, ставящий в соответствие значения указанных выше категорий с семантикой модификаторов⁵.

1. СВОЙСТВА РУССКОЙ КГ И АНАЛИЗ ЕЕ СТРУКТУРЫ

1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА РУССКОЙ КГ

Рассмотрение проблем, связанных с русской КГ, мы начнем с изложения наиболее важных фактов, касающихся морфосинтаксических свойств русских числительных. Количественные числительные в русском языке развиваются на несколько классов в зависимости от оформления их участия в ИГ. Свойства класса будут задаваться следующими параметрами: склонение числительного, склонение имени и склонение прилагательного, входящего в состав КГ. Несколько ниже мы рассмотрим также согласование глагола с КГ в субъектной позиции.

Класс I. Состоит всего из одного числительного, которое по своим свойствам практически идентично прилагательным в составе ИГ, числительного *один* (плюс все так называемые "составные числительные", заканчивающиеся на *один*: *двадцать один*...). Заметим сразу, что такие свойства числительного *один* не являются особенностью русского языка, а распространены типологически достаточно широко. В русском языке это числительное согласуется с именем в падеже и роде, принимая (везде, кроме номинатива) окончания единственного числа адъективного склонения. Приведем парадигму ИГ с числительным *один* и прилагательным:

⁴ Данное значение выбора из множества элементов определенного типа является одной из реализаций партитивной семантики.

⁵ Таким образом, в случаях *Он знает много языков / Он известен многим политикам* модификатор получает от имени падеж и предписывает ему форму множественного числа, и, в определенных контекстах, генитива (пример так называемого "взаимного подчинения" [Кибрик 1992]).

Грамматические свойства числительного *один* в русском языке

Case	Num	Adj	Noun
Nom	<i>одна</i>	<i>высокая</i>	<i>береза</i>
Acc	<i>одну</i>	<i>высокую</i>	<i>березу</i>
Gen	<i>одной</i>	<i>высокой</i>	<i>березы</i>
Dat	<i>одной</i>	<i>высокой</i>	<i>березе</i>
Inst	<i>одной</i>	<i>высокой</i>	<i>березой</i>
Loc	<i>одной</i>	<i>высокой</i>	<i>березе</i>

Как можно заметить, данное числительное действительно по своим поверхностно-синтаксическим свойствам объединяется с прилагательными.

Класс 2 В него входят так называемые "малые" числительные: *два, три, четыре* (иногда к ним добавляют также числительные *пол* и *полтора*, мы будем подразумевать их, но в основном опираться на свойства числительных *два, три, четыре* и, соответственно, всех составных числительных, где *два, три, четыре* являются крайним правым элементом). Их отличает ряд особенностей при образовании КГ: они требуют от имени Gen.Sg в позиции подлежащего, согласуются с именем в косвенных падежах, а в позиции прямого дополнения выбирают флексию в зависимости от одушевленности существительного (в следующем пункте мы специально остановимся на особенностях маркирования КГ в роли прямого объекта). Прилагательное в КГ с малыми числительными всегда стоит во множественном числе. В номинативе оно принимает форму: либо (чаще всего) Gen.Pl, либо, реже (и это наиболее характерно для ИГ с существительными женского рода), – Nom.Pl. В косвенных падежах прилагательное согласуется с именем в падеже, а в аккузативе принимает падеж в зависимости от одушевленности имени.

Еще одно свойство, наблюдаемое у одного из "малых" (далее – без кавычек) числительных, а именно – у числительного *два* – его способность различать род в номинативе / аккузативе. Это свойство, так же, как и в случае числительного *один*, свидетельствует о близости лексемы к прилагательным.

Таблица 3

Грамматические свойства малых числительных в русском языке

Case	Num	Adj	Noun
Nom	<i>две</i>	<i>высоких/ие</i>	<i>березы</i>
Acc	<i>две</i>	<i>высоких/ие</i>	<i>березы</i>
Gen	<i>двух</i>	<i>высоких</i>	<i>берез</i>
Dat	<i>двум</i>	<i>высоким</i>	<i>березам</i>
Ins	<i>двумя</i>	<i>высокими</i>	<i>березами</i>
Loc	<i>двух</i>	<i>высоких</i>	<i>березах</i>

Класс 3 Включает так называемые "большие" (далее – без кавычек) числительные. К ним относятся числительные от *пяти* до *десяти*, от *одиннадцати* до *девятнадцати* и обозначения десятков и сотен (сюда могут быть также включены лексемы *много, несколько* и некоторые другие). Для них характерна более строгая модель морфосинтаксического поведения, чем для малых числительных.

Грамматические свойства больших числительных в русском языке

Case	Num	Adj	Noun
Nom	пять	высоких	берез
Acc	пять	высоких	берез
Gen	пяти	высоких	берез
Dat	пяти	высоким	березам
Ins	пятью	высокими	березами
Loc	пяти	высоких	березах

В номинативе и аккузативе как имя, так и прилагательное получают, независимо от одушевленности, показатель, "навязываемый" числительным, Gen.PI, в остальных падежах налицо согласование в падеже и числе между элементами КГ.

Класс 4. В этот класс входят такие слова, как *тысяча, миллион, миллиард*, которые фактически являются существительными, как видно из приведенной ниже таблицы. Такая ситуация также чрезвычайно распространена в языках мира. В русском языке, однако, есть альтернативная возможность маркирования имени в косвенных падежах не генитивом множественного, а собственно показателями косвенных падежей, как это имеет место для числительных классов 1–3 (см. выше), ср:

(7)

а Герой с тысячью лицами миф, архетипб Меня хотят убить тысячью смертями

Такие случаи достаточно редки, но все-таки встречаются (примеры взяты из реальных текстов). Можно сказать, что данные лексемы маргинально проявляют некоторые свойства числительных. Приведем теперь парадигму для таких количественных слов:

Таблица 5

Грамматические свойства числительных *тысяча, миллион, миллиард* в русском языке

Case	Num	Adj	Noun
Nom	тысяча	молодых	москвичей
Acc	тысячу	молодых	москвичей
Gen	тысячи	молодых	москвичей
Dat	тысяче	молодых/?ым	москвичей/?ам
Inst	тысячью	молодых/?ыми	москвичей/?ами
Loc	тысяче	молодых/?ых	москвичей/?ах
Nom	тысячи	молодых	москвичей
Acc	тысячи	молодых	москвичей
Gen	тысяч	молодых	москвичей
Dat	тысячам	молодых	москвичей
Ins	тысячами	молодых	москвичей
Loc	тысячах	молодых	москвичей

Итак, основным объектом нашего внимания будут числительные классов 2 и 3 как наиболее характерные представители класса числительных в целом. В тех случаях, когда внешним падежом являются номинатив (класс 2) или номинатив и аккузатив

(класс 3), существительные в КГ стоят в родительном падеже, при этом у малых числительных это Gen.Sg, а у больших – Gen.Pl. По поводу генитива множественного не возникает никаких вопросов: его последовательно принимают как имена, так и прилагательные, и он в данном случае имеет совершенно естественную семантическую мотивацию, связанную с выражением значения "часть множества объектов" (подробно речь об этом пойдет ниже). Генитив же единственного (в номинативе и аккумулятиве) при малых числительных выглядит достаточно странно: во-первых, удивляет единственное число имени, не соответствующее значению, выражаемому числительным; во-вторых, прилагательное в такой конструкции всегда стоит во множественном, т.е. налицо опять-таки довольно странное рассогласование прилагательного с именем в числе; наконец, существуют односложные имена, например, *шаг, ряд...* для которых форма, употребляемая с малыми числительными, и форма родительного единственного отличаются местом постановки ударения (ср: *два шага́!* Но: *без шага́*). Все эти факты позволяют усомниться в том, что перед нами действительно форма Gen.Sg.

Беглого взгляда на факты истории русского языка оказывается достаточно, чтобы определить источники данной формы. Окончание *-а/-я* являлось твердой и мягкой разновидностью окончания Nom / Acc.Du так называемого *δ*-склонения. Оно употреблялось, таким образом, с числительным *два* в номинативе и аккумулятиве. Далее, так как *два* является гораздо более частотной лексемой, данную флексию стали получать существительные в позиции подлежащего и прямого дополнения в контексте числительных *три* и *четыре*, которые ранее также, как и *два*, согласовывались с именем. Так как изначально данное окончание у *δ*-склонения совпадало с формой генитива единственного числа, то эта модель распространилась и на другие склонения. Данный процесс "поддерживался" тем, что большие числительные также присоединяли генитив, но только множественный.

Таким образом, форма имени при малых числительных для номинатива и аккумулятива является бывшей формой дуалиса, поэтому она и обладает имплицитной множественной семантикой и вызывает согласование по множественному числу. Можно сказать, что форма Gen.Sg выполняет те же функции при малых числительных, что и форма Gen.Pl при больших, а весьма странный факт выбора генитива единственного числа для осуществления этих функций объясняется чисто диахроническими причинами.

В отношении глагольного согласования малые и большие числительные проявляют приблизительно одинаковые свойства: они допускают форму множественного числа (3-го лица в настоящем и будущем времени) или единственного (средний род в прошедшем, 3-е лицо в настоящем и будущем):

(8)

По улице прошли / прошло два кота; пять котов.

Каждую секунду по улице проезжают / проезжает две машины; пять машин.

Каждую секунду по улице будут / будет проезжать две машины; пять машин.

Объяснение причин употребления формы единственного числа будет предложено после рассмотрения наиболее важных для нас вариантов анализа КГ.

1.2. АНАЛИЗ КГ РУССКОГО ЯЗЫКА

В данном пункте мы рассмотрим наиболее важные для нас работы, посвященные русской КГ (список литературы по данному вопросу чрезвычайно велик, см., например, библиографию в [Corbett 1993]), и предложим свое решение проблемы выбора вершины в КГ, во многом базирующееся на наиболее удачных с нашей точки зрения решениях предыдущих исследователей.

В своей книге [Мельчук 1985] И.А. Мельчук предлагает подробный анализ свойств русской КГ, основанный на формализме, принятом в модели "СМЫСЛ-ТЕКСТ".

Работа посвящена одному вопросу – установлению направления синтаксических отношений в русской КГ. Основным результатом осуществленного автором анализа можно считать следующий:

"В русской Конструкции Num + S поверхностно-синтаксическим хозяином во всех случаях является существительное, а числительное следует считать синтаксически зависимым (т.е. модификатором, или поясняющим словом)".

Основанием к подобному утверждению служит для Мельчука, прежде всего, следующее свойство русских КГ.

"1. ПС-распределение конструкции Num + S.

Главное соображение в пользу решения Num ← S состоит в следующем: по своим возможным поверхностно-синтаксическим ролям в высказывании, т.е. по своим пассивным ПС-валентностям, конструкция Num ← S практически идентична S и сильно отличается от Num. (...)".

Несложно понять, что здесь используется критерий **Дистрибутивного Эквивалента**, т.е., если придерживаться более корректного подхода к определению вершины, можно переформулировать утверждение автора следующим образом: "**Семантической Вершиной** русской КГ является существительное". Однако такой результат нельзя считать вполне удовлетворительным, так как для того, чтобы дать полную характеристику некоторой синтаксической составляющей, необходимо применить все возможные в данном случае критерии синтаксической зависимости, а доказательство Мельчука, несмотря на осуществленный им детальный разбор русской КГ, опирается в основном лишь на один упомянутый выше критерий.

Другой подход к русской КГ предложил Г. Корбетт в работе [Corbett 1993]. По мнению Корбетта, русские числительные представляют собой шкалу с точки зрения их синтаксических свойств, на одном конце которой – числительное *один*, являющееся, по сути, прилагательным, на другом – *миллион*, обладающее свойствами существительного. Остальные попадают между этими двумя полюсами. Такая ситуация достаточно характерна для языков мира: "меньшие" числительные склонны объединяться с прилагательными, "большие" – с именами.

Статья посвящена свойствам "наиболее сложных" из русских числительных: *два*, *три*, *четыре*. Автор применяет к КГ с этими числительными (такой, как, например, *два журнала*) все критерии синтаксической зависимости, предложенные Хадсоном и Цвики (см. выше).

Результаты этого анализа можно вкратце описать следующим образом: семантической вершиной в русской КГ является существительное; числительное субкатегоризуется именем; скорее числительное, чем имя является морфосинтаксическим центром; числительное управляет именем; числительное – мишень, а имя – контролер согласования (Корбетт при этом замечает, что такая направленность согласования не обязательно является свидетельством вершинности имени, приводя в пример согласование глагола с подлежащим); дистрибутивным эквивалентом не может быть признано ни числительное, ни существительное; то же – с определением обязательной составляющей. Таким образом, как показывает автор, если придерживаться подхода Цвики, то можно считать вершиной оба элемента (или ни один из двух элементов), если же исповедовать методологию Хадсона, то вершиной необходимо признать числительное.

Для того чтобы разрешить такую многовариантность анализа, Корбетт прибегает к еще одному вспомогательному средству. Он осуществляет анализ КГ, включающих в свой состав третий дополнительный элемент, а именно – определенное местоимение или прилагательное. Анализируя ИГ *эти две книги* и *две интересные книги / две интересных книги*, он делает вывод, что именно числительное диктует выбор падежной формы определенного местоимения и прилагательного и, следовательно, является вершиной КГ.

Асимметрию использования разных способов падежного маркирования в разных синтаксических контекстах Корбетт объясняет более важной синтаксической ролью прямых падежей по сравнению с косвенными: в то время как числительное, проявляя свои вершинные свойства, навязывает определенный падеж в позиции субъекта и прямого объекта, в косвенных падежах, находящихся ниже в падежной иерархии, этого не происходит и числительное управляет не особым падежом, а теми падежами, которые существуют и вне КГ.

Недостатком предлагаемого Корбеттом анализа можно считать отсутствие семантической (или какой-нибудь другой) мотивации для Gen.PI в прямых падежах, природа этого родительного так и остается за рамками данного исследования.

Особого внимания заслуживает анализ русской ИГ, предпринятый Л. Бэбби (см. [Babby 1987], а также анализ количественных конструкций с партитивом в [Babby 1985]). Мы постараемся предельно сжато изложить взгляды данного автора на КГ русского языка (что само по себе является непростой задачей, так как на базе материала русской КГ Л. Бэбби разработал свою версию падежной теории).

Как показал Бэбби, генитив (как множественного, так и единственного числа) связан в русском языке с выражением партитивного значения⁶ (автор пользуется введенным им обозначением QR, группа квантификатора, мы же будем придерживаться традиционного термина "партитив"). Более того, как показано в [Babby 1985], предложные партитивные конструкции в русском языке как раз оказываются ограничены прямыми падежами:

(9)
Nom: *От Теплового Сырта до Старой Базы по прямой было около шести(Gen) километров.*

Acc: *Они прошли около шести(Gen) километров.*

!Но:

Dat: *Подарки были розданы (*около) трем тысячам детей (Около трех тысяч детей получили подарки).*

Ins: *Он был пожалован званием и (*около) пятьюдесятью рублями (Ему было пожаловано звание и около пятидесяти рублей).*

Те же свойства партитива сохраняются и в случаях, когда партитивное значение выражается не при помощи предлогов *около, полно, до...*, а посредством только лишь морфологического падежа:

(10)
Nom: *Еды(Gen) и сигарет(Gen) у них оставалось только на два дня.*

Acc: *Сашенька захватила с собою зерен(Gen) и цветков традесканции, чтобы покормить щегла.*

И точно так же, как предложный партитив, морфологически самостоятельный партитив невозможен в косвенных падежах (ср: **Они запаслись хлеба, !Но: Они запаслись хлебом; Они запасли хлеба*). Заметим также, что так называемый генитив отрицания в русском и приглагольный генитив, например, у глагола *лишиться*, имеет также своим диахроническим источником употребление партитива. Таким образом, то, что партитивная семантика в русском выражается при помощи генитива – более чем очевидно.

Мы склонны считать, что числительные в русском имеют согласовательный признак партитивности. В прямых падежах, таким образом, возникает падежный конфликт между генитивом с одной стороны и номинативом / аккузативом – с другой. Конфликт разрешается в пользу партитивного генитива, т.к. (см. [Babby 1987])

⁶ Множественное число употребляется при исчисляемых объектах, единственное – при неисчисляемых, см. примеры ниже.

генитив является "внутренним" падежом КГ и оказывается в приоритетном положении по сравнению с "внешними" номинативом и аккузативом, которые предписываются именной группе синтаксической структурой всей предикации. В случае же косвенных падежей, где партитивные значения не могут быть выражены, падежный конфликт фактически отсутствует.

Тот факт, что выражение партитива, как при самостоятельном или предложном употреблении, так и в КГ, ограничено прямыми падежами, может интерпретироваться по-разному в зависимости от того, какой лингвистической традиции придерживается исследователь. Корбетт говорит здесь о действии падежной иерархии, ученые, работающие в рамках генеративной парадигмы – о разном статусе падежей в языке (семантические, лексические и структурные падежи Бэбби, структурные и ингерентные падежи современных генеративистов). Как нам кажется, это расхождение – лишь расхождение в терминологии и не более; важно то, что прямые падежи действительно имеют некоторый выделенный, привилегированный статус, как это явствует и из типологических исследований, и из работ по формальной теории синтаксиса⁷.

Подведем итоги. Бесспорным достижением Бэбби явилось то, что он показал, что имя в КГ может быть проанализировано не только как семантическая вершина, но и как вершина с точки зрения формальных характеристик, т.е., поверхностного синтаксиса. Более того, ему успешно удалось семантически мотивировать свой вариант анализа: отклонения в аккузативе и генитиве, связанные с появлением родительного падежа (Gen.Sg для малых числительных или Gen.Pl для больших), вызваны, прежде всего, выражением так называемого значения партитивности.

Скажем несколько слов о числовом согласовании русской КГ. Что касается глагольного согласования КГ в субъектной позиции, то здесь существуют две стратегии: либо глагол принимает форму среднего рода единственного числа, либо он стоит в форме множественного. Первая стратегия вызвана как раз формой партитивного генитива у существительных. Как и во многих других случаях, когда имя в позиции субъекта стоит не в номинативе (ср., например: *Мне было жаль тебя; С каждого дерева упало по груше* и т.п.), выбирается "дефолтная" стратегия (Neut.Sg в прошедшем времени или 3.Sg в настоящем):

(11)

а. *На поле боя осталось три танка.*

б. *Потом обнаружили, что в него попал шесть пуль.*

(Та же стратегия дефолтного согласования имеет место и с другими употреблениями партитива: *Здесь тоже было полно запахов, Прошлым летом в лесу грибов было!*)

Оформление глагола показателем множественного числа (*Пришли семь человек* и т.п.) мы склонны анализировать как результат влияния грамматических характеристик числительного на КГ в целом. Подобно тому, как числительные предписывают имени генитив, они предписывают КГ плюралистную трактовку, вызывая тем самым плюралистное согласование глагола. Можно сказать, что контролером согласования в таком случае является числительное.

Вследствие того, что числительное предписывает плюралистную трактовку существительному (в том числе и в КГ с малыми числительными в субъектной позиции, см. пункт 1.1), оно должно считаться контролером числового согласования по отношению к имени. Далее, множественная семантика последнего имплицитно согласование по множественному числу у прилагательных, т.е. в этом случае контролером согласования следует считать существительное⁸.

⁷ Чрезвычайно интересной и во многом обобщающей взгляды Бэбби является работа [Исакадзе 1999].

⁸ Похожих взглядов на числовое согласование КГ придерживается Г. Корбетт, см. ссылку выше.

Итак, наш вывод по поводу особых форм существительных, поверхностно реализующихся как генитив, будет следующим: данный показатель является особым маркером партитива, который, в соответствии с правилом Сопоставления Признаков, необходим в контексте некоторых модификаторов с количественной семантикой, в т.ч. – числительных. Сопоставление числительного и имени по признаку Партитивности в КГ отличается от сопоставления по Числу лишь в одном – по сравнению с числом, проявляющимся во всех падежах, партитив релевантен лишь для номинатива и аккузатива.

Обсудим теперь некоторые различия свойств малых и больших числительных. Основная проблема связана с морфологическим маркированием КГ в позиции прямого объекта. Так как данная синтаксическая позиция в русском обязательно должна содержать информацию об одушевленности объекта, в случае КГ возникает ситуация конкуренции двух признаков: семантического признака одушевленности и согласовательного признака партитивности. Проанализируем, как решается данный конфликт в случае малых и больших числительных.

В обоих случаях, и при выражении одушевленности (одушевленные ИГ кодируются показателем генитива, а неодушевленные – номинатива), и при выражении партитивности, кодирование происходит при помощи одних и тех же средств, а именно, морфологического падежа. Главным вопросом, таким образом, является то, который из двух признаков выбирается для кодирования: одушевленность или партитивность. Когда мы имеем дело с малыми числительными, налицо следующая ситуация:

(12)

Acc (Anim): Gen.Pl (= *двух мальчиков* = (Gen) *без двух мальчиков*)

Acc (Inanim): Gen.Sg (= *два стола* = (Nom) *два стола*)

Т.е., "побеждает" признак одушевленности (иначе мы имели бы: **Я увидел два мальчика*). При этом важно, что форма генитива/номинатива выбирается не отдельно для имени и числительного, а для всей КГ в целом, т.е. вся КГ принимает ту форму, которую она имеет в генитивном контексте или в позиции субъекта (в противном случае имело бы место: **Я увидел два стола*). В этом проявляется свойство **Единообразия** ИГ (и КГ как одного из типов ИГ), см. выше.

В случае больших числительных ситуация иная:

(13)

Acc (Anim): Gen.Pl (= *пять мальчиков* ≠ (Gen) *без пяти мальчиков*)

Acc (Inanim): Gen.Pl (= *пять столов* = (Nom) *пять столов*)

Исходя из формы числительного (подчеркнуто) можно сказать, что здесь конфликт разрешается в пользу выражения партитивности (иначе было бы: *Я увидел пяти мальчиков*).

Итак, в позиции прямого объекта при малых числительных употребляется (в зависимости от одушевленности) Gen / Nom существительного, а при больших – Gen существительного, как результат внутреннего согласования ИГ по признаку партитивности. Причины, по которым имеет место такая непоследовательность в употреблении числительных, можно отнести на счет двух факторов: диахронического и функционального. Первый из них, из-за чрезвычайной сложности материала, обсуждать мы не будем, скажем немного о втором. Как нам кажется, основная функциональная причина заключается в том, что в случае малых числительных более важной является информация об одушевленности объектов, тогда как в случае больших важнее оказывается партитивность.

Далее, если обратить внимание на форму прилагательных, употребляющихся в КГ с малыми числительными, можно заметить, что падежной флексии Gen.Sg имени соответствуют два окончания прилагательного: Gen.Pl всех трех родов и Nom.Pl женского рода, ср:

(14)

*На столе стояли(о) два прозрачных(*е) стакана / два прозрачных (*е) блюда / две прозрачных(е) вазы.*

Чтобы подытожить обсуждение особенностей употребления малых числительных, необходимо отметить, что генитивное маркирование развилось у них фактически лишь в субъектной позиции. Более того, и в подлежащих КГ прилагательные могут согласовываться с именами женского рода по номинативу (см. последний пример). Таким образом, процесс выравнивания парадигм малых и больших числительных нельзя считать окончательно завершенным.

В заключение приведем результаты тестирования русской КГ по семантическому критерию и критерию формальных характеристик:

Таблица 6

Применение критериев установления вершины к русской КГ

	Num	Noun
Семантический Критерий	–	+
Формальные Характеристики:		
Управляющая Лексема	+	–
Контролер Согласования	+	+
	(число, партитив)	(род, число, падеж)
Морфосинтаксический Центр	–	+
		(падеж)

Если контролером согласования в случае разных категорий являются как имя, так и числительное, то морфосинтаксическим центром мы должны признать скорее имя: оно принимает падежные характеристики всей ИГ (получающие особое выражение в номинативе и аккузативе) и контролирует "внешнее" согласование в роде как, например, в случаях: *Две девушки, каждая с цветком в руке, мило беседовали.*

Итак, в случае современного русского возможен гармоничный анализ существительного в составе КГ как семантической и синтаксической вершины. Как мы увидим ниже, для древнерусского языка попытки подобного анализа оказываются тщетными.

1.3. КГ В ДРЕВНЕРУССКОМ

Дифференциация синтаксических свойств малых и больших числительных в древнерусском была гораздо более существенной (см. по данному вопросу [Иванов 1983]). Малые числительные (от *одного* до *четырех*) по своим морфосинтаксическим свойствам совпадали с прилагательными: они согласовывались с именем в роде, падеже и числе (вернее, для *один* всегда выбиралась флексия единственного, для *два* – двойственного, для *три*, *четыре* – множественного). При этом число имени выбиралось точно так же: единственное – для *один*, двойственное – для *двух*, множественное – в случае *трех* и *четырех*. Числительные от *пяти* до *десяти*, напротив, объединялись с именами: все они принадлежали к женскому роду, изменялись по числам и присоединяли имя в Gen.Pl (ср. современные русские *четверка велосипедистов*, *десяток лиц*...). Более того, они могли иметь при себе определение и контролировали глагольное согласование в роде и числе, например:

(15)

древнерусск.

тѣ	третьѣ	пятѣ
тот:f.Nom.Sg	третий:f.Nom.Sg	пятѣ
молодых	конь	пришла.
молодой:Gen.Pl	конь:Gen.Pl	приходить:Pst.F.Nom.Sg

~ те третьи пять молодых коней пришли

(Здесь мы не следуем точной древнерусской графике, а передаем лишь "транскрипцию" древнерусского языка при помощи букв современного языка.)

С ситуацией последовательного маркирования имени генетивом в КГ мы еще встретимся (например, в литовском языке), пока же отметим следующее. Очевидно, что числительных как отдельной грамматической категории в древнерусском языке не было: одни числительные объединялись по своим свойствам с прилагательными, другие – с именами. Морфосинтаксическое поведение малых числительных в древнерусском, как мы увидим ниже, не является экзотическим и не представляет особых проблем для анализа. Более сложным материалом в этом отношении являются числительные от *пяти* до *десяти*. Для того чтобы объяснить поверхностно-синтаксические свойства таких числительных в рамках принятой нами модели, а также для того, чтобы установить причину выбора генитивной стратегии при построении КГ (а такая стратегия, как будет показано ниже, отнюдь не является исключительной особенностью русского), нам будет необходимо рассмотреть более широкий типологический материал и более подробно ознакомиться со способами выражения количественной семантики в именных группах различных языков. Закончим же мы обсуждение синхронии и диахронии русской КГ сводной таблицей результатов применения семантических и формальных критериев направления синтаксических отношений с большими числительными в древнерусском языке:

Таблица 7

КГ в древнерусском языке

	Num	Noun
Семантический Критерий	–	+
Формальные Характеристики:		
Управляющая Лексема	+	–
Контролер Согласования	+	+
	(род, число, падеж)	(род, число, падеж)
Морфосинтаксический Центр	+	–
	(род, число, падеж)	

2. ТИПОЛОГИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ГРУППЫ

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА

Прежде чем перейти к построению типологии количественной группы, сделаем необходимые оговорки относительно объекта предстоящего исследования. Во-первых, как говорилось во Введении, мы не будем уделять внимания типу счетной системы в языке. Во-вторых, как мы уже указывали при обсуждении русского материала, существует общая для всех языков (но, естественно, реализующаяся далеко не в каждом из них) тенденция оформлять "низшие" числительные (ср. русское *один, два...*) как прилагательные, а "высшие" – как имена (ср.: *тысяча, миллион...*). Кроме того, числительное *один* часто (если не всегда) обладает особым статусом, например, кроме собственно счетных функций оно может использоваться как неопределенное местоимение, в интродуктивной функции и т.д. К тому же есть еще одно, насколько нам известно, типологически универсальное, отличие этого числительного от остальных: в то время как все прочие числительные имплицитно множественность референтов, что выражается поверхностно в появлении показателя двойственного или множественного числа, числительное *один* вводит единичного участника и не требует, таким образом, никаких показателей множественности. И, наконец, в-третьих, существует, насколько нам известно, еще одно универсальное свойство числительных во всех языках: составные числительные, например, русское

двадцать один, двадцать два, двадцать три... и т.д. сохраняют те же морфосинтаксические свойства, что и малые числительные, которые входят в их состав, т.е. *один, два, три...* (оговоримся, что это, опять-таки, не всегда справедливо для составных числительных с *один*, которые могут имплицировать появление показателя множественности референтов).

В соответствии с перечисленными особенностями числительных, при построении типологии КГ мы будем рассматривать прежде всего морфосинтаксические свойства именных групп с количественными числительными от *двух* до *десяти*, и, иногда – от *одиннадцати* до *девятнадцати*.

Всего в нашу выборку вошло 28 языков из 16 языковых групп и 4 языка-изолята: английский (германские), русский, чешский, болгарский (славянские), литовский (балтийские), армянский (изолят), санскрит, хинди (индийские), персидский, язгулямский, осетинский (иранские), баскский (изолят), малаялам, тамильский (дравидийские), финский (финно-угорские), татарский (тюркские), бурятский (бурято-монгольские), цахурский, багвалинский (нахско-дагестанские), суахили (банту), корякский (чукотскокамчатские), эскимосский (эскалеутские), ассирийский, арабский (семитские), индонезийский (австронезийские), м'юнг (автроазиатские), нивхский (изолят) и японский (изолят)⁹.

2.2. ПОСТРОЕНИЕ ТИПОЛОГИИ

2.2.1. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КАК ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

Наиболее распространенным по нашим сведениям типом КГ является такая КГ, в которой морфосинтаксические свойства числительных совпадают со свойствами прилагательных в составе ИГ (здесь мы не рассматриваем такое свойство числительных, как их способность предписывать именам показатель множественного числа, этот вопрос будет специально обсужден ниже). Данная ситуация имеет место в следующих рассмотренных нами языках: английский, армянский, санскрит, хинди, малаялам, тамильский, татарский, бурятский, цахурский, багвалинский, суахили, корякский, эскимосский.

Данный класс КГ в зависимости от свойств языка разбивается на два подтипа. Первый подтип включает такие языки, где согласование между элементами ИГ отсутствует (или существует для очень ограниченного круга модификаторов). Ко второму относятся языки, в которых модификаторы ИГ согласуются с именем. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Подтип А. Характерными представителями этого подтипа являются, например, татарский¹⁰ и армянский¹¹ языки. Приведем примеры:

(16)

тат.

ul	dürt	keçken	bala-ka	bülek	it-te.
он	четыре	маленький	ребенок-Dat	подарок	сделал

Он четырьмя маленьким детям подарок сделал.

(17)

арм.

ahçik-ə	jerku	phokhr	khothot-ner-i-n	kath	tvec.
девочка-Def	два	маленький	щенок-Pl-Dat-Def	молоко	дала

Девочка дала молока двум маленьким щенкам.

⁹ Библиография к языкам указана в Приложении.

¹⁰ Для татарского языка будут приводиться данные одного из его диалектов, мишарского.

¹¹ Говоря об армянском, мы будем иметь в виду его южные диалекты.

Как мы видим, в этих двух языках КГ образуется простым соединением элементов (порядок в обоих случаях Num_Adj_N), не сопровождающимся дублированием падежных показателей (в обоих случаях – дательного падежа) на модификаторах. Такие же правила используются при образовании КГ в дравидийских языках, так, приведенная ниже КГ из языка малаялам, стоит в аккумулятивном контексте (*Он поймал двух рыб*):

(18)

малаялам
 gaNTu matsya-ŋŋaL-e
 два рыба-Pl-Асс
 двух рыб

Похожая ситуация обнаруживается в английском языке, где только имя способно принимать маркер множественного числа. Из рассмотренных нами языков к данному типу относятся также бурятский и корякский. Несколько отличается ситуация в багвалинском языке, где прилагательные имеют согласовательные маркеры класса и числа, а числительные – нет:

(19)

багв.
 hab-da bercina=j jaš b=c:=r=o ek'a.
 три-Card красивый=F девушка Н.Pl=приходить=Н.Pl=Conv есть
Пришли три красивые девушки.

Тем не менее, КГ, подобные багвалинским, мы также будем относить к подтипу А по причине отсутствия у числительных согласовательных характеристик числа, класса, падежа и т.п.

Подтип В. Для него, как мы уже говорили, характерно согласование числительных с именем по той же грамматической модели (и, как правило, при помощи тех же формальных показателей), которая существует для прилагательных. Продемонстрируем этот тип КГ на примерах из эскимосского и цахурского языков:

(20)

эск.
 anjak usiquq tajima-nŋŋ mŋkŋstayaR-nŋŋ mŋkŋlRiR-nŋŋ.
 байдара наполняется пять-Ins.Pl маленький-Ins.Pl мальчик-Ins.Pl
Пять маленьких мальчиков помещается в байдаре.

Как можно понять из эскимосского примера, числительное, прилагательное и имя маркируются одинаковыми показателями падежа и числа. Похожая ситуация имела место в санскрите и в крайне упрощенном виде существует в его современном наследнике – хинди.

(21)

цах.
 xoŋ=j=ge moŋ?kam-in adam-ē-r il,o=b=zur-o=b.
 пять=1=CARD сильный-1.Pl человек-Pl-Nom.Pl стоят
Пять сильных мужчин стоят.

В цахурском языке числительные, как и прилагательные, согласуются с именем по классу (первый, "мужской" класс в нашем примере), но при этом всегда принимают показатель единственного числа. В этом языке также существует согласование числительных и прилагательных с именем по падежу: прямой / косвенный.

Отдельного разговора заслуживают языки банту, которые представлены в нашей выборке суахили. Как известно, в этих языках существует так называемая именная

классификация, т.е. каждое существительное относится к определенному именному (лексическому) классу, что выражается грамматически в маркировании показателями класса имени и согласовании по классу между именем и прилагательным (а также именем и глаголом):

(22)

суах.

wa-*alimu* w-*ema* wa-*pane*.

2-учитель 2-хороший 2-восемь

восемь хороших учителей.

В данном примере вся ИГ целиком получает показатели второго, плюралистического класса. Основное отличие именных классов в суахили от классов, например, в дагестанских языках состоит в большей детализации именной лексики (в суахили насчитывается около 16 классов), в остальном же ситуация чрезвычайно схожая.

Подытоживая разговор о таких языках, в которых числительные обладают общими свойствами с прилагательными, надо сказать, что подобная ситуация часто бывает характерна не для всех числительных, а лишь для определенного их подкласса. Гринберг [Greenberg 1978] указывает (и это подтверждается нашими данными), что, если в языке есть две модели морфосинтаксических свойств числительных, то адъективные свойства присущи меньшим (арифметически) числительным, а именные – большим (ср. русские *один, два*, согласующиеся с существительными в роде, с остальными числительными, а также ситуацию в литовском, см. ниже).

В заключение приведем две таблицы, отражающие результаты применения формальных и семантических критериев для обоих подтипов языков с числительными адъективной модели:

Таблица 8

Числительные как прилагательные. Подтип А

	Num	Noun
Семантический Критерий	–	+
Формальные Характеристики:		
Управляющая Лексема	–	–
Контролер Согласования	–	–
Морфосинтаксический Центр	–	+

Таблица 9

Числительные как прилагательные. Подтип В

	Num	Noun
Семантический Критерий	–	+
Формальные Характеристики:		
Управляющая Лексема	–	–
Контролер Согласования	–	+
Морфосинтаксический Центр	+	+

Как видно из таблиц, в обоих случаях применение семантических и формальных критериев способно дать гармоничный анализ, при котором имя является как семантической, так и синтаксической вершиной.

2.2.2. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КАК СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

Данный пункт посвящен рассмотрению тех языков, где, как, например, в русском, числительные проявляют те же свойства, что и существительные, т.е. присоединяют имена в генитивной форме. Мы будем называть такую стратегию образования КГ субстантивной, отдавая себе отчет в известной условности такой терминологии. Как мы уже говорили, наиболее распространенной является адъективная стратегия образования КГ. Языки, придерживающиеся субстантивной стратегии, встречаются гораздо реже, и, как правило, совмещают адъективную и субстантивную стратегии, что будет подробнее обсуждено в пункте 2.2.5 (отметим, что "чисто субстантивных" языков нам не известно).

Итак, генитивная стратегия маркирования КГ не является уникальной особенностью русского языка. Как становится понятно при более широком знакомстве с материалом близкородственных языков, нестандартные (по сравнению с другими модификаторами) свойства демонстрируют числительные во всех славянских языках. Кроме русского в сферу нашего внимания попали еще два языка славянской группы, чешский и болгарский. Опишем вкратце КГ в этих двух языках.

КГ группа в чешском напоминает КГ в древнерусском (и, естественно, праславянском) и современном русском языках одновременно. Чешские числительные от *двух* до *четырёх* (как и в древнерусском) согласуются с именем в падеже и роде. Большие (от *пяти* до *десяти*) числительные в чешском, как и в современном русском, управляют формой Gen.Pl в прямых падежах и согласуются с именем в косвенных.

Несколько более необычная ситуация в болгарском языке. В современном болгарском падежная система практически исчезла, оставив после себя "странное" наследие. Оно заключается в том, что для образования КГ с существительными мужского рода употребляется особая именная форма, образуемая при помощи флексии *-а/-я*. Эта флексия хорошо нам знакома – она сродни русскому генитиву при малых числительных и является "остатком" исчезнувшего праславянского склонения, соответствующая форме номинатива / аккузатива дуалиса *o*-склонения (которое оформляло большинство имен мужского рода). Интересно, что в современном болгарском с той же формой имени сочетаются модификаторы *колко*, *колкото*, *няколко* и т.д., ср:

(23)

болг.

а. два кон-я
 два конь-А

два коня

б. колкото кон-я
 несколько конь-А

несколько коней

Скорее всего, славянское (по-видимому, преимущественно русское) влияние испытали на себе КГ в литовском и финском языках. В работе [Koptjev-skaja-Tamm, Bernhard 2001] говорится о партитивном маркировании КГ как балто-славянском ареальном явлении. Несколько ниже мы покажем, что данная стратегия распространена и за пределами балтийского ареала, а пока проанализируем материал литовского и финского языков.

Литовский материал отдаленно напоминает славянский. Отличие состоит в том, что малыми являются в литовском числительные от *одного* до *девяти*, проявляющие адъективные свойства. К большим относятся числительные от *одинадцати* до *девятнадцати* (объединяющиеся с десятками), которые присоединяют имя в генитиве не только в прямых, как в славянских, но и (NB!) в косвенных падежах. Приведем примеры на употребление малых и больших числительных в номинативном контексте:

(24)

лит.

a.	per	gatvę peręjo		
	по	улице	прошло	
	septyni			juodi
	семь: M.Nom.Pl			черный: M.Nom.Pl
				katinaĩ.
				кот: Nom.Pl

По улице прошло семь черных котов.

b.	per	gatvę peręjo		
	по	улице	прошло	
	vienuolika			vaiku.
	одиннадцать: Nom			ребенок: Gen.Pl

По улице прошло одиннадцать детей.

Морфосинтаксические свойства финских числительных достаточно единообразны. В финском нет деления на большие и малые числительные, все количественные числительные требуют в номинативе и аккумулятиве партитивной падежной формы от имени. Славянский генитив и финский партитив сближают два важных для нас свойства: выражение партитивной семантики и возможность примененного употребления ср:

(25)

финск.

säkki	perunoita
мешок: Nom	картошка: Prtv.Pl

мешок картошки

У финской КГ существует одно отличие от славянской. Оно состоит в том, что существительные (и, следовательно, прилагательные и согласуемые с именем глагольные формы) в финских КГ маркируются единственным числом, что более подробно будет обсуждено ниже. Итак, приведем примеры:

(26)

финск.

kaksi	saksalaista	poikaa	meni	kotiin.
два	немецкий: Prtv.Sg	мальчик: Prtv.Sg	пришли	домой

Два немецких мальчика пришли домой.

В косвенных падежах ситуация напоминает славянскую: числительные согласуются с именем, переходя от именной к адъективной стратегии:

(27)

финск.

hän	kirjoittaa	usein	kahdelle	saksakaiselle
он	пишет	часто	два: All.Sg	немецкий: All.Sg

pojalle.
мальчик: All.Sg
Он часто пишет двум немецким мальчикам.

Важным для нас свойством финского партитива является его способность оформлять ИГ с модификаторами типа *несколько* и т.д.:

(28)

финск.

(osa)	poik-ia	meni	kotiin.
(несколько)	мальчик-Prtv.Pl	пришли	домой

Несколько мальчиков пришли домой.
(примеры из [Кортjevskaja-Tamm 2001]).

Чрезвычайно интересен материал осетинского языка, где также нельзя не заметить следов русского влияния. Как и в русском, в осетинском языке числительные сочетаются с родительным падежом имени в контексте субъекта и прямого объекта (заметим, что данные синтаксические роли не оформляются падежными маркерами и кодируются при помощи порядка слов):

(29)

осет.

a.	duuæ	læppuj-i	badʒnc.
	два	мальчик-Gen	сидят

Два мальчика сидят.

b.	æz	fedton	duuæ	læppuj-i.
	я	увидел	два	мальчик-Gen

Я увидел двух мальчиков.

Заметим сразу, что то же генитивное маркирование свойственно и другим ИГ с количественной семантикой, задаваемой, в частности, модификаторами *несколько* и т.п.:

(30)

осет.

k'ord	bælas-i
несколько	дерево-Gen

несколько деревьев

В косвенных падежах, как и в русском, падежный конфликт между генитивом и семантическими косвенными падежами разрешается в пользу последних. Однако, в отличие от русских, осетинские числительные не способны нести никакой морфосинтаксической информации и все падежно-числовое маркирование осуществляется при помощи имени. Т.е. можно сказать, что, в то время как в косвенных падежах в русском реализуется адъективная стратегия Подтипа В, то в осетинском – адъективная стратегия Подтипа А. Такой выбор стратегий соответствует отношениям между существительным и прилагательным в каждом из двух языков: согласование прилагательного с именем в русском и немаркированное присоединение прилагательного к имени в осетинском, ср:

(31)

осет.

avd	sau	mæsup-em-æj
семь	черный	башня-Nml-Abl

из семи черных башен

(по поводу данной морфемы ниже).

Существует еще один весьма интересный факт, который отличает косвеннопадежные КГ в осетинском. А именно, при субстантивации осетинские числительные в косвенных падежах (напомним, что прямые падежи в осетинском не маркируются) приобретают специальный аффикс, маркирующий их переход к субстантивную категорию и располагающийся перед падежным показателем. Тот же самый аффикс (NB!) присоединяется к именам в составе КГ. Таким образом, КГ как бы получает специальное морфологическое маркирование, в прямых падежах выражающееся в форме генитива, а в косвенных – в присоединении к имени особого аффикса, характерного для числительных (в примерах ниже он глоссируется как Nml, Numeral), ср:

(32)

осет.

ætæ	mudgæs-em-æn
три	пасечник-Nml-Dat

к трем пасечникам

(см. также пример (31)).

Обсуждение возможных гипотез о происхождении показателя Nm1 в осетинском останется за рамками данной работы. Мы отметим лишь сам факт последовательного маркирования наличия числительного в составе ИГ средствами партитивного генитива там, где этому не препятствует внешний контекст и особыми морфологическими средствами там, где имеет место конфликт семантических и структурных падежей.

Если во всех предыдущих случаях и можно было в той или иной степени подозревать заимствование славянской модели, то в отношении арабского языка такие подозрения будут, мягко говоря, беспочвенны. Однако арабский материал во многом оказывается удивительным образом созвучен материалу рассмотренных выше языков.

Правила образования КГ в классическом арабском языке не менее сложны, чем, скажем, в русском. Числительные *один* и *два* являются фактически прилагательными (см. об этом выше). Разные морфосинтаксические правила употребляются при образовании КГ с числительными от *трех* до *десяти* и от *одиннадцати* до *девятнадцати*. И те, и другие находятся, в отличие от других зависимых (например, прилагательных и генитивов) в позиции к имени, и это объединяет числительные с определенными местоимениями и кванторами (*любой, все...*), что будет обсуждено в пункте 2.2.3. ниже. Препозиция числительных в арабском – немаркированный вариант линейного расположения, возможна и постпозиция. Числительные от *трех* до *десяти* сочетаются с именем в родительном падеже, согласуясь с ним в роде. Правила согласования по роду для арабских числительных весьма сложны: имя мужского рода имплицитно женский род числительного, а имя женского рода – мужской:

(33)

араб.

a. khams-at-u 'ayyām-i-n
пять-F.Sg-Nom день:M.Pl-Gen-Indef

пять дней

b. talāt-θ-u sanaw-āt-i-n
три-M.Sg-Nom год-F.Pl-Gen-Indef

три года

Прилагательные в составе арабской ИГ располагаются в постпозиции к имени и принимают те же формы числа, падежа и рода, что и имя. Таким образом, единственный показатель внешней падежной роли имеется только у числительного:

(34)

араб.

a. kāna yasīru taHta nāfidat-ī
СОР идти под окном
sabʕ-at-u hirarat-i-n sūd-i-n.
семь-F.Sg-Nim кот:M.Pl-Gen-Indef черный:Pl-Gen-Indef

Семь черных котов проходило под моим окном.

b. 'ahda: l-walad-u 'umm-a-hu
принес мальчик маме
sabʕ-θ-a zahūr-i-n žami:l-at-i-n.
семь-M.Sg-Асс цветок:Pl-Gen-Indef красивый-F.Sg-Gen-Def

Мальчик принес маме семь красивых цветов.

Во всех трех падежах (номинативе, аккузативе, генитиве) маркер внешней падежной формы находится на числительном (впрочем, в случае генитива вся ИГ получает формально единое падежное оформление, но источники этого оформления различны для числительного и имени с его правыми зависимыми). Кроме того, так же, как при сочетании двух существительных в случае образования генитивной группы, числительное и имя также формируют так называемую "изафетную конструкцию".

Это выражается в том, что числительное, располагающееся перед именем, находится в "сопряженном состоянии" ("Status Constructus"). Сопряженное состояние числительного не позволяет маркировать всю КГ определенным референциальным статусом. В тех случаях, когда необходимо ввести определенный референт, числительное помещается в постпозицию, при этом оно приобретает свойства прилагательного (согласуется с именем в роде и падеже, имплицитно сопряженное состояние существительного), а имя получает префиксальный показатель определенности:

(35)

араб.

'a ʕTa-t	al-bint-u	l-kila:b-a	ssabʕ-at-a
дала	девочка	Def-собака:F.Pl-Acc	Def-семь-F.Sg-Acc
ʕʕiya:r-a		laban-an.	
Def-маленький:F.PL-Acc		молоко-Acc	

Девочка дала молока (этим) семи щенятам.

Таковы основные свойства числительных от *трех* до *десяти*. Числительные от *одинадцати* до *девятнадцати* при образовании КГ также находятся в препозиции, при этом их основной особенностью можно считать то, что они требуют от существительных (и, соответственно, прилагательных) формы единственного числа accusativa, независимо от роли такой ИГ в предикации. Мы не будем разбирать здесь возможные гипотезы происхождения такой "застывшей" формы Acc.Sg, так как данная особенность является уникальным свойством арабского языка¹², а обратим внимание, прежде всего, на форму генитива при числительных от *трех* до *десяти*, столь широко распространенную в КГ языков мира. Интересным свойством арабской КГ является также смена морфосинтаксической стратегии в зависимости от расположения числительного до или после имени, что будет специально обсуждено ниже.

Характерно, что та же генитивная стратегия может использоваться в арабском и при образовании ИГ с партитивной семантикой:

(36)

араб.

a.	kathi:r-u-n	min	al-'awla:d-i
	некоторые-Nom-Indef	из	Def-мальчик:M.Pl-Gen

некоторые из мальчиков

b.	ba'D-u	l-'awla:d-i
	несколько-Nom	Def-мальчик:M.Pl-Gen

несколько мальчиков

Причем в отличие от примера (36a), где используется предложенная конструкция, в случае примера (36b) первый элемент ИГ (*несколько*), точно так же, как и определяемое имя в генитивной группе или числительное в КГ, находится в сопряженном состоянии.

Подытоживая обсуждение тех языков, где числительные проявляют субстантивные свойства, мы должны сказать следующее. Во-первых, генитивная (в широком смысле, сюда же мы относим партитив в финском языке) стратегия отнюдь не уникальна для одного или нескольких генетических или ареально близких языков. Во-вторых (и это свойство, на наш взгляд, является весьма важным) во всех известных нам случаях оформления КГ при помощи генитивной (или, что то же самое, партитивной) конструкции, схожие с числительными свойства обнаруживают такие именные модификаторы, как *много*, *несколько* и т.п., значение которых явным

¹² Эта форма, точно так же, как и форма русского причислительного генитива, является "тяжелым историческим наследием" и может получить объяснение лишь в контексте истории арабского языка.

образом связано с ментальной операцией выбора нескольких объектов из некоторого множества однотипных элементов.

Вполне вероятно, что для описанных в данном пункте языков возможен такой же анализ, который предложил Бэбби для КГ в русском. Однако, для того, чтобы осуществить подобный анализ, необходимо провести гораздо более детальное исследование каждого из вышеперечисленных языков, чем позволяет жанр нашей работы. Поэтому, все, что мы считаем возможным и необходимым сделать, подытоживая обсуждение данного типа КГ, – это обратить внимание на партитивную природу КГ в языках с субстантивными числительными.

2.2.3. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ – ФАКТОР ЛИНЕЙНОГО ПОРЯДКА

В некоторых языках числительные выделяются в особую категорию благодаря своей позиции в именной группе. В нашей выборке подобные свойства наиболее ярко демонстрируют четыре языка: персидский, язгулямский, ассирийский и баскский. В этих языках такие приименные модификаторы, как прилагательное или генитив¹³ располагаются, как правило, после имени, числительные же находятся в препозиции. Препозиция числительных свойственна (как вариант альтернативного порядка слов) и некоторым другим языкам, но в перечисленных выше она соответствует немаркированному расположению элементов. Разберем отдельные случаи более детально.

В персидском языке большинство модификаторов находятся после существительного, при этом последнее приобретает показатель вершинного маркирования (так называемая "изафетная конструкция"):

(37)

перс.

a. meĵ-e sorx
 вино-Ezafe красный

красное вино

b. meĵ-e danešĵu
 вино-Ezafe студент

вино студента

(примеры из [Мельчук 1998])

Числительные же, напротив, располагаются в препозиции и не требуют показателя изафета:

(38)

перс.

se danešĵar
три преподаватель

три преподавателя

Эта особенность объединяет персидские числительные с такими модификаторами, как определенные местоимения и кванторы.

Несколько более сложная ситуация наблюдается в другом иранском языке, язгулямском. Отличие ИГ в язгулямском от персидской ИГ состоит в том, что под влиянием русского языка в нем развивается препозитивный порядок модификаторов. Исходно такие модификаторы, как прилагательное или генитивная группа, располагались в постпозиции, при этом определяемое имя маркировалось показателем изафета. В современном же язгулямском они могут оказываться перед именем, (факульт-

¹³ Ситуация с генитивом в целом более сложная, чем, например, с прилагательным, т.к. его расположение отличается от расположения, например, прилагательного по причинам, связанным с удобством распознавания и восприятия составляющих.

тативно) получая при этом показатель синтаксической связи $-i^{14}$, свидетельствующий об их зависимости от существительного. Числительные и определенные местоимения, которые изначально были препозитивны, не могут получать показателя $-i$. При этом как для числительных, так и для определенных местоимений запрещена возможная для других модификаторов постпозиция.

Расположение модификаторов в ассирийском языке напоминает ситуацию в персидском. В постпозиции здесь находятся прилагательные, посессивные местоимения, генитивы и порядковые числительные. Определенные местоимения и количественные числительные препозитивны (скорее всего, в данном случае можно говорить о подобном порядке модификаторов как об ареальной черте).

К этой же группе мы отнесем и баскский язык, в котором числительные (так же как и определенные местоимения) предшествуют имени, а прилагательные следуют за ним. При этом показатель падежа всегда располагается на крайнем правом элементе, т.е. на имени, или, если оно есть, на прилагательном:

(39)

баск.

aitak	bi	zuhaitz	zaharr-i	adarrak	moztu	zizkien.
отец	два	дерево	старый-Dat	ветки	отрезать	СОР

Отец отрезал ветки у двух старых деревьев.

Возможные причины подобной асимметричности свойств числительных и других модификаторов будут разобраны нами несколько ниже, а здесь мы рассмотрим результаты применения критериев установления синтаксической зависимости для языков рассмотренного типа. Если в ассирийском существует согласование числительного и имени в падеже, то в персидском, язгулямском и баскском падежное согласование числительных с именем отсутствует. Если бы мы не принимали во внимание факторов линейного расположения элементов, то, очевидно, анализ КГ рассмотренных иранских и баскского языков соответствовал бы анализу подтипа А, а ассирийского – подтипа В языков с адъективными числительными (см. выше). Если же учитывать взаимное расположение существительного и таких "безусловных" зависимых имени как прилагательное, то окажется, что, в отличие от языков с адъективными числительными, КГ персидского, язгулямского, ассирийского и баскского расположение элементов не подтверждает вершинности существительного. А именно, принимая во внимание существующий в ИГ этих языков порядок "вершина – зависимое", результирующие данные можно было бы представить следующим образом:

Таблица 10

Числительные как особая категория

	Num	Noun
Семантический Критерий	–	+
Формальные Характеристики	–	+
Линейный порядок (Вспомогательный Критерий)	+	–

2.2.4. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ, ТРЕБУЮЩИЕ НУМЕРАТИВОВ

Ниже мы обсудим так называемые языки с нумеративами или счетными классификаторами. Мы условимся называть **Нумеративами** такие служебные единицы, которые появляются в некотором языке в контексте числительных и являются обязательным элементом КГ. Такая ситуация наблюдается во многих языках Азии

¹⁴ Данная морфема восходит к изафетному показателю, прежде маркировавшему именную вершину в случае наличия у нее зависимых.

(сино-тибетские, австронезийские, австроазиатские, корейский, японский...) и Южной Америки (например, языки майя). Для именных же классификаторов, существующих, например, в языках банту, мы будем употреблять термин **Классификатор**.

Надо заметить, что КГ в языках со счетными словами (или счетными суффиксами), которые мы будем называть **Языки с Нумеративами**, принципиально отличается от КГ в языках с именными классификаторами. Как было показано выше, в языках с классификаторами, например, в суахили, для образования КГ, как и для образования ИГ с прилагательным, требуется выбрать тип классификатора в соответствии с именной основой и маркировать классификатором данного типа имя, а затем, согласовательным классификатором того же типа – числительное. То же самое происходит и с прилагательным: выбирается классификатор, который и присоединяется к имени, и далее, согласовательный классификатор данного типа присоединяется к прилагательному.

Употребление имени без классификатора вообще (если следовать строгой грамматической норме) невозможно. Это значит, что в КГ суахили использование соответствующего (плюралистного) классификатора не привносит информации собственно о классе объекта (эта информация передается и без числительного), а лишь свидетельствует о множественности референтов. Напротив, употребление нумератива в языках с нумеративами имеет место только в КГ, т.е. именно числительные имплицитно сообщают грамматическую информацию о типе исчисляемого объекта.

Кроме того, нумеративы, в отличие от классификаторов плюралистного класса, не способны самостоятельно передавать значения множественности референтов, они передают лишь информацию о типе объекта. Множественные классификаторы же, в дополнение к этой информации, выражают грамматическое значение множественного числа, что следует из того простого факта, что они способны употребляться без числительного, выполняя в таких случаях функции, близкие к функциям граммы числа, скажем, в русском языке.

Здесь мы вкратце опишем два языка с нумеративной стратегией оформления КГ – индонезийский и мыонг, а несколько ниже расскажем о нумеративах в нивхском и японском языках.

В индонезийском числительные не могут присоединяться к именам непосредственно, при построении КГ необходимо использование нумеративов. Исключение составляют КГ с именами меры, *метр, неделя*; именами типа *группа, отряд* (заметим, что этот тип имен, так же, как и предыдущий, выполняет функцию нумеративов); собственно существительные, явившиеся источником образования нумеративов, и абстрактные имена. Все нумеративы имеют аналоги в классе имен: *orang* – "человек" (используется при счете людей), *ekor* – "хвост" (для счета животных), *buah* – "плод" (плоды, крупные предметы), *bidji* – "зерно" (небольшие круглые предметы),... Приведем пример КГ индонезийского языка:

(40)

индонез.

dua	orang	tawanan
два	человек	пленный

два пленных (~ два человека пленных)

В языке мыонг ситуация достаточно схожая. Мы воспользуемся в нашем описании обобщениями, сделанными советско-вьетнамской лингвистической экспедицией [Язык мыонг... 1987], так как, на наш взгляд, они имеют под собой достаточно верные типологические наблюдения. Предоставим слово авторам указанной грамматики:

«Подклассы существительных. Диагностическим критерием для выделения подклассов существительных является их сочетаемость с числительными. Исходя из этого критерия, в языке мыонг можно выделить следующие подклассы существительных:

I. Исчисляемые существительные, сочетающиеся с количественными числительными непосредственно (подкласс 1а) или при помощи классификатора подкласс (1б).

II. Непосредственно неисчисляемые существительные, сочетающиеся с числительными только при помощи мерных слов, но не при помощи классификаторов.

III. Неисчисляемые существительные, не сочетающиеся с числительными.

Исчисляемые существительные, которые сочетаются с числительными непосредственно (подкласс 1а), обозначают либо единицу измерения (*kō'n* – "килограмм", *zo'* – "час"), либо родовое понятие (*nguo'j* – "человек", *tiaj* – "плод")... Все эти существительные могут регулярно или окказионально использоваться как счетные слова (мерные слова или классификаторы), например: *hal ko'n² duo'ng* – "два килограмма сахара", *ba nguo'j mol* – "три человека" (букв. "три – человек – человек"), *hal kō i ta* – "две медсестры" (букв. "два – тетка – медсестра")...

Непосредственно неисчисляемые существительные, обозначающие вещества (подкласс II), сочетаются с числительными с помощью мерных слов (единиц измерения, окказиональных мер, слов типа *laj* – вид, *sort*), например, *tōc kō'n poj* – "один килограмм соли", *hal kōk tak* – "два стакана воды"».

Наиболее важным для нас является сделанное здесь наблюдение о совпадении грамматических функций нумеративов (классификаторов в терминологии авторов, т.е. слов *человек, тетка, плод*...) с таковыми у мерных слов (*килограмм, стакан* и т.д.). Такой вывод можно сделать на основании сходства модели для КГ с участием нумеративов с моделью для ИГ, употребляющихся при подсчете количества неисчисляемого вещества, о чем речь пойдет несколько ниже.

Одним из ярких примеров языков с нумеративами является японский язык: (практически) любое употребление КГ невозможно без специального грамматического элемента¹⁵:

(41)

японск.

go.hon-po eprisu-o kaimas.

пять.HON-Attr карандаш-Асс куплю

Куплю пять карандашей.

Т.е., нумеративы в японском оказываются инкорпорированными в числительное и показатель синтаксической зависимости (Attr) прикрепляется ко всей такой конструкции. Наличие атрибутивизатора свидетельствует о том, что налицо синтаксическое управление со стороны существительного *eprisu, карандаш* комплексом *go.hon, пять* + нумератив HON (см. пример). Сам же аффикс нумератива является показателем согласования (нумеративный показатель числительных в значительной степени напоминает род русских прилагательных: и нумеративы, и показатель рода у прилагательных проводят определенные границы между различными подклассами лексического класса, в обоих случаях – класса существительных). Кроме того, грамматическую нагрузку (падеж) несет в подобных случаях существительное, обозначающее те объекты, которые требуется исчислить (*карандаши* в нашем случае), т.е. такие существительные являются морфосинтаксическим центром.

Заметим, что применение формальных критериев в ряде языков с нумеративами затрудняется тем, что они (как, например, мьянг) являются языками предельно аналитического строя. С другой стороны, в ряде языков (например, японский, нивхский, см. выше) грамматический строй языка вполне позволяет применить указанные критерии. По этой причине неуниверсальные для языков с нумеративами критерии будут даны в скобках.

¹⁵ В настоящее время, по свидетельству некоторых авторов, происходит "вырождение" системы нумеративов и числительные получают возможность употребляться самостоятельно, однако, по нашим данным, употребление нумеративов при счете близко к обязательному и сегодня.

Ниже мы постараемся показать, что анализ нумеративных конструкций помогает установить историю происхождения причислительного генитива в языках типа литовского или русского, а здесь дадим итоговую таблицу применения формальных и семантических критериев к КГ в языках с нумеративами, причем под Noun мы будем подразумевать в данном случае исчисляемое (а не нумеративное!) существительное, а под Num – конструкцию "числительное + нумератив".

Таблица 11

КГ в языках с нумеративной стратегией

	Num	Noun
Семантический Критерий	–	+
Формальные Характеристики:		
Управляющая Лексема	–	–(+)
Контролер Согласования	–	+
Морфосинтаксический Центр	–	–(+)

Как видно из таблицы, в языках с нумеративами и с точки зрения семантических, и с точки зрения формальных критериев кандидатом на роль вершины является скорее существительное, чем числительное.

2.2.5. СОВМЕЩЕНИЕ СТРАТЕГИЙ

Как уже было замечено при обсуждении различных моделей образования КГ, достаточно часто в рамках одного языка имеет место использование при построении КГ более чем одной модели. Различные стратегии могут употребляться:

- a) с разными числительными;
- b) в разных падежных контекстах;
- c) с одними и теми же числительными в одних и тех же падежах для выражения различных прагматических контекстов.

Чаще всего совмещается адъективная стратегия и какой-либо еще вариант кодирования, что подтверждает тезис об адъективной стратегии как наиболее частотной. Так, например, литовский язык, представляющий собой вариант типа a), использует адъективную стратегию для числительных от *одного* до *девяти* и субстантивную – для (десятков и) числительных от *одинадцати* до *девятнадцати*. В осетинском реализуется вариант b) – адъективная и субстантивная стратегии могут употребляться с любыми числительными (напомним, что мы не рассматриваем здесь "чистые" десятки, сотни и тысячи) в зависимости от синтаксической роли КГ в предикации. Русский язык реализует варианты a) и b) одновременно.

Вариант c) и a) осуществляются в арабском языке (см. выше). При этом арабский интересен тем, что в нем оказываются совмещены сразу три модели образования КГ. В случае препозиции числительных субстантивная стратегия дополняется стратегией для числительных как особой грамматической категории, т.е. к генитивному маркированию сопутствует характерное линейное упорядочивание элементов. В случае постпозиции числительные в арабском уподобляются прилагательному.

Отдельного обсуждения заслуживает КГ в нивхском языке, который реализует вариант a), используя для одних числительных (от *шести* до *девяти*) чисто нумеративную стратегию, а для других (от *одного* до *пяти*) – ту же нумеративную стратегию, дополненную особым линейным порядком и элементами субстантивной стратегии. Рассмотрим нивхский материал несколько более подробно (мы используем чрезвычайно детальную характеристику нивхских числительных, предложенную в работе [Панфилов 1962]).

Более корректно при анализе нивхской КГ было бы говорить не о нумеративах, а о различных счетных системах, представленных в этом языке (что и имеет место в традиционных грамматиках). В данном языке существует 26 систем числительных, каждая из которых употребляется при счете лишь определенного рода предметов. Числительные до *пяти* настолько "срослись" с нумеративным показателем, что синхронно выделяются лишь остатки корней соответствующих счетных компонентов (*один – пять*), собственно же нумеративные корни можно выделить далеко не всегда. Для числительных от *шести* до *девяти* нумеративные показатели выделяются достаточно хорошо и, более того, являются в известной степени факультативными. Мы, тем не менее, будем говорить о том, что в нивхском языке имеет место нумеративная стратегия образования КГ, так как диахронический подход позволяет проанализировать все числительные как сочетание показателя количества и нумеративного элемента. При этом нумеративы в современном нивхском употребляются следующим образом: для числительных до *пяти* – регулярно; для числительных от *шести* до *девяти* – не для всех типов предметов и в целом более факультативно.

При сочетании имени с числительным до *пяти*, числительное находится в постпозиции к имени и падежное окончание (так же, как и другие морфологические маркеры ИГ) присоединяется (NB!) только к числительному (располагаясь при этом после нумератива). Для всех числительных от *шести* до *девяти* характерно препозитивное расположение относительно существительного, которое при этом получает показатель падежа, определенности и т.д.:

(42)

нивх.

a.	n'i	n'ivɥ	men-ax	vigud'.
	я	человек	два: Human-Dat.Acc ¹⁶	послал

Я послал двух человек.

b.	n'i	ɲamk	n'ivɥ-ax	vigud'.
	я	семь	человек-Dat.Acc	послал

Я послал семь человек.

В первом из приведенных примеров числительное *два*, употребленное постпозитивно, является морфосинтаксическим центром для всей ИГ в целом, во втором же примере при препозиции числительного (которое здесь употреблено без нумератива, см. выше) морфосинтаксическим центром является имя.

Завершая разговор о различных моделях образования КГ в языках мира, заметим, что подробное рассмотрение некоторых совмещенных стратегий помогает, как мы постараемся показать в части 5, пролить свет на природу и происхождение столь сложных для анализа субстантивных и нумеративных количественных групп.

3. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ И ИСЧИСЛЯЕМОСТЬ

Термин **Нумератив**, как уже говорилось, употребляется для обозначения особого разряда лексических или грамматических единиц, существующего в ряде языков (например, бирманский, китайский, языки майя...) и обязательного при ИГ с числительным. Ниже мы расширим сферу действия этого термина и применим его к языкам с другими типами КГ, так как ИГ со свойствами нумеративных конструкций, на наш взгляд, распространены гораздо более значительно, чем это принято считать традиционно.

Поясним, что мы понимаем под **Нумеративными Конструкциями (НК)**. Нумеративной конструкцией мы будем называть такую КГ, в состав которой входит, кроме числительного и существительного, еще один обязательный лексический или

¹⁶ Дательно-винительный падеж в терминологии Панфилова, см. [Панфилов 1962].

грамматический элемент, без которого было бы невозможно исчисление объекта(ов) данного типа. Проиллюстрируем это определение следующими примерами:

(43)

русск.

два*(мешка) риса

(44)

тат.

ike *(stakan) su

два стакан вода

два *(стакана) воды

(45)

арм.

jerku *(dujl) žur

два ведро вода

два *(ведра) воды

Как видно из приведенных примеров, семантической зоной действия НК являются, в первую очередь, существительные, обозначающие неисчисляемое вещество или недискретные совокупности однородных объектов (*стадо коров, стопка книг...*)¹⁷. Действительно, "посчитать" воду или сахар без того, чтобы определиться с тем, какой мерой мы будем задавать счет, не представляется возможным. Таким образом, мы можем сформулировать следующее типологическое утверждение, которое, насколько нам известно, справедливо для всех языков, исповедующих нунумеративную стратегию образования КГ:

Утверждение I: Сочетание числительного с именем, обозначающим неисчисляемое вещество, невозможно без употребления (лексической или грамматической) единицы, задающей меру количества данного вещества¹⁸.

4. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ И ЧИСЛО

4.1. КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА В КОНТЕКСТЕ КГ

Данная часть посвящена свойствам грамматической категории числа в контексте КГ. Речь пойдет: во-первых, о категории числа у существительного, т.е., так называемой "семантической" категории числа, основной функцией которой является выражение семантического противопоставления один референт / более одного референта; во-вторых, о согласовательной категории числа у модификаторов внутри ИГ, где мы, прежде всего, будем иметь в виду прилагательные, как наиболее часто согласуемый модификатор; и, в-третьих, о согласовании по числу между именем и глаголом. В последнем случае нас будет интересовать сам факт согласования, т.е. мы не будем проводить различия между числовым согласованием субъекта с глаголом в языках аккумулятивного строя с одной стороны и согласованием глагола с абсолютивом в эргативных языках – с другой. Мы также будем учитывать согласование между глаголом и косвенно-объектными ИГ там, где оно имеет место.

Перед тем как начать описание отдельных числовых стратегий, сделаем несколько общих замечаний. Прежде всего, скажем о выражении категории числа у числительных. Категория числа, очевидно, не относится к грамматическим категориям

¹⁷ В весьма важной для нас работе [Кортъевскаја-Тамм 2001] конструкции данного типа обозначаются как (псевдо)партитивные конструкции, (Pseudo) partitive constructions.

¹⁸ Более подробно нунумеративные конструкции и связанные с ними грамматические явления, в том числе числовое согласование, будут нами рассмотрены в дальнейших исследованиях.

числительных, т.к. они выражают идею множественности при помощи собственно основы, т.е. лексически. Однако в ряде языков числительные, получая адъективные флексии, наследуют и выражаемое кумулятивно числовое значение (так обстоит дело, например, в финском или санскрите). Подобное дублирование значений (вызванное тем, что "за неимением лучшей" для обозначения падежа числительных выбирается флексия, уже содержащая информацию о числе) неинформативно и встречается в языках не так часто. Поэтому в целом можно говорить о том, что числительным свойственны такие категории, как падеж, род, определенность; число же гораздо чаще является согласовательной характеристикой прилагательных и определенных местоимений, но не числительных.

Еще одно общее соглашение касается двойственного числа (оно имеет место, например, в арабском, санскрите, эскимосском, финском...). По нашим данным универсальным является следующее правило: если в языке есть двойственное число и его показатель обязателен при обозначении множества из двух предметов, то при сочетании имени с количественным числительным *два* существительное всегда стоит в двойственном числе (см. по этому поводу [Greenberg 1978]). Поэтому мы не будем специально говорить о двойственном числе, а будем всегда иметь в виду, что, обсуждая множественное число в КГ, мы подразумеваем в случае числительного *два* двойственное (разумеется, если такое значение категории числа вообще имеет место в языке).

Из рассмотренных нами 28 языков 14 имеют так называемую плюралисную модель, 11 – сингулярную и 3 языка не имеют грамматической категории числа. Расскажем об этом подробнее.

4.2. ПЛЮРАЛИСНАЯ МОДЕЛЬ

Плюралисной моделью мы будем называть такой способ образования КГ, при котором существительное получает показатель множественного числа. Такова, например, ситуация в русском языке (напомним, что форма существительного при малых числительных в русском также имеет плюралисную семантику, что проявляется, например, в согласовании прилагательных, ср: *три красивые / красивых девушки*). Кроме русского, подобное оформление имеют чешский и болгарский (в последнем по плюралисной стратегии оформляются все имена кроме существительных мужского рода, см. выше), санскрит, хинди, английский, литовский, армянский, ассирийский, арабский, корякский, эскимосский, а также баскский и суахили. Последние два языка заслуживают отдельного описания, и мы вернемся к ним несколько ниже.

Основным свойством данной стратегии является следующее:

Утверждение II: Если в некотором языке существительное в КГ стоит в форме множественного числа, то ту же плюралисную форму будут иметь сказуемое и согласуемые с именем модификаторы.

Естественно, что подобное правило применимо лишь к тем языкам, где согласование указанных членов предложения имеет место. Так, например, в литовском третье лицо глагола вообще не различает числа, поэтому в случае литовского языка говорить о согласовании по числу подлежащей ИГ в третьем лице со сказуемым можно лишь весьма условно. К числу языков, КГ которых не подлежат анализу с точки зрения стратегии числового согласования глагола (но не прилагательного!), стоит отнести и чешский (а также глагольное согласование по Neut. Sg в русском). Для чешского языка (языка с субстантивной стратегией образования КГ) практически обязательно согласование КГ в субъектной позиции по единственному числу среднего рода. Очевидно, здесь мы сталкиваемся с тем же механизмом, который предписывает дефолтное согласование по форме Neut.Sg русской КГ, отличие состоит лишь в том, что чешский не располагает альтернативной стратегией плюралисного глагольного согласования для КГ.

Нетривиален материал арабского языка. Числовое согласование в арабском, который является VSO-языком, можно отследить лишь в некоторых достаточно специфических контекстах. Оно имеет место, например, при сочинении *Мальчик(и) пришел(и)* и *запел(и)*, или точнее, если следовать порядку элементов в арабском, *Пришел(и) мальчик(и) и запел(и)*, где множественное число имени будет предписывать плюралистное согласование. Однако, так как в случае КГ в подобных контекстах как имя, так и глагол должны стоять во множественном числе, мы считаем, что арабский не нарушает общей закономерности, сформулированной выше.

Для баскского языка также существуют особые правила употребления граммымы числа при образовании количественной группы. Они заключаются в том, что при сочетании с числительным имя, как правило, ставится в так называемую "неопределенную форму", соответствующую неопределенному референциальному статусу. причем употребление показателя множественного числа в этом случае оказывается невозможно, ср:

(46)

баск.

a.	aita-k	bi	zuhaitz	zaharr- <u>i</u>	adarr-a-k
	отец-Erg	два	дерево	старый-Dat	ветка-Def-Pl
	moz-tu	di-zki-e-Ø.			
	отрезать-Pst	COP-Nom.Pl-Dat.3.Pl-Erg.3.Sg			

Отец отрезал ветки двум старым деревьям.

b.	aita-k	zuhaitz	zaharr- <u>ei</u>	addarr-a-k
	отец-Erg	дерево	старый-Dat.Pl.Def	ветка-Def-Pl
	moz-tu	di-zki-e-Ø.		
	отрезать-Pst	COP-Nom.Pl-Dat.3.Pl-Erg.3.Sg		

Отец отрезал ветки старым деревьям.

Как можно видеть, граммама числа в случае КГ [пример (46 а)] остается невыраженной (напомним, что все морфосинтаксические характеристики получает в баскском последний член ИГ, в наших примерах – прилагательное *старый*), однако, глагол-связка в обоих случаях согласуется с косвенно-объектной ИГ по множественному числу.

В суахили (как и в других языках банту) категория числа как таковая отсутствует. Вернее, она оказывается совмещенной с показателем класса: существуют так называемые сингулярные и плюралистные именные классы и, при попадании в состав КГ (так же, как и в тех случаях, когда необходимо ввести множество из более чем одного референта без употребления числительного), существительное и все согласуемые с ним члены предложения (т.е. приименные модификаторы и глагол) получают показатель соответствующего плюралистного класса. Значение множественности референтов для многих имен передается переводом существительного из сингулярного класса в соответствующий ему плюралистный. Так, например, существительные, обозначающие одушевленные существа, в случае единственности референта принимают показатель (и имплицитируют согласование по образцу) первого класса, а в случае нескольких референтов – второго. Естественно, существуют многочисленные исключения и образование значения множественного числа в суахили далеко от идеальной картины взаимно-однозначного соответствия между именными классами по числовому признаку. Однако можно, очевидно, говорить о кумулятивном выражении граммымы числа классными показателями, хотя кумулятивность в данном случае и отличается от таковой, например, в русском языке.

4.3. СИНГУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ

В противоположность предыдущей, **Сингулярная модель** предписывает существительному в составе КГ единственное число. Для носителей европейских языков данный факт может показаться странным: в то время как числительное явным образом указывает на множественность референтов, имя, тем не менее, стоит в единственном. Однако можно утверждать, что данный способ образования КГ даже более логичен, чем предыдущий, ведь он позволяет избежать дублирования информации о множественности референтов, уже содержащейся в числительном. В целом сингулярная стратегия образования КГ не менее употребительна, чем плюралисная, в нашей выборке ей соответствуют: багвалинский, цахурский, осетинский, финский, нивхский, татарский, бурятский, малаялам, тамильский, язгулямский, а также персидский языки. Последний представляет особый интерес в рамках данной тематики и будет отдельно обсужден в конце этого пункта.

При описании данной стратегии необходимо сделать одно важное замечание. А именно, если в случае плюралисной модели мы могли говорить об обязательном множественном числе имени как строгом условии правильного образования КГ, то в случае сингулярной стратегии дело обстоит несколько сложнее. По нашим наблюдениям над материалом тех языков, для которых мы обладали достаточной грамматической информацией, если в некотором языке при образовании КГ существительное (как правило) находится в форме единственного числа, то оно может опционально принимать в данном контексте и форму множественного. Степень обязательности формы единственного числа в КГ варьирует от языка к языку. И хотя довольно часто запрет на употребление формы множественного числа в КГ является достаточно строгим (так обстоит дело, например, в тюркских языках), очевидно, что в отличие от строгой плюралисной модели, о сингулярной модели мы можем говорить как о базовой, всегда помня о том, что она в некоторых условиях (в той или иной степени маргинально) может сменяться альтернативной плюралисной.

В тех же терминах необходимо говорить и о согласовательной стратегии в глаголе. Насколько нам известно, в подавляющем большинстве случаев сингулярная стратегия имени коррелирует с сингулярным согласованием ядерных актантов со сказуемым (об отступлении от этой закономерности в персидском будет сказано ниже). Однако, если базовой стратегией глагольного согласования является сингулярная, маргинально возможна также и плюралисная модель.

Итак, на основании наших данных мы можем сформулировать

Утверждение III: Если базовой числовой стратегией при образовании КГ является сингулярная, то согласуемые модификаторы имени (прилагательные, демонстративы ...) и глагол также используют (как правило) базовую сингулярную стратегию.

Примером последовательного сингулярного оформления предикации с КГ может служить следующее багвалинское предложение.

(47)

багв.

o-ʃu-ɾ ʒe: b=uk'a=b=o ek'ə haL'u-ra awal

этот-Obl.M-Erg делать N=быть=N=Conv есть семь-Card дом

hab-da waʃa-ʒ̣.a.

три-Card сын-Obl.M.Dat

Он сделал семь домов для троих сыновей.

Здесь согласование вспомогательного глагола *быть* осуществляется по абсолютной ИГ *семь домов*, причем имя в единственном числе контролирует единственное

число глагола (также в единственном стоит и существительное в ИГ для троих сыновей). Однако в том же багвалинском мы сталкиваемся и с плюралистным оформлением предиката, ср. пример (19) выше.

Итак, в большинстве случаев в тех языках, в которых предпочтительным является употребление в КГ именной формы единственного числа, имя может маргинально стоять во множественном (и тогда форму множественного принимают модификаторы), а для глагола характерно согласование по единственному числу, также иногда нарушаемое в пользу множественного. Столь нестрогий характер сингулярной модели приводит к ее нетривиальной реализации в некоторых языках. Так, в персидском, где имя в КГ принимает форму единственного числа, глагол, тем не менее, всегда стоит во множественном, ср:

(48)
перс.
do nāfār varedeotag šod-änd.
два человек в. комнату приходить-Pl
Два человека вошли в комнату.

Заметим, что, по нашим данным, согласование КГ в персидском с глаголом по единственному числу невозможно. Как же объяснить такое несоответствие между именной формой и формой глагола? Очевидно, что здесь, как и в случае, например, осетинского языка, необходимо говорить об особом статусе КГ. Грамматическую информацию о множественности участников события, которой необходимо располагать для осуществления согласования субъектной ИГ со сказуемым, здесь выражает не форма плюралиса, а само числительное. Сочетание "числительное + имя" (приблизительно) соответствует в данном случае употреблению существительного во множественном числе. Этот, а также некоторые другие интересные аспекты двух моделей согласования мы собираемся обсудить в следующем пункте.

4.4. СОПОСТАВЛЕНИЕ ДВУХ СТРАТЕГИЙ: НАБЛЮДЕНИЯ И ВЫВОДЫ

Итак, из сказанного в двух предыдущих пунктах можно заключить:

Утверждение IV: Либо в КГ контролером согласования / морфосинтаксическим центром с точки зрения грамматической категории числа является имя, либо (иногда) сочетание числительного и имени реализуется как определенное функциональное единство и проявляет особые свойства, отличающие его от других ИГ.

В чем же причина "нестабильного" поведения языков с сингулярной стратегией? Чтобы разобраться в этом, необходимо более подробно обсудить природу категории числа в таких языках.

С точки зрения грамматической категории числа языки делятся на два основных типа. В первом из них при введении более чем одного участника необходимо использовать форму множественного числа существительного, форма же единственного числа соответствует всегда только одному участнику (мы не рассматриваем здесь генерических контекстов типа *Автомобиль требует постоянного ухода = Автомобили требуют постоянного ухода*, где имплицитно присутствуют кванторы *каждый*, *все* и т.п.). Языками такого типа являются русский, английский и некоторые другие индоевропейские языки. Такой тип языков мы будем называть языками с **облигаторным (множественным) числом**.

В языках второго типа употребление показателя множественного числа при обозначении более чем одного участника событий является факультативным, ср:

(49)

тат.

a. malaj kil-de.
мальчик приходит-Pst

Мальчик пришел / Мальчики пришли.

b. malaj-lar kil-de.
мальчик-Pl приходит-Pst

Мальчики пришли.

Такие языки мы будем называть языками с **факультативным (множественным) числом**. Данная стратегия широко распространена в тюркских языках, а также имеет место, например, в языках иранской группы. В отличие от облигаторной стратегии, которая, опять-таки, налагает жесткие требования на употребление числовых форм (т.е. существует четкое взаимно-однозначное соответствие между количеством референтов и формой имени), факультативная стратегия обычно распространена в языке в той или иной степени. Данная особенность проявляется в том, насколько регулярно может употребляться форма единственного числа при введении множества из более чем одного референта. Поэтому в ряде случаев оказывается чрезвычайно сложно определить, к какой из двух числовых стратегий принадлежит некоторый язык.

По нашим данным, выбор плюралисной либо сингулярной модели образования КГ связан с облигаторностью / факультативностью числа следующей импликацией: если в языке имеет место факультативное множественное число, то в нем обязательно реализуется сингулярная стратегия образования КГ. Собственно, в данном случае наши наблюдения лишь подтверждают одну из универсалий Гринберга относительно числительных из [Greenberg 1978]: "В тех языках, где выражение множественности является для существительного факультативным, единственное число может употребляться при числительных более *одного*".

Данная закономерность может быть объяснена следующим образом: факультативность числа означает способность формы единственного в определенном контексте вводить в дискурс более одного референта. Очевидно, что употребление числительного в составе ИГ как раз является таким контекстом. Форма множественного числа оказывается таким образом избыточной в КГ. Если она появляется (а это маргинально может иметь место в некоторых языках), то она уже задает некоторые дополнительные прагматические характеристики ИГ, обсуждение которых выходит за рамки нашей работы.

Языки с облигаторным множественным числом могут соответствовать как плюралисной, так и сингулярной стратегии числового оформления КГ (причем, насколько нам известно, первая реализуется чаще). В первом случае мы можем говорить о том, что в подобных КГ категория числа подвергается воздействию механизма сопоставления признаков (см. выше). В случае языков второго типа, примерами которых могут служить финский или осетинский, сингулярная стратегия согласования КГ с глаголом говорит о том, что и здесь морфосинтаксическим центром является существительное. Казалось бы, можно говорить о том, что сопоставление признаков не срабатывает в количественных группах таких языков. Однако это не так, и КГ языков с облигаторным множественным числом и сингулярной числовой стратегией также демонстрируют общее свойство распространенных ИГ выступать как единый именной комплекс. Это подтверждается случаями употребления с подлежащими КГ множественной числовой формы глагола, также имеющими место в указанных языках.

5. ИТОГИ

5.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ОСНОВАНИИ КРИТЕРИЕВ ВЕРШИННОСТИ / ЗАВИСИМОСТИ

Тот факт, что существительное является **Семантической Вершиной** в КГ, вряд ли требует специальных доказательств. Интересно установить, насколько данные свойства семантической вершины сочетаются у имени в составе КГ со свойствами **Формальной Вершины**. Обсуждение этого вопроса мы кратко подытожим в данном пункте.

На основании Утверждения I мы можем заключить, что универсальным свойством числительных является их способность субкатегоризовывать лексический класс имен, подразделяя его на имена, обозначающие исчисляемые и неисчисляемые объекты. Таким образом, **Критерий Субкатегоризации** для всех естественных языков подтверждает вершинные свойства имени.

Далее, рассмотрение стратегий числового согласования также позволяет достаточно уверенно говорить о том, что с точки зрения данной характеристики контролером согласования и(ли) морфосинтаксическим центром, а, следовательно, и вершиной КГ является существительное (Утверждения II, III и IV). В ряде случаев (см. обсуждение материала персидского и баскского языков) ситуация несколько более сложная, но здесь мы предлагаем анализировать КГ как некоторую цельную составляющую, в которой грамматическую нагрузку по выражению числовой характеристики берут на себя числительные.

Если возвращаться к типологическому рассмотрению внутренней структуры КГ, то, как мы могли убедиться, в большинстве случаев статус существительного как семантической вершины соответствует его положению в КГ как вершины синтаксической. Такую ситуацию мы имеем в языках с адъективными и нумеративными стратегиями (см. Таблицы 8, 9 и 11). Как было показано в части I, в тех случаях, когда числительные обладают субстантивными свойствами, также можно показать, что в сочетании "числительное + существительное" вершиной является имя. Однако, если избегать строгих утверждений для языков данного типа (в которых, как это демонстрирует древнерусский материал, числительное может являться кандидатом на роль формальной вершины ИГ), то можно менее строго и, следовательно, более корректно описать распределение вершинных свойств в КГ следующим образом:

Таблица 12

Вершинные свойства числительного и имени в языках с субстантивной стратегией

	Num	Noun
Семантический Критерий	-	+
Формальные Характеристики	?+?	+
Субкатегоризация	-	+

Далее, как было замечено при обсуждении языков, где числительные демонстрируют отличные от прочих модификаторов свойства (например, персидский, баскский), в таких языках у нас также имеются основания говорить о некоторых вершинных свойствах числительных (связанных в данном случае со вспомогательным фактором линейного порядка, см. Таблицу 10).

В чем же причина отклонения от столь "прозрачной" адъективной стратегии, в которой семантическая и формальная вершинность имени совпадают? На этот вопрос мы постараемся дать ответ в следующей части.

5.2. АСИММЕТРИЯ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ МОДИФИКАТОРОВ: ИСТОЧНИКИ И ДИАХРОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АСИММЕТРИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

М. Колчевская-Тамм в своей работе [Koptjevskaja-Tamm 2001], посвященной свойствам ИГ с партитивной семантикой в балто-славянском ареале, предлагает в качестве объяснения развития стратегии партитивного (=генитивного) маркирования в КГ гипотезу о возможном происхождении КГ в языках с субстантивными числительными из НК. Скажем сразу, что наш анализ во многом совпадает с подходом данного автора. Основное расхождение состоит в том, что в фокусе внимания в нашей работе, в отличие от упомянутой выше, находятся ИГ, содержащие числительные.

Необходимо также отметить, что в терминах партитивности описывал числительные в языках типа русского еще Гринберг (см. [Greenberg 1978]). Естественно, что в соответствии с той задачей, которую решал данный исследователь, т.е. установлением как можно большего количества языковых универсалий, Гринберг не предлагал сколь-нибудь подробного анализа, ограничиваясь лишь констатацией определенных фактов.

Таким образом, мы, сфокусировав внимание именно на КГ, попробуем предложить схему развития асимметричных (по сравнению с другими модификаторами) свойств числительных и попытаемся объяснить причины такой асимметрии.

Партитивная семантика, наряду с выражением количества неисчисляемого вещества, соответствует также значению "подмножество от некоторого множества элементов определенного типа", которое можно продемонстрировать примерами: *группа студентов, ведро яблок, трое из арестованных*, и которое мы далее будем для краткости обозначать как **значение подмножества**. Универсальный способ образования данного значения – употребление генитивной конструкции (как уже говорилось, термин "генитив" мы употребляем в широком смысле, подразумевая под генитивом также падежи типа финского партитива).

Как нам кажется, "отправной точкой" процесса грамматикализации и преобразования **Нумеративной Конструкции** (НК, см. часть 3) в КГ явились конструкции с числительными, имеющие значение подмножества, а именно, ИГ типа *три человека студентов, шесть штук ирисок* и т.д. Числительное в таких конструкциях присоединяется к некоторому семантически пустому имени для того, чтобы вся конструкция получила статус ИГ. Приведенные выше примеры *три человека студентов* и *шесть штук ирисок* совпадают с примерами *группа студентов* и *кулек (горсть...) ирисок* с той лишь разницей, что контекст числительного позволяет задать точную количественную характеристику. Если демонстрировать процесс грамматикализации на примере эволюции русских КГ, то он будет выглядеть примерно следующим образом (примеры ниже являются схематическим отображением диахронических процессов, а не точными аналогами КГ):

(50)

индоевропейск.

пять	гбловы	коров
пять	голова:Pl	корова: Gen.Pl

~ *пять голов коров, пять голов скота.*

Как известно, в индоевропейском числительные от *пяти* до *десяти* проявляли свойства несогласуемых прилагательных, существительное при этом должно было стоять во множественном числе (т.е. реализовывалась адъективная модель Подтипа А с плюралисной числовой стратегией). В праславянском данные числительные приобрели свойства существительных (женского рода), т.е. они требовали Gen.Pl существительного во всех падежах, контролировали согласование с глаголом и согласование приименных модификаторов. Переход от индоевропейской стратегии к праславянской

тивной стратегии (см. также обсуждение материала древнерусского языка в пункте 1.3). Далее происходило аналогичное выравнивание между стратегиями больших и малых числительных по падежам: малые числительные перенимают субстантивную стратегию в номинативе, а большие в косвенных падежах адаптируют адъективную стратегию, что и приводит КГ к ее современному состоянию.

Чрезвычайно интересно также рассмотреть материал тех языков, где на синхронном уровне обнаруживается совмещение двух или нескольких стратегий (см. выше). Очевидно, что подобное совмещение всегда свидетельствует о происходящих в языке изменениях: на смену одним, более древним моделям приходят новые. Ниже мы кратко обсудим материал двух языков, в которых базовые стратегии образования КГ на синхронном уровне, казалось бы, не имеют между собой ничего общего. т.е. один избирает при образовании КГ субстантивную, а другой – нумеративную стратегию. Но, как мы собираемся показать, в основе КГ каждого из данных языков (а этими языками будут арабский и нивхский) лежат одни и те же когнитивные структуры.

В арабском при базовом линейном порядке слов числительные препозитивны и маркируют существительное показателем генитива (см. выше). Однако в ряде случаев возникает возможность постпозиции числительных, которые при этом начинают согласовываться с именем. Напомним, что генитив в арабском также следует за определяемым именем:

(51)

араб.

- | | | |
|----|---------------------------|------------------------|
| a. | al-ban-āt-u | s-sabʕ-at-u |
| | Def-девушка-F.Pl-Nom | Def-семь-F.Sg-Nom |
| | <i>(эти) семь девушек</i> | |
| b. | sabʕ-∅-u | ban-āt-i-n |
| | семь-M.Sg-Nom | девушка-F.Pl-Gen-Indef |
| | <i>семь девушек</i> | |
| c. | maʕmūʕ-u | ban-āt-i-n |
| | группа-Nom | девушка-F.Pl-Gen-Indef |
| | <i>группа девушек.</i> | |

Постпозитивная конструкция (51a), которая, очевидно, соответствует более ранней адъективной стратегии, явилась источником для образования современной препозитивной субстантивной модели (51b). "Перевалочным пунктом" в развитии явилась, опять-таки, НК [т.е. композиция конструкций (51a) и (51c)]. Схематично данный процесс можно изобразить так:

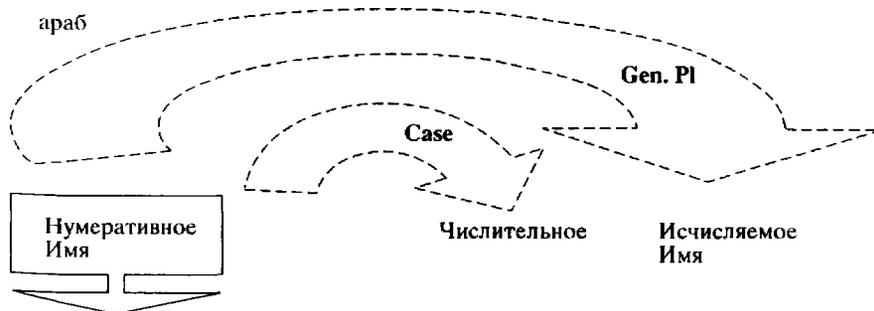


Рис. 3. Схема грамматикализации нумеративной конструкции в количественную группу в арабском

Обозначение "Case" здесь соответствует маркеру падежной роли ИГ в предикации (номинатив, accusativ, генитив в случае арабского). Как мы видим, общий принцип схемы, изображенной на Рис. 2, работает и в данном случае. Единственное отличие состоит в том, что в арабском (насколько нам известно, это происходит не так часто) сингулярная числовая стратегия сменилась плюралисной, являющейся наследием семантики подмножества.

Еще одним языком, сохранившим "следы" развития КГ, является нивхский (см. описание выше). Напомним, что нивхский – язык с нумеративной стратегией образования КГ, в котором числительные до *пяти* располагаются после имени, принимая все морфологические характеристики ИГ в целом. Числительные после *пяти* располагаются препозитивно, и морфосинтаксическим центром в таком случае оказывается имя. Генитив в нивхском также располагается впереди имени (генитивный показатель в этом языке отсутствует, и генитивная группа образуется при помощи простой аппозиции). Итак, числительные до *пяти* в некоторый момент в нивхском языке образовывались по "естественной" препозитивной адъективной модели и образовывали НК с семантикой подмножества (наши утверждения в данном случае не голословны, так как мы следуем здесь В.Е. Панфилову [Панфилов 1962], проводившему специальные исследования в области синхронии и диахронии нивхских числительных):

- (52)
- нивх.
- | | | | |
|----|--------|-----|-----------------|
| a. | mačala | me | n'ivy-dox |
| | парень | два | человек-Dat.Dir |
- ~ к двум человекам парней
- | | | | |
|----|--------|-------------------|--|
| b. | mačala | me.n-dox | |
| | парень | два.Human-Dat.Dir | |
- к двум парням.

Приведенный выше пример (52b) соответствует современному состоянию КГ в нивхском, а пример (52a) моделирует структуру существовавшей некогда НК со значением подмножества. Переход от (52a) к (52b) осуществлялся по уже известной нам схеме, отличие нивхского языка от русского или арабского состоит лишь в том, что в нивхском нумеративное имя не элиминировалось, а грамматикализовалось в показатель нумератива, инкорпорировавшись в числительное (о присутствии бывшего корня *человек* в числительном *два* говорит в примере (52b) согласный *n*). Схема развития КГ в нивхском языке выглядит следующим образом:

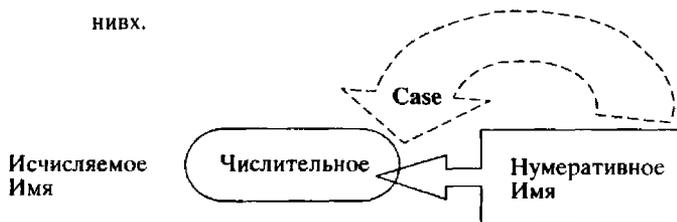


Рис. 4. Схема грамматикализации нумеративной конструкции в количественную группу в нивхском

Итак, как мы видим, несмотря на все различия в структуре КГ в арабском и нивхском языках, отправной точкой в развитии как тех, так и других явились идентичные по структуре и значению НК с семантикой подмножества. Данный факт позволяет нам сделать вывод о тождественности когнитивных структур, лежащих в основе КГ естественных языков.

Когда мы говорим о преобразовании НК с партитивной семантикой в КГ, то мы, конечно, вовсе не утверждаем, что всем КГ в современном русском соответствовали НК с нумеративами определенного типа в древнерусском. Основным нашим тезисом является идея о глубинном сходстве между КГ и НК, сходстве, в основе которого лежат универсальные когнитивные структуры, связанные с выражением партитивных значений. Начавшись благодаря элиминации нумеративного имени, процесс эволюции НК в КГ мог далее проходить благодаря такому диахроническому механизму, как аналогическое выравнивание (иметь общую модель для близких семантических структур всегда проще, чем несколько). Закрепление генитива при маркировании существительного в КГ могло поддерживаться, к тому же, благодаря еще одному источнику. А именно, часто в языке имеет место выражение значения подмножества не при помощи нумеративного имени, а посредством предложной группы, ср. русское *из: пять из мальчиков* и т.п. Очевидно, в таких случаях предлог также мог опускаться, оставая в результате *пять мальчиков* и т.п. Кроме русского *из* похожими свойствами обладает, например, арабский предлог *min* – *из, от* (см. пример (36) в части 2).

Предвидя возражения по поводу того, что процесс грамматикализации КГ рассмотрен нами лишь для языков с "удобным" порядком слов, скажем следующее. Действительно, схема преобразования НК с семантикой подмножества в КГ соответствует в русском эволюции Num_N_Gen → Num_N, в арабском – N_Num_Gen → Num_N, в нивхском – Gen_Num_N → N_Num. Как же при этом описать подобную эволюцию, например, в осетинском языке, где имеет место процесс Gen_Num_N → Num_N, т.е. иконичная связь порядка составляющих, на первый взгляд, нарушается (нормальным было бы преобразование порядка Gen_Num_N в N_Num, как это имеет место в арабском). На помощь здесь приходит способность НК (что можно проследить на примере осетинского или литовского языков) менять базовый порядок слов, ср.:

(53)

осет.

a.	mæʒug-i	ɕurpaɾ	qumem-i
	башня-Gen	четыре	угол-Gen
	<i>четыре угла башни</i>		
b.	ɕurpaɾ	sæɾ-i	Ruɕci-tæ
	четыре	голова-Gen	корова-Nom.Pl
	<i>~ четыре головы коров (скота).</i>		

В примере (53a) здесь приведена стандартная КГ с генитивным зависимым, а в примере (53b) – НК, где, как мы видим, исчисляемое имя, которое, как ожидается, будет получать показатель генитива и располагаться в крайней левой позиции, перемещается в постпозицию по отношению к числительному и теряет показатель генитива. Т.е. процесс эволюции осетинской КГ от адъективной к субстантивной стратегии выглядел следующим образом: *коровы (Gen) четыре голова → четыре голова коровы (Gen) → четыре коровы (Gen)*, причем последняя КГ – *четыре коровы* – столь же употребительна в современном осетинском, сколь и НК *четыре головы (Gen.Pl) коровы (Nom)* (НК имеет место в основном при выражении больших количеств, наш пример с *четыре* в этом отношении здесь несколько условен, хотя и правомерен).

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, как мы надеемся, нам удалось показать, в большинстве случаев статус имени как Семантической Вершины КГ коррелирует с ее статусом как вершины с точки зрения Формальных Характеристик. Случаи отступления от этого правила связаны с выражением (уже развившейся или только еще грамматикализующейся) категории Партитивности. Можно сказать, что несоответствия между семантической и синтаксической вершиной в ИГ встречаются и в ряде других случаев (ср. уже упоминавшиеся *a devil of a fellow, diable d'enfant*). Так, интересным фактом является то, что во многих языках подобные свойства проявляют НК с неисчисляемыми существительными.

Например, формальной вершиной в татарских или армянских аналогах русской ИГ *два ведра воды* будет не существительное *ведро*, а имя *вода*, что абсолютно "неестественно" скажем, для русского или английского языков.

В заключение скажем также несколько слов по поводу того, какая из двух синтаксических моделей, **Грамматика Зависимостей** или **Грамматика Составляющих**, наиболее адекватно описывает структуру ИГ. Как мы неоднократно могли убедиться при рассмотрении морфосинтаксических свойств ИГ в языках разной структуры, характерной особенностью ИГ является их способность выступать как некоторый цельный комплекс, общие свойства которого не сводимы к сумме свойств составных частей. И в этом состоит преимущество ГС. С другой стороны, статус существительного в ИГ как семантической вершины и (в большинстве случаев) вершины с точки зрения формальных характеристик, как мы пытались показать, является объективной языковой реальностью. Таким образом, наш ответ на вопрос: "Составляющие или зависимые?" можно сформулировать следующим образом: Именные группы, являющиеся элементарными синтаксическими единицами, участвующими в построении предложения, демонстрируют внутреннее функциональное единство всех элементов и проявляют себя как **Составляющие**, в которых особый, выделенный статус **Вершины** имеет существительное.

7. ПРИЛОЖЕНИЕ

Сводная таблица типологических свойств КГ

(комментарии см. под таблицей)

Язык	Стратегия образования КГ				Числовая стратегия				Порядок элементов в ИГ		
	A	S	P	N	Noun	Adj	VP	PI	Adj	Gen	Num
англ.	+				PL	---	PL	+	>	<	>
араб.	+	+	+		PL	PL	(PL)	+	<	<	> (<)
арм.	+				PL	---	PL	+	>	>	>
ассир.			+		PL	PL	PL	+	<	<	>
багв.	+				SG	SG	SG(PL)	?+	>	>	>
баск.			+		≠SG, PL	---	PL	+	<	>	>
болг.	+	+			PL	PL	PL	+	>	<	>
бурят.	+				SG(PL)	---	SG(PL)	-	>	>	>
индонез.				+	SG	---	---	---	<	<	> (<)
корякск.	+				PL	---	PL	?	>	>	>
лит.	+	+			PL	PL	---	+	>	>	>
малаял.	+		+		SG(PL)	---	---	-	>	>	> (<)
мыонг.				+	---	---	---	---	<	<	>
нивх.		+	+	+	SG(PL)	---	SG(PL)	-	>	>	> (<)
осет.	+	+			SG(PL)	---	SG(PL)	+	>	>	>
перс.			+		SG	---	PL	-	<	<	>
русск.	+	+			PL	PL	PL(3SG)	+	>	<	>
санскр.	+				PL	PL	PL	+	>	<	>
суах.	+				PL	PL	PL	+	<	<	<
тамил.	+		+		SG(PL)	---	SG(PL)	-	>	>	> (<)
тат.	+				SG	---	SG(PL)	-	>	>	>
финск.	+	+			SG(PL)	SG	SG(PL)	+	>	>	>
хинди	+				PL	PL	PL	+	>	>	>
цах.	+				SG(PL)	SG(PL)	SG(PL)	?+	>	>	>
чешск.	+	+			PL	PL	3SG=PL	+	>	<	>
эск.	+				PL	PL	PL	+	>	>	>
язгул.	+		+		SG(PL)	---	SG(PL)	-	> (<)	> (<)	>
японск.				+	---	---	---	---	>	>	>

Пояснения к таблице

В круглых скобках приводится альтернативный вариант стратегий/порядка. Вопросительный знак указывает на недостаток данных.

Столбец 'Стратегия образования КГ' описывает существующие в языке стратегии образования количественной группы. Обозначения А – адекативная стратегия, S – субстантивная, P – (particular) числительное сочетается с именем по особой стратегии, N – нумеративная.

Столбец 'Числовая стратегия' описывает особенности числового оформления существительных в составе КГ и стратегии числового согласования внутри и вне ИГ¹⁹. Под множественным подразумевается также и двойственное число. В подстолбце 'Pl' приводится характер категории числа: '+' – обязательное, "-" – факультативное.

Столбец 'Порядок элементов ИГ' содержит информацию о расположении прилагательных генитивных зависимых и числительных по отношению к имени в ИГ: > – препозиция, < – постпозиция.

*Грамматические показатели присоединяются к последнему элементу в ИГ.

Источником информации о грамматических свойствах языков являлся в ряде случаев (арабский, армянский, багвалинский, баскский, литовский, татарский, чешский) опрос носителей. Данные по другим языкам были взяты из следующих источников (см библиографию): ассирийский – [Церетели 1964]; болгарский – [Безинович, Гордова-Рыбальченко 1957], бурятский – [Бертагаев, Цыдендамбаев 1962], индонезийский – [Алиева, Арансен, Оглоблин, Сирк 1972], корякский – [Языки мира 1997], малайялам – [Андронов 1993], мьянг – [Материалы советско-вьетнамской лингвистической экспедиции 1979 г. Язык мьянг 1987], нивхский – [Панфилов 1962], осетинский – [Багаев 1965, Исаев 1962, Миллер 1962], персидский – [Рубинчик 1960, Смирнова 1974], санскрит – [Зализняк 1996, Кочергина 1998], суахили – [Громова, Охотина 1995, Мячина 1960], тамильский – [Андронов 1987, 1960], финский – [Kortjevskaja-Tamm 2001, Kortjevskaja-Tamm, Bernhard 2001], хинди – [Чернышев 1965], цахурский – [Элементы цахурского языка в типологическом освещении 1999], эскимосский – [Меновщиков 1962], язгулямский – [Эдельман 1966]; японский – [Головнин 1986, Учебник японского языка 1997]*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алиева И В, Арансен В Д, Оглоблин А К, Сирк Ю Х 1972 – Грамматика индонезийского языка М, 1972
Андронов М С 1960 – Тамильский язык М, 1960
Андронов М С 1987 – Грамматика тамильского языка М, 1987
Андронов М С 1993 – Язык малайялам М, 1993
Багаев Н К 1965 – Современный осетинский язык Ч 1 Орджоникидзе, 1965
Безинович Е И, Гордова Рыбальченко Т П 1957 – Болгарский язык Л, 1957
Бертагаев Т А, Цыдендамбаев Ц Б 1962 – Грамматика бурятского языка Синтаксис М, 1962
Головнин И В 1986 – Грамматика современного японского языка М, 1986
Гринберг Дж 1999 – Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Зарубежная лингвистика II М, 1999
Громова Н В, Охотина Н В 1995 – Теоретическая грамматика языка суахили М, 1995
Зализняк А А 1996 – Грамматический очерк санскрита // Кочергина В А. Санскритско-русский словарь М, 1996
Иванов В В 1983 – Историческая грамматика русского языка М, 1983
Исаев М И 1962 – Дигорский диалект осетинского языка. Фонетика. Морфология М, 1962

¹⁹ В соответствии с описанием стратегий числового согласования в главе Числительные и Число, можно утверждать, что в тех случаях, когда в таблице стоит 'Sg', скорее всего имеет место "Sg(Pl)", однако достоверных свидетельств этого нам неизвестно.

* Автор выражает искреннюю признательность Александру Евгеньевичу Кибрику за помощь в подготовке данной работы и за бесценное научное и личностное влияние.

- Исакадзе Н В* 1999 – Отражение морфологии и референциальной семантики именной группы в формальном синтаксисе Дис канд филол наук 1999
- Кибрик А Е* 1992 – Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания М, 1992
- Кочергина В А* 1998 – Учебник санскрита М, 1998
- Мельчук И А* 1985 – Поверхностный синтаксис русских числовых выражений Вена, 1985
- Мельчук И А* 1998 – Курс общей морфологии Т II (Часть вторая Морфологические значения) Москва, Вена, 1998
- Меновщиков Г А* 1962 – Грамматика языка азиатских эскимосов Ч I М, Л, 1962
- Миллер В Ф* 1962 – Язык осетин М, Л, 1962
- Мячина Е Н* 1960 – Язык суахили М, 1960
- Панфилов В З* 1962 – Грамматика нивхского языка Ч I, М, Л, 1962
- Рубинчик Ю А* 1960 – Современный персидский язык М, 1960
- Смирнова И А* 1974 – Формы числа имени в иранских языках Л 1974
- Учебник японского языка 1997 – Учебник японского языка // Под ред И В Головнина М 1997
- Цертели К Э* 1964 – Современный ассирийский язык М, 1964
- Чернышев В А* 1965 – Синтаксис простого предложения в хинди М, 1965
- Эдельман Д И* 1966 – Язгулямский язык М, 1966
- Элементы цахурского языка в типологическом освещении 1999 – Элементы цахурского языка в типологическом освещении // Под ред А Е Кибрика, Я Г Тестельца М, 1999
- Языки мира 1997 – Языки мира Палеоазиатские языки М 1997
- Язык мьонг 1987 – Язык мьонг Материалы советско-вьетнамской лингвистической экспедиции 1979 г М, 1987
- Babby L H* 1985 – Prepositional quantifiers and the direct case condition in Russian // Flier M S, Brecht R D (eds) Issues in Russian morphosyntax Columbus, Ohio, 1985
- Babby L H* 1987 – Case Prequantifiers and discontinuous agreement in Russia // Natural language and linguistic theory V 5 1, 91–139 1987
- Cann R* 1993 – Patterns of headedness // Corbett G G, Fraser N M, McGlashan S (eds) Heads in grammatical theory Cambridge, 1993
- Corbett G G* 1993 – The head of Russian numeral expressions // Corbett G G, Fraser N M, McGlashan S (eds) Heads in grammatical theory Cambridge, 1993
- Givon T* 1989 – Syntax A functional-typological introduction V II Amsterdam, 1989
- Greenberg J H* 1978 – Generalizations about numeral systems // Greenberg (ed) Universals of human language V 3, Word structure, Stanford, 1978
- Hudson R A* 1980a – Constituency and dependency // Linguistics V 18 № 3/4 1980
- Hudson R A* 1980b – A second attack on constituency a reply to Dahl // Linguistics V 18 № 5/6 1980
- Hudson R A* 1993 – Do we have heads in our minds // Corbett G G, Fraser N M, McGlashan S (eds) Heads in grammatical theory Cambridge, 1993
- Koptjevskaja-Tamm M, Bernhard W* 2001 – The Circum Baltic languages an areal typological approach // Dahl, Osten, M Koptjevskaja-Tamm (eds) Amsterdam, 2001
- Koptjevskaja-Tamm M* 2001 – A piece of the cake' and 'a cup of tea' partitive and pseudo-partitive nominal constructions in the circum-baltic languages // Dahl, Osten, Koptjevskaja-Tamm M (eds) The Circum-Baltic languages typology and contacts Amsterdam, 2001
- Nichols J* 1986 – Head-marking and dependent-marking grammar // Language V 62 № 1 1986
- Payne J* 1993 – The headedness of noun phrases slaying the nominal hydra // Corbett G G, Fraser N M, McGlashan S (eds) Heads in grammatical theory Cambridge, 1993
- Radford A* 1993 – Head hunting on the trail of the nominal Janus // Corbett G G, Fraser N M, McGlashan S (eds) Heads in grammatical theory Cambridge, 1993
- Zwicky A M* 1985 – Heads // Journal of linguistics № 21 1985

© 2002 г. М.М. МАКОВСКИЙ

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ КОРЕНЬ: ФОРМА И ЗНАЧЕНИЕ

*Je näher man ein Wort ansieht,
desto ferner sieht es zur ück.*

K. Kraus

В "Этимологическом словаре индоевропейских языков" Ю. Покорного [Рокоты 1959] целый ряд внешне одинаковых корней, имеющих различные значения, подаются как о м о н и м ы. Таковы и.-е. *ei- "Farbe"; *ei- "Stange"; *ei- "sich bewegen"; *eg- "brennen" / *ag- "brennen" – *eg- "sprechen" – *eg- "Mangel"; *au- "frechten, weben" – *au – "sprechen" – *au – "gern haben" – *au- "sinnlich wahrnehmen, auffassen" – *au(e) – "benetzen, befeuchten; fließen" – *au- "sich mühen, anstrengen" – *au(ē) – "wehen, blasen, hauchen"; *el- "treiben, in Bewegung setzen" – *el- "ruhen"; *yer- "binden" – *yer- "hoch" – *yer- "finden, nehmen" – *yer- "feierlich sagen, sprechen" – *yer- "aufreißen" – *yer- "gewahren, achtgeben" – *yer- "brennen" – *yer- "Eichhorn"; и.-е. *ker- "schreien" – *ker- "brennen" – *ker- "schneiden" – *ker- "das Oberste am Körper" – *ker- "wachsen" – *ker- "verderben, schädigen"; *pel- "gießen, fließen" – *pel- "stoßend oder schlagend in Bewegung setzen, treiben" – *pel- "verdecken, verhüllen" – *pel- "verkaufen; verdienen"; *pel- "grau, fahl" – *pel- "brennen" и др. С другой стороны, корни, отличающиеся только начальным элементом, считаются с и н о н и м а м и, например, и.-е. *bhel- "biegen" – *ghel- "biegen" – *sel- "biegen" – *tel- "biegen". Однако в первом случае перед нами один и тот же корень, в котором отражаются закономерные семантические переходы: ср. "гореть" – "двигаться" (об огне) – "говорить" < "сплестать звуки" < "гнуть", гибать" (о языках пламени) – "вода" (плетение вод) – "огонь" (плетение пламени) – "брать, схватить" (об огне, "берущем" жертвоприношение) – "купить / продать" (в древности любая сделка сопровождалась преломлением ветви) – "расти, вздыматься" (об огне) – "резать" ("жечь": об огне) – "скрывать, окутывать" (об огне, в который бросают поленья или жертвоприношение) – "краска" ("чакры", цветные круги горящего огня) – "вредить" (об огне, сжигающем урожай или деревню) – "высокий; верх" (о вздымающемся ввысь сакральном огне) – "понимать" (букв. "схватить умом или чувствами": ср. и.-е. *au- – *keu- "wahrnehmen") – "напрягаться" (о рвущемся ввысь огне) – "отсутствие, пустота" (выгибаться вверх и прогибаться вниз: об огне; ср. семантический переход – "двигаться" – "пустота": Пустота как первичный источник Движения [Маковский 2000: 121])¹ – "белка", букв. "быстро двигающаяся". Во втором случае перед нами также один и тот же корень *el-/al- "гнуть" с различными преформантами, т.е. и в этом случае нельзя говорить о р а з л и ч н ы х к о р н я х. В отношении первого из приведенных случаев О.Н. Трубачев еще в 1985 г.

¹ Относительно перехода значений "гореть" – "пустой" ср.: и.-е. *eus- "гореть", но и.-е. *eu- "пустой"; и.-е. *ar-/er- "гореть", но нем. l-eer "пустой"; и.-е. *eus- "гореть", но и.-е. *t-eus "leeren"; и.-е. *bh-er- "brennen" (ср. *er-/ar- "brennen"), но нем. bar "пустой, голый"; и.-е. *g-hel- "гореть" (ср. и.-е. *el-/al- "гореть"), но русск. голый; и.-е. *eg-/ag- "brennen", но др.-инд. r-ic "leeren"; русск. ну-стой, но и.-е. *reu*ri "гореть"; и.-е. *eus – "гореть".

отмечал необходимость отличать омонимы подлинные от омонимов ложных [Трубачев 1985; ср. Мониц 1999]. В отношении второго случая следует отметить, что лингвистами в основном изучались возможности так называемого *s-mobile*, а особенности других преформантов изучались слабо [Colinet 1892; Clark 1979; Edgerton 1959; Ehrismann 1890; Hollander 1905; Schrijnen 1891; 1908; Petsson 1891; 1912]. В настоящей статье будут подробно рассмотрены некоторые индоевропейские корни, которые в словаре Ю. Покорного считаются различными корнями, но которые при ближайшем исследовании оказываются одним и тем же корнем; речь идет как о корнях с различными преформантами, так и о корнях с различными детерминативами.

Рассмотрим и.-е. корень **ai-* "гореть". Нет сомнения в том, что и.-е. **ai-* "давать" – это не отдельный корень, как утверждает в словаре Ю. Покорного, а тот же корень, что и **ai-* "гореть" и буквально означает "давать жертвоприношения огню"; и.-е. **ais-* "бояться (божество), поклоняться (божеству)" отражает культ Огня (Огонь как Божество, которому поклоняются и которого боятся), т.е. и здесь перед нами тот же корень **ai-* "гореть"; и.-е. корень **aig-* "коза" также включает в себя и.-е. **ai-* "гореть" (коза – обычный предмет жертвоприношения); и.-е. **ai-* "речь; говорить" также непосредственно соотносится с и.-е. **ai-* "гореть" и буквально означает "сплетать звуки, сплетать слова" (подобно сплетению языков пламени); тот же корень встречается в и.-е. **s-ei-* "связывать" и и.-е. **l-ei-g* "связывать" (ср. греч. λέγειν "говорить" и др.-англ. *lieg* "огонь"). Интересно также сопоставить и.-е. **ei-* "шест" (букв. "огненная вертикаль") и и.-е. **ei-* "краска" (букв. "чакра горящего сакрального огня", один из цветковых кругов горящего огня), а также **ei-* "двигаться" (о движении огня). Корень **ai-* "гореть" содержится также в и.-е. **aier-* "утро". Встречается целый ряд форм от и.-е. **ai-* с расширителем: эти формы также нельзя признать самостоятельными корнями: ср. и.-е. **abh-* "rasch, heftig" (**ai-* + *bh*); **al-/*el-* "brennen" (**ai-* + *l*); **ag-* "brennen; Feuer"; **ap-* "fassen" (об огне); **ar-* "Feuer; brennen"; **ar-* "мужчина, мужской" (огонь как мужское начало; ср., однако, тох. *A war* "вода" – мужчина как "оплодотворяющий жидкостью" или как "связующий поколения": как огонь, так и вода в древности понимались как плетение; ср. также тох. *A wir* "новый, молодой": огонь как омолаживающее начало – ср. и.-е. **uer-* "гореть, огонь", которое образовано от **ar-* "гореть, огонь"; далее следует учесть и.-е. **ar-* "периферийный, далекий": об огне, достигающем небес). С корнем **ai-* связаны и все якобы омонимичные корни **au-*, приводимые в словаре Ю. Покорного: в действительности перед нами один и тот же корень: ср. и.-е. **au-* "flechten"; **au-* "benetzen, befeuchten" (плетение вод), а также **au-* "гореть" (плетение языков пламени): ср. лат. *aurora*; ср. далес и.-е. **au-* "sinnlich wahrnehmen, auffassen" (букв. "схватить умом или чувствами, подобно тому, как огонь схватывает все, что в него бросают"). Интересы формы с преформантами от этого корня: и.-е. **bh-eu-* "schwellen" > "sein", и.-е. **d-au-* "brennen"; "verletzen" и **d-ē-* "binden", а также и.-е. **geu-* "гнуть", и.-е. **gau-* "радоваться" (букв. "сжимать, сгибать мышцы лица", а также "сгибать руки и ноги при сакральном танце"); ср. еще и.-е. **gheu-* "лить" (букв. "наклонять, нагибать для того, чтобы лить"). Корень **ai-* "гореть, сплетать языки пламени" при соединении с расширителем дает и.-е. **ad-* "ordnen, festsetzen"² (букв. "связывать, устанавливать Гармонию"), и.-е. **bhā-* "brennen" и и.-е. **bhā-* "sprechen", а также и.-е. **an-* "душа" (в древности душа отождествлялась с огнем); ср. также и.-е. **at-* "gehen, sich bewegen"; "Jahr"; и.-е. **as-* "brennen". Следует иметь в виду, что значения "резать, разрывать" и "гнуть, соединять" синкретично соединялись друг с другом в индоевропейском. В связи с этим следует учесть и.-е. **ak-* "резать, острый"; и.-е. **je-g* "verbinden": ср. и.-е. **jek-* "heilen"

² Ср. др.-англ. *ād* "огонь, костер".

(прикосновение или сгибание как символ снятия чар); **jegua-* "Kraft, Jugendkraft" (прикосновение или сгибание как символ магической силы): ср. и.-е. **l-ek-* "лечить". Понятие Огня (ср. и.-е. **ak-* "резать, обжигать, жечь": **ag-* "гореть") отражается также в и.-е. **d-eik-* "показывать", и.-е. **s-eg-* "видеть", **r-eg-* "видеть" (букв. "освещать огнем"), и.-е. **dh-egh-* "brennen", **bh-ok-* "brennen": ср. кельт. **m-og-* "Feuer", и.-е. **s-eg-* "brennen" (ср. осет. *sugun* "brennen").

Значение "есть, глотать" непосредственно соотносится со значением "гореть; огонь" (огонь "съедает" жертвоприношение): ср. и.-е. **er-/ar-* "гореть", но и.-е. **gh-er-* "есть, съедать"; и.-е. **ad-/ed-* "гореть", но также "есть, съедать"; ср. русск. *n-um-atsya*; и.-е. **as-/os-* "гореть", но и.-е. **ghōs-* "есть, съедать"; **el-/al-* "гореть", но и.-е. **su-el-* "есть, съедать" (ср. и.-е. **su-* "гореть"); и.-е. **hh-er-* "гореть" (ср. и.-е. **er-/ar-* "гореть"), но и.-е. **hh-er-* "есть, питаться". Можно отметить далее соотношение значений "гореть" – "рожать"; ср. и.-е. **hh-er-* "гореть" (и.-е. **er-/ar-* "гореть"), но и.-е. **hh-er-* "рожать"; и.-е. **em-/am-* "гореть", но тох. *A-tām* "рожать"; и.-е. **eg-/eg-* "гореть", но и.-е. **t-ek-* "рожать"; др.-англ. *ād* "огонь, костер", но др.-англ. *t-ud-ran* "родить" (ср. англ. диал. *to ted* "разбрасывать").

Значение "гореть" может соотноситься также со значением "вещество, вещь": ср. и.-е. **l-ei-* "гнуть" > "гореть", но латышск. *l-ie-ta* "вещь, вещество"; (ср. и.-е. **ei-/ai-* "гореть"); и.-е. **dhegh-* "гореть" (и.-е. **eg-* "гореть"), но нем. *Ding* "вещь"; и.-е. **uer-* "гореть" (также "говорить"), но тох. *A wr-am* "вещь" (и.-е. **er-/ar-* "гореть" > **uer-* "гореть"); и.-е. **es-/as-* "гореть" < и.-е. **ei-s*, **ai-s* "гореть", но и.-е. *r-es* "вещь" (ср. **rei-* "Besitz, Sache"); и.-е. **eg-/ag-* "гореть", но нем. *S-ache* "вещь". К тому же корню относится с и.-е. **u-ek-* "вещь", русск. *вещь*; ср. еще: греч. *χρῆμα* "вещь", но и.-е. **k-er-* "гореть"; оскск. *eg-mo* "вещь", но и.-е. **eg-/ag-* "гореть" (**ei-/ai-* "brennen" + *g*).

Значение "гореть" может также соотноситься со значением "переплетаться" > "сила, сильный": ср. и.-е. **el-/al-* "гореть", но русск. *с-ила* (ср. нем. *S-eele*, прусск. *zeilins* "чувства"); к тому же корню относится и **m-el-* "сильный", др.-инд. *h-ala* "сила", а также литовск. *g-al-ià* "сила"; и.-е. **keu-* "гореть" < и.-е. **eu-/au-* "гореть", но др.-инд. *śavas* "сила"; и.-е. **ag-/og-* "Feuer": кельт. **m-ag-/m-og-* "Feuer", но русск. *мощь*, *мощный*, гот. *m-agan* "мочь": ср. др.-инд. *ojas* "сила"; русск. диал. *сн-ага* "сила": литов. *jėga* "сила"; др.-англ. *ād* "Feuer", но ирл. *l-aid-ir* "сила"; и.-е. **er-/ar-* "гореть", но др.-сев. *ḡ-re-kr* "сила", ирл. *t-re-n* "сила".

Слова со значением "делать, производить" часто соотносятся со значением "гореть, огонь" (букв. "работать около сакрального огня, совершать сакральное действие"): ср. и.-е. **er-/ar-* "гореть", но шведск. *g-öra* "делать, совершать", и.-е. **k-er* "делать, совершать" (и одновременно "издавать звуки": ср. [Абаев 1988]); арм. *arel* "делать"; ср. и.-е. **u-er-* "делать, совершать" и также "гореть": индо-арийск. **ra-pp-* "огонь", русск. *ра-бота*, нем. *Ar-beit*; латышск. *d-ar-ūt* "делать"; и.-е. **au-* "плести, сплетать; гореть", но гот. *t-au-jan* "делать, совершать"; лат. *f-ac-ere* "делать", но и.-е. **ag-/ak-* "делать, совершать".

Слова со значением "краска" могут соотноситься со значением "огонь, гореть" (цветовые круги огня), а также со значением "волос" (языки пламени): ср. и.-е. **ad-* "гореть", но ирл. *d-ath* "цвет, краска", др.-сев. *l-itṛ* "краска, цвет" и кельтск. **g-ait-* "волосы", греч. *χαίτη* "волосы"³; и.-е. **ag-* "гореть", но и.-е. **dh-egh-* "гореть" и гот. *t-ag-l* "волосы": др.-англ. *f-ah* "волосы"; лат. *n-ig-er* "черный", валлийск. *c-och* "красный"; и.-е. **el-* "гореть", но и.-е. **m-el-/p-el-* "краска".

Значение "человек, мужчина" может соотноситься со значением "гореть" (человек как огненная вертикаль): ср. и.-е. **ar-* "гореть", но авест. *nairya-* "мужской": и.-е. **ar-* "мужчина; мужской": герм. **k-er-lā*; русск. *человек*, но и.-е. **k-el-* "гореть" (ср. без преформанта: и.-е. **el-* "гореть") + и.-е. **u-ek-* "гореть" (ср. др.-в.-нем. *w-ah-an* "гореть"

³ Ср. также др.-сев. *l-oð* "волосы, мех": литовск. *j-uod-as* "черный".

⁴ Ср. др.-инд. *p-ur-usa-* "человек": и.-е. *hh-er-* "гореть", но алб. *h-urrë* "человек"; и.-е. **m-er-* "человек".

и без преформанта: и.-е. *eg- "гореть"); и.-е. *an- "огонь; душа", но англ. *m-an* "человек": др.-сев. *lj-on-ar* "люди".

С другой стороны, понятие огня тесно связано с понятием воды: человек описывается метафорой "оплодотворяющий жидкостью": ср. др.-англ. *rinc* "человек, мужчина": и.-е. *r-eg- "жидкость; мочить", но лат. *aqua* "вода": ср. др.-англ. *s-ecg* "человек, мужчина": и.-е. *m-aq- "feucht"; и.-е. *ar- "огонь": тох. А *w-ar* "вода": англ. диал. *p-err-y* "ливень": тох. А *p-ärs*- "лить, мочить", но и.-е. *m-er- "человек": лат. *v-ir* "человек": и.-е. *p-er- "человек, мужчина"; и.-е. *ad-/*ed-/*yed- "feucht", но др.-сев. *m-adr* "человек, мужчина", и.-е. *au- "вода", но др.-инд. *bh-ava "мужчина".

Слова со значением "гора" также связаны со значением "гореть" (вздвигаться ввысь подобно огню): ср. тох. А *š-ul* "гора", но и.-е. *el- "гореть"; ср. литовск. *k-al-nas* "гора"; и.-е. *ar- "гореть" – русск. *г-ор-еть* и русск. *г-ор-а*; и.-е. *el- "гореть", но др.-сев. *fj-all* "гора".

Слова со значением "быть, жить" соотносятся со значением "гнуть, выгибать" > "гореть": ср. и.-е. *au-/*eu- "гнуть, гореть", но и.-е. *bh-eu- "быть, жить": и.-е. *ai-/*ei- "гореть", но и.-е. *g^u-ei- "жить"; и.-е. *as-/*es- "гореть" > "быть", но хет. *k-iš-a* "быть, существовать": тох. А *m-äs-k* "быть, существовать".

Согласно древним поверьям, душа человека во время сна "отрывается" от тела: в связи с этим большинство индоевропейских слов со значением "спать" соотносится со значением "отрывать": ср. и.-е. *er- "отрывать": и.-е. *k-er- "отрывать", но греч. *κάρω* "заснуть"; и.-е. *d-er- "отрывать" (ср. русск. *драть*), но др.-инд. *d-rā-ti "спать".

Непосредственно соотносятся между собой такие индоевропейские корни, как: *eus-(*au-) "brennen" – *heu-/*bheu- "schwellen" – *dau- "brennen": *geu – "biegen": *keu- "schneiden" / "brennen"; *leu- "brennen"; *meu- "sich bewegen"; *peu- "schneiden" (vom Feuer): *reu- "aufreißen"; *seu- "sieden, heftig bewegt sein"; *teu- "schwellen", а также: и.-е. *er-/*ar- "brennen"; *bher- "brennen" (*bher- "Farbe"): *der- "schneiden, schinden" (ср. *der- "laufen, sich schnell bewegen"): *gher- "brennen" (*gers- "biegen"); *ker- "brennen" (ср. *ker- "das Oberste am Körper"): арм. *ler* "гopa": *mer- "reiben, aufreiben" (*mer- "Farbe"): *mer- "flechten, binden": *per- "schneiden": *ser- "sich rasch bewegen", *ser- "binden, knüpfen": *ter- "schneiden"; *el-/*al- "brennen": *bhel- "brennen" (др.-англ. *bel* "Feuer", нем. диал. *Böli* "Feuer"): *del- "schneiden, spalten": *gel- "verschlingen" (vom Feuer): *ghel- "brennen": *kel- "brennen": *mel- "schlagen, zerreiben" (*mel- "stark, groß"; *mel- "Farbe"): *pel- "brennen" (*pel- "brennen"; "Farbe"): *sel- "nehmen, ergreifen" (vom Feuer): *sel- "Brett" (огненная вертикаль, олицетворяемая священным шестом); *tel- "aufheben" (vom Feuer), ср. индо-арийск. *tal- "brennen"; и.-е. *at(e)r- "Feuer": *at- "gehen; Jahr"; *u- et- "Jahr": *bhat- "schlagen, stoßen" (> "in Bewegung setzen"): *gatis "way, course" (Mann: 266): *kat- "Kampf": *lat- "feucht" (единство понятий "огонь" и "вода"): *mat- "good, big" (метафора огня); *mat- "snake" (метафора огня): *nad- "feucht": *natris- "grass-snake, adder" (Mann, s.v.): *pat- "cut, split": *pat- "space": *pat- "protect, foster, feed": *pat- "suffer": *ratis "good, generous" (метафора огня): *rtis- "tip, top" (Mann, s.v.): *sat- "evil" (метафора огня): *tat- "theft, thief" (метафора огня, "берущего" жертвоприношения); *uat- "biegen"⁵; ср. далее: и.-е. *an- "огонь" / "душа", а также "предок" (предок представлялся в древности в виде души): ans- "wohlgeneigt, gütig sein" (метафора огня): *bhen- "ударять, высекать" (огонь): *dhen- "schlagen, stoßen"; "laufen, fließen" (vom Feuer): *ghen- "reiben, zerreiben": *ken- "reiben, zerreiben"; "zusammendrücken": "frisch hervorkommen" (vom Feuer); *men- "reiben; zusammendrücken": *men- "Geist, Verstand" ("Feuer"): *pen- "füttern; Nahrung" (vom Feuer): *renos "narrow, slim, tapering" (of fire); *sen- "Gewinnung, Erwerb"; *senos "image"; *ten- "sich dehnen" (vom Feuer); *uan-/*uen- "schlagen"; *uen- "verlangen" (сакральный огонь "жаждет" жертвоприношения)⁶; *el- "гореть" – *dhel- "длинный" (об огне) – русск. *по-длинный* (очищенный огнем).

⁵ Ср. также гот. *matjan* "essen" (огонь "съедает" все, что в него бросают).

⁶ Ср. также и.-е. *en- "Jahr" (движение времени уподоблялось движению огня).

Совершенно особое место при анализе индоевропейского корня занимают табуирующие отрицания, стоящие в начале слова. Эти отрицания следующие: *ne-*, *se-*, *ve-*, *le-*, *me-*. При анализе слов индоевропейских языков, имеющих указанные инициалы, последние часто включаются в состав корня, что неизменно приводит к неверным этимологиям или очень затрудняет этимологизирование. Ср.: др.-инд. *vi-vakti* "говорит", но др.-инд. *vakman-* "речь", авест. *vak-* "говорить"; др.-инд. *vi-vadhah* "ярмо для переноса грузов", но др.-инд. *vadhrah* "кожаный ремень" < и.-е. **uedh-* "связывать"; др.-инд. *vi-vesti* "работает, занимается деятельностью", но др.-инд. *vis* "работа". Ср. также: литовск. *ne-degulis* "костер", литовск. *ni-gandas* "избыток", а также "страх, нужда, забота", чешск. *ne-vraziti* "быть враждебным", где начальное отрицание не имеет отрицательного смысла. Ср. еще и.-е. **el-* "treiben, sich rasch bewegen", но и.-е. **s-el-* "sich rasch bewegen, springen"; и.-е. **m-en-* "душа, разум", но и.-е. **an-* "душа, разум"; и.-е. **m-ak-* "drücken, hauen", но **ak-* "schneiden"; и.-е. **ad-* "Wasserlauf", но и.-е. **m-ad-* "feucht, naß"; и.-е. **ozdo-* "Stange, Pflock", но и.-е. **m-azdo-s* "Stange"; и.-е. **el-* "Farbe", но **m-el-* "Farbe"; **er-* "brennen", но и.-е. **m-er-* "flimmern, funkeln", и.-е. **au-* "Wasser, Feuchtes", но *s-eu-* "Saft, Feuchtes"; и.-е. **ak-/ek-* "schneiden", но **s-ek-* "schneiden" (ср. **d-ek-* "schneiden", *l-ek-* "schneiden", **r-ek-/r-eg-* "schneiden"); и.-е. **n-eik-* "Kraft", но и.-е. **eik-* "Kraft"; и.-е. **n-ek-* "Tod", но хет. *ak* "Tod"; и.-е. **n-eid-* "hassen", но и.-е. **od-* "hassen"; лат. *acrima* "слеза", но также *d-acrima*, *l-acrima* [Schwartz 1947; Туманян 1978; Маковский 2000a].

Рассмотренный материал дает возможность заключить, что многие индоевропейские корни, которые в словаре Ю. Покорного никак не связываются между собой, на самом деле представляют собой один и тот же корень с различными преформантами и расширителями. Преформанты и расширители (исторически они выполняли в слове магическую функцию, выступая соответственно как табуирующие элементы и как тотемы) не меняют значения слова, но слова с преформантами и с расширителями могут выступать в одном из значений, входящих в семантические парадигмы. Различные сочетания формальных элементов корня (качественно, количественно и комбинаторно определенные) могут "пропускать" неодинаковые участки семантического континуума, одновременно или последовательно (селективность), или вовсе не "пропускать" ни одного сегмента того или иного семантического континуума. С другой стороны, одни значения могут сочетаться с определенным – качественно, количественно и комбинаторно – формальным строением корня, а другие не могут (явление отторжения). Таким образом, значение корня (в рамках определенной семантической шкалы) определяется его формальным строением, а форма корня коррелирует с возможностями его значения. Исходными строениями в индоевропейском были значения "рассекать" / "гнуть, связывать" (синкретическое единство значений) [Маковский 1996].

Таким образом, целый ряд "омонимов" и "синонимов" в словаре Ю. Покорного оказываются мнимыми.

Начальные, среданные и конечные элементы индоевропейского корня (как согласные, так и гласные) могут оказаться неэтимологическими и могут варьироваться или вовсе отсутствовать⁷. Принципиальную важность для строения и семантики индо-

⁷ Ср. явления инфиксации, тмезиса, опрощения, переразложения, гаплогонии. В языке отражаются все категории языческой ментальности. Категория тотема находит отражение в языке как общий алгоритм, определяющий общую "стратегию" (набор взаимосвязанных правил-универсалий) построения того или иного языка как дискретной системы, а категория табу (наложение или снятие запретов) определяет ту или иную "тактику" развития конкретного языка, его системное "поведение", в частности – катализацию или "рецессивность" языковых процессов. В первом случае перед нами онтогенез, а во втором филогенез. В языке отражаются и другие категории языческой ментальности, например, языковые "катастрофы", языковые "катаклизмы" (ср. языческие представления о "вселенских катаклизмах"), в ходе которых может происходить гибель ("самоубийство") определенного круга языковых элементов или, наоборот, вхождение отдельных слов и значений, или целых языковых массивов [Wildgen

европейского корня имеют соотношения качественных и количественных показателей и их расположение в том или ином порядке по отношению друг к другу: именно взаимодействие этих показателей может оказать решающее влияние на наложение или снятие "запретов" как на формальные, так и на семантические сферы строения корня, а также на характер взаимодействия или невзаимодействия формального и семантического пространств в пределах корня. Важно иметь в виду, что индоевропейский корень – это динамическая [Макаев 1970], а не статическая сущность. Будучи частью языковой системы, корни отражают определенные иерархические зависимости и иерархически соотношены друг с другом (системный "вес" корней).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев В.И. 1988 – К семантике глаголов с основным значением "делать" // ВЯ. 1988. № 3.
Макаев Э.А. 1970 – Структура слова в индоевропейских и германских языках. М., 1970.
Маковский М.М. 1992 – Лингвистическая генетика. М., 1992.
Маковский М.М. 1996 – Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. М., 1996.
Маковский М.М. 2000 – Мифопоэтические этюды // Василию Ивановичу Абаеву 100 лет. Сб. статей по иранистике, общему языкознанию, евразийским культурам. М., 2000.
Маковский М.М. 2000а – Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев. М., 2000.
Мошч В.Ю. 1999 – Прототипическая семантика в протоиндоевропейских реконструкциях. Дис.... канд. филол. наук. М., 1999.
Трубачев О.Н. 1985 – О семантической теории в этимологическом словаре. Проблема омонимов подлинных и ложных и семантическая типология // Теория и практика этимологических исследований. М., 1985.
Туманян Э.Г. 1978 – Структура индоевропейских имен в армянском языке. М., 1978.
Bichakjian B.H. 2002 – Language in a Darwinian perspective. Frankfurt-am-Main, 2002.
Clark E.V. 1979 – The ontogenesis of meaning. Wiesbaden, 1979.
Colinet Ph. 1892 – Essai sur la formation de quelques groupes de racines indoeuropéennes. I. Les préformantes proto-aryennes. Gent; Leipzig; Löwen, 1892.
Edgerton F. 1958 – Indo-European *s*-movable // Language. XXXIV. 4. 1958.
Ehrmann G. 1890 – Die Wurzelvariationen *s-teud-*, *s-teub-*, *s-teug-* im Germanischen / PBB. Bd. 19. 1890.
Hollander D.M. 1905 – Prefixal *s*- in Germanic. Baltimore, 1905.
Leopold W. 1929 – Inner form // Language, 5. 1929.
Persson P. 1912 – Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. 1–2. Uppsala. 1912.
Persson P. 1891 – Studien zur Lehre von der Wurzelweiterung und Wurzelvariation. Uppsala. 1891.
Pokorny J. 1959 – Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
Schrijnen J. 1891 – Étude sur le phénomène de l'*s* mobile dans les langues classiques et subsidiairement dans les groupes congénères. Louvain, 1891.
Schrijnen J. 1908 – Präformanten // KZ. 42. 1908.
Schwartz B. 1947 – The root and its modifications in primitive Indo-European. Baltimore, 1947.
Wildgen W. 1992 – Catastrophe theoretic semantics. Amsterdam; Philadelphia, 1992.

1992; Маковский 1992]. Языческое мышление отражается еще в "цикличности" языковой эволюции, а также в способности корня хранить "свернутую" (виртуальную) информацию относительно возможных и невозможных преобразований: в этой связи следует иметь в виду, что, согласно языческому мышлению, Слово приравнялось к Божеству, которое выступало главным образом как творящее, продуцирующее начало (ср. понятие "языкового гена") [Маковский 1992; Bichakjian 2002]. Отголоском язычества является редупликация, а также знантисемия: это явление связано с особенностью языческой ментальности, различавшей не отдельные значения, а семантические "диады" (например, "верх–низ", "правый–левый", "хороший–плохой"). В плане языческой ментальности следует рассматривать и комбинаторные явления в языке (в частности, соотношение языковых множеств и подмножеств. Наследием язычества являются такие языковые явления, как метафора, метатеза, анаграмма, кеннинг и др.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Языки Дагестана / Под общей редакцией Г.Г. Гамзатова. Махачкала; Москва, 2000. 553 с.

Книга состоит из введения, основной части и приложений. Во вводной части содержатся три статьи. Автор первой из них, главный редактор серии "Языки народов России" академик Академии естественных наук РФ В.П. Нерознак, знакомит читателей с планами издания энциклопедической серии и отмечает: «Основной таксономической единицей в энциклопедическом описании в серии "Языки народов России" станет конкретный язык вне зависимости от числа говорящих на нем» (с. 8). Такое внимание к языкам восходит к гумбольдтовской философии языка, приверженцем которой выступает автор: "Как ценнейший объект природного и культурного наследия всего человечества язык каждого народа есть вклад в мировую цивилизацию" (с. 8). Такое же осмысление вопроса о языках положено в основу статьи "Язык – душа и имя народа" члена-корреспондента РАН Г.Г. Гамзатова, который обладает глубокими и всесторонними знаниями о языковой ситуации в Дагестане. Он совершенно справедливо отмечает: "Нужна оптимальная концепция национальной политики и национального развития, концепция цивилизованных национальных отношений" (с. 16). Такой вывод становится понятным, если ознакомиться с обобщенным социолингвистическим портретом дагестанских языков, данным в статье Н.С. Джидалаева "Языковая жизнь Дагестана". Читателя не может не тревожить то, что "в городах и поселках с национальным смешанным населением... национальные литературные языки, можно сказать, практически не функционируют ни в одной значимой для литературного языка функции" (с. 31). И это вполне объяснимо, если учесть то, что в Дагестане активно осуществлялась "в течение десятилетий идея по стимулированию ускорения так называемого процесса консолидации народов Дагестана и формированию на этой основе общедагестанской нации с русским языком" (с. 32).

Основная часть книги содержит равные по объему и написанные по единой схеме очерки по тринадцати литературным языкам – аварскому, агульскому, азербайджанскому, даргинскому, кумыкскому, лакскому, лезгинскому, ногайскому, рутульскому, табасаранскому, татскому, цахурскому, чеченскому (с. 45–255), по четырнадцати бесписьменным языкам – андийскому, арчинскому, ахвахскому, багвалинскому, бежтинскому, ботлихскому, гинухскому, годоберийскому, гунзибскому, каратинскому, тиндинскому, хваршинскому, цезскому, чамалинскому языкам (с. 275–480), по четырем языкам дагестанской группы, распространенным за пределами Дагестана: будухскому, крызскому, удинскому, хиналугскому (с. 483–540).

Схема очерка содержит экстралингвистические (территория распространения, количество говорящих на языке, диалектная дифференциация, наличие/отсутствие письменных памятников языка, наиболее значительные публикации) и интралингвистические (фонетика, морфология, синтаксис и лексика) сведения. Очерки написаны известными специалистами, имеющими высокие ученые степени и научные звания, для которых, как правило, описываемый язык является родным и/или которые свободно им владеют.

Самостоятельную ценность представляют приложения (с. 542–551): 1) перечень языков, наречий, диалектов, говоров языков Дагестана; 2) данные о численности народов Дагестана (по переписи населения 1989 г.); 3) данные об уровне владения народами Дагестана русским и другими языками (по переписи населения 1989 г.); 4) сведения об авторах книги. Заметим, материалы, содержащиеся в первых трех приложениях, даются и в очерках по конкретным языкам.

Справочник рассчитан на широкого, массового читателя, который, без сомнения, извлечет из него много полезной и интересной информации о том или ином дагестанском языке.

Вместе с тем у читателя возникает ряд вопросов, положительное решение которых, с одной стороны, расширило бы информационное поле издания, с другой стороны, не только подняло бы научный уровень энциклопедического справочника, но и удовлетворило бы потребности читателя, интересующегося судьбами языков, культур народов в советское и постсоветское время.

1. Вызывает недоумение дозировка информации, неравноценность разделов грамматики. В таком солидном издании хотелось бы видеть не повторение схемы описания языка, которая широко была распространена в 20-е годы прошлого столетия и согласно которой фонетика и морфология образуют костяк языкового организма, а лексика и синтаксис находились на положении падчерниц языка.

Так и остается непонятным, почему в языковых очерках отсутствуют сведения о промежуточных уровнях языка – морфонологии, фразеологии и словообразовании. Между тем первые шаги исследования морфонологических проблем дагестанских языков показывают не только межъязыковые универсалии, но и демонстрируют исключительное своеобразие морфемных швов языков Дагестана. Полагаем, что нельзя было в описательных очерках игнорировать и фразеологию дагестанских языков. Фразеология нужна не ради фразеологии. Отсутствие этого раздела приводит к искажению языковой системы, к неправильной интерпретации языковых единиц, смешению понятий "слово", "фразеологизм", "глагол", ср. приводимые в разделах по лексике, наряду со словами, как лексические единицы: *ишлемииш анулб* 'использовать', *бахииш анулб* 'подарить', *тебрик анулб* 'приветствовать' (с. 216), *кагъари-арси* 'бумажные деньги', *соб этлмус* 'ворожить', *берхъен члор* 'луч солнца' (с. 304), *бакларзи рода* 'собирать' (с. 466) и т.д. Очерки продолжают устаревшую практику представления явлений словообразования на лексическом уровне.

2. Никак не удовлетворяют читателя очерковые сведения по лексике и синтаксису. Не во всех очерках они имеют одинаковый объем; по некоторым языкам эти разделы изложены чрезмерно скудно, в 4–10 строчках (см. очерки по лексике агульского, багвалинского, ботлихского, гинухского, годоберинского, гунзибского, каратинского, цахурского, чамалинского, чеченского языков). В некоторых очерках параграф, посвященный лексике, изобилует сведениями, которые не имеют никакого отношения к этой теме и напоминают юбилейные отчеты научного учреж-

дения советского периода (см. раздел по лексике азербайджанского языка).

3. Не получает читатель ответа на вопрос, сколько все-таки языков в Дагестане. В одной из статей, представленных во введении, называется "около 30", в самом справочнике представлен 31 язык, в различных источниках, изданных под грифом академических научных учреждений, перечисляются еще и такие языки, как кубачинский, мегебский. В публикациях некоторых дагинистов называются еще и другие языки даргинской группы. Наверное, давно настала пора принять определенное решение по дискутируемому вопросу, тем более что еще с XIX в. языковедение располагает надежными схемами, устанавливающими границы говоров, диалектов (наречий) и языков (см. хотя бы схему Ф.Ф. Фортунатова).

4. Вызывает сомнение правомерность наличия в справочнике под названием "Языки Дагестана" описания азербайджанского и чеченского литературных языков. Да, на территории Дагестана функционируют и чеченский (аккинский), и азербайджанский (дербентский диалект/говор) языки. Но они отличаются от соответствующих литературных языков на территории Чечни и Азербайджанской Республики. На наш взгляд, особенности названных "дагестанских" языков и для лингвистики, и для социолингвистики представляют не меньшую ценность, чем описанные в многочисленных справочниках соответствующие литературные языки. Более того, для дагестанских чеченцев и азербайджанцев значительно интереснее было бы увидеть в рецензируемом справочнике сведения о своем родном языке. В связи с размышлениями об объекте описания и наличии в справочнике раздела "Языках дагестанской группы, распространенных за пределами Дагестана" (выделено нами. – А.Г.), читатель не может не задать вопроса: в какой степени оправдано игнорирование факта "распространенности" языков дагестанских диаспор в странах Ближнего Востока, тем более что в последние 15–20 лет накопилось множество литературы по обсуждаемому вопросу, см. [Гюльмагомедов 1998], и международная ассоциация "Ватан" проводит большую и многостороннюю работу по углублению и расширению связей между зарубежными дагестанскими диаспорами и их исторической родиной.

Никак нельзя оправдать и факт отсутствия в Справочнике очерка, посвященного русскому языку, объявленному Конституцией Республики Дагестан государственным языком. Функционированию русского языка в Дагестане посвящена большая литература,

см [Гаджиев 1981] и сделана попытка осмысления его феномена в Дагестане [Гюльмагомедов А., Гюльмагомедов Г 1995]

5 В век больших социальных и политических потрясений, каким является период с 1917 года на территории распространения дагестанских языков, особую актуальность приобретают вопросы э к о л о г и и языка. В 1992 году А.Е. Кибрик, сделавший и делающий многое для дагестанского языкознания, пишет, что таким дагестанским языкам, как гинухский, гунзибский, арчинский, хиналугский, будухский, хваршинский, тиндинский, годоберинский, удинский, крызский, потенциально угрожает опасность исчезновения [Кибрик 1992: 78]. Предпринимаются шаги по сохранению подобных языков [Красная книга 1994], выражается обеспокоенность по поводу дискомфорта, испытываемого л и т е р а т у р н ы м и языками и дагестанскими языками на своей и с т о р и ч е с к о й родине как на территории Дагестана, так и за пределами Дагестана (те в Азербайджане) [Гюльмагомедов 1995]. Конечно, отсутствие эксплицитно выраженной позиции по данному вопросу в рецензируемом справочнике в отношении всех языков (литературных, бесписьменных, представленных и в Дагестане, и за пределами Дагестана на своей исторической родине) не может не вызвать чувство досады и сожаления у читателя.

6 Остаются непонятными критерии, определяющие статус письменного языка. В одном из очерков читаем «Письменные памятники на даргинском языке известны с XVII в., Стандартизованная (наверное, стандартизированная – А.Г.) письменность развивается с 20-х гг. XX в. сначала на основе арабской, латинской графики, а с 1938 года – на русской графической основе» (с. 99). Во втором предложении обнаруживаются отголоски идеологизированного лингвистического мышления советского периода, они звучат и в других очерках по литературным языкам. Более того, почему-то авторы очерков по аварскому, даргинскому, кумыкскому, лакскому, лезгинскому языкам, рассуждая о сроках возникновения письменности, не отмечают учебной и другой литературы, написанной на основе графики, разработанной П.К. Усларом и изданной не только в XIX в., но и в начале XX в. Здесь мы хотели акцентировать внимание читателей и составителей на таком вопросе: можно ли назвать язык бесписьменным, если на этом языке составлен словарь, издан переводная литература? Почему бежтинский язык считается бесписьменным, если бежтинцы располагают большим бежтинско-русским словарем [Халилов 1995], Евангелием от Луки [Рохеллис Хабар 1999] в переводе на бежтин-

ский язык? Неужели нужно решение обкома партии или республиканской администрации, узаконивающее наличие письменности?

7 Не во всех очерках названы значительные публикации, необходимые читателю для изучения того или иного языка: 1) Русско-кумыкский словарь. Более 40 000 слов. Махачкала, 1997, 2) Русско-лакский словарь. 34 000 слов. Сост. Г.Б. Муркелинский. Махачкала, 1953, 3) А.Г. Гюльмагомедов. Действительность. Етима Эмина. Словарь языка Махачкала, 1997.

8 Приходится сожалеть, что в некоторых очерках встречаются тексты, требующие дополнительной стилистико-пунктуационной и содержательной правки, например: Степень близости этих диалектов друг к другу и к литературному языку проявляется в различной степени (с. 98), Заимствованы не только слова, но и цельные терминологические системы (с. 271), Андийцы кроме родного андийского языка владеют андийским и русским языками (с. 275).

Не бесспорны данные об уровне владения народами Дагестана русским и другими языками. Так, например, отмечается, что, по переписи 1989 г., 53% лезгин свободно владеют русским языком (с. 548). Между тем во всех источниках, в том числе, на который ссылаются составители таблицы, указываются не 53%, а 68%.

Несмотря на наши замечания и пожелания, книга «Языки Дагестана» станет настольной для широкого круга читателей, интересующихся культурой и языками народов Дагестана, которые с чувством благодарности к авторскому коллективу и научному учреждению, подготовившему данное издание, не раз будут обращаться к ней в поисках необходимых справок по дагестанским языкам*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гаджиев А. 1981 – Великий русский язык – средство межнационального общения и приобщения народов Дагестана к достижениям научно-технического прогресса. Махачкала, 1981.
- Гюльмагомедов А.Г. 1998 – К проблеме исследования языков дагестанского Зарубежья // Языкознание в Дагестане. 1998. № 2.
- Гюльмагомедов А.Г. 1995 – Национальные языки Дагестана. Происхождение, связи, состояние (научная беседа). Махачкала, 1995.

* Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования Российской Федерации «Языкознание в Дагестане» (Г00-16-458).

Гюльмагомедов А Г Гюльмагомедов Г А
1995 – Русский язык с дагестанским уклоном // Народы Дагестана Этнос и политика 1995 № 1(9)
Кибрик А Е 1992 – Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания М, 1992
Красная книга 1994 – Красная книга языков

народов России Энциклопедический словарь-справочник М, 1994
Халилов М Ш 1995 – Бежтинско-русский словарь Махачкала, 1995
Рохеллис Хабар 1999 – Лука мейо / Рохеллис Хабар М, 1999

А Г Гюльмагомедов

Русский язык в научном освещении. Научный журнал Институт русского языка им В В Виноградова № 1 М Языки славянской культуры, 2001 288 с

Основан новый международный научный журнал Русский язык в научном освещении Журнал основан в январе 2001 года Институтом русского языка им В В Виноградова Журнал выходит два раза в год в издательстве Языки славянской культуры В заглавии журнала воплотился замысел его создателей соединить идеи и методы традиционной русистики с достижениями современных теорий К стати Русский синтаксис в научном освещении А М Пешковского, намек на который читается в названии нового журнала, только что переиздан тем же издательством

В первом номере журнала представлены статьи современных русистов и теоретиков языка по лексикографии, грамматике, фонологии, диалектологии, истории русского языка и судьбам русского языка в условиях нерусского окружения Кроме собственно научных статей, в журнале представлены рецензии (на книгу М В Панова о русской морфологии и на сборник статей под редакцией М Миллз о гендерной проблематике в славянских языках) Хроникальные материалы опубликованные в первом томе нового журнала, включают отчет о диалектологических экспедициях Института русского языка за 2000 год информацию об издании материалов из архива С И Карцевского, обзор докладов XV съезда скандинавских славистов в Тромсе (Норвегия), хронику отдела грамматики и лексикологии Института русского языка с 1944 по 2000 год, информацию о работе отделов современного русского языка и отдела этимологии и ономастики Института русского языка, воспоминания о двадцатипятилетней работе по публикации Этимологического словаря славянских языков

Журнал открывает статья Ю Д А пр е с я н а Системообразующие смыслы 'знать' и 'считать' в русском языке' Одна из задач, поставленных автором, – семантический анализ слов знания и мнения в русском языке Другая – метаяцель автора – введение понятия системообразующего смысла Анализ слов знания и мнения служит для иллюстрации

нового понятия и обосновывает целесообразность его введения в лингвистический обиход Автор считает, что удельный вес смыслов в концептуальной системе языка неодинаков Одни смыслы – береза', 'пирамида' – выражаются фактически только одним словом, а другие – например 'причина' – целым множеством слов, как полнозначных, так и служебных *основание, резон, приводить к, вынуждать, влечь, потому что, из-за, благодаря* Автор утверждает, что способ выражения некоторого смысла тем больше, чем важнее он для данного языка Наиболее существенные смыслы образуют базовый семантический каркас языка Такое множество смыслов и предлагается называть системообразующим К системообразующим смыслам относятся 'знать' и 'считать' Смыслы знать и 'считать' выражаются не только лексически но также входят в значения языковых единиц разной природы – лексических, синтаксических, словообразовательных и морфологических

Автор рассматривает слова *знать* и *считать* как семантические примитивы При этом слово *считать* практически однозначно, а из подзначений слов *знать* и *знание* для рассмотрения выделяется значение пропозиционального знания Пропозициональное знание – это информация о том, что имело или имеет место в действительности, или утверждение о факте Соответственно, мнение – это суждение о возможном положении дел Знание, как известно, фактивно, т е основано на презумпции истинности подчиненной пропозиции истинность подчиненной пропозиции сохраняется и при отрицании Так, в предложении *Он знал, что друзья его предали* и *Он не знал, что друзья его предали* одинаково предполагается факт предательства друзей Соответственно, в предложениях *Он считал, что друзья его предали* и *Он не считал, что друзья его предали* не содержится никакой информации об истинности суждения о предательстве друзей Автор полагает, что различие между утверждением

о фактах и суждением о возможности обусловливает все другие семантические свойства фактивов (слов знания) и путативов (слов мнения)". Перечислим кратко основные семантические свойства знания. Знание единственно и не соотносится с идеей выбора. Мнение же предполагает возможную множественность оценок (*разные мнения, другого мнения, считать иначе*). Мнение имеет конкретного носителя, т.е. оно персонифицировано. Знание же не имеет авторства. Мнение формируется актом воли (*изменить мнение, отказаться от мнения*). Знание не формируется, а приходит из внешнего источника (*знать/узнать от*). Прототипическое знание представляется как движущееся из внешнего мира к субъекту (*его осенило/озарило, до него дошло*). Мнения же, скорее, склонны к распространению от субъекта в окружающий мир (*обменялись мнениями, высказать/выразить мнение*). Для знания требуется хранилище: это память. Мнения же локализируются не в памяти, а в уме. Автор рассматривает классы единиц, в состав которых входят смыслы 'знать' и 'считать'. Для иллюстрации вхождения смыслов 'знать' и 'считать' в значения лексических единиц приводятся многочисленные примеры. Вот некоторые из них. "Человек А ищет/разыскивает вещь В, если он не знает, где она находится. Память Х-а – это мыслимая как полный объект часть сознания Х-а, предназначенная для одновременного хранения того, что человек знает... Мы убеждаем человека в чем-то, когда хотим, чтобы он считал то же, что думаем мы сами". Приводится минимальная пара синонимов, чье толкование отличаются только вхождением семантических компонентов 'знать' и 'считать': в паре *советовать – рекомендовать советовать* "содержит указание на мнение субъекта о том, как адресату лучше всего поступить в рассматриваемой ситуации", а *рекомендовать* – на его знание, что следует делать: *советую послать после обеда; врачи рекомендовали ему сократить рабочий день до трех часов*. Далее следует исчерпывающее перечисление особых морфологических, синтаксических, сочетаемостных, коммуникативных и просодических свойств ряда *знать* и *считать*. Эти особенности автор – несколько неожиданно – называет рефлексамии. Интересная морфологическая особенность глагола *рекомендовать* с встроенным компонентом знания заключается в его способности образовывать страдательную форму с устранимым субъектом: *При малейшей неисправности рекомендуется отключать электроприборы*. При этом у *советовать* со встроенным компонентом мнения страдательная форма

отсутствует. Это различие объясняется тем, что знание в отличие от мнения деперсонифицировано и поэтому легко отчуждается от своего носителя. Автор показывает, что путативные глаголы за исключением контекста контраста (пример контраста – *не знаю точно, а только так ДУМАЮ*¹) не служат акцентоносителями ремы или носителями вопросительного акцента да-нет-вопроса: *Я СЧИТАЛ, что он приезжает во вторник; *Ты ДУМАЕШЬ, что он приезжает во вторник?² Синтаксические особенности слов

¹ Словоформы-акцентоносители мы здесь обозначили прописными буквами.

² Обсуждение коммуникативной и просодической структуры предложений с фактивными и нефактивными глаголами содержится в работах [Зализняк Анна 1988; Крейдлин 1983; Падучева 1977; Шатуновский 1988]. В частности, важный вывод о различии семантических и прагматических презумпций фактивных глаголов и связанных с этим акцентных различиях содержится в работе Е.В. Падучевой [Падучева 1977: 102, 118–120]. Глаголы знания и мнения – это редкий пример того, что уникальные коммуникативные и просодические свойства слов могут непосредственно выводиться из их семантики. Эти свойства заслуживают, быть может, и более подробного обсуждения, чем то, которое приводится в статье Ю.Д. Апресяна. Поэтому добавим, что у ментальных глаголов содержание мысли может пониматься как принадлежащее действительному миру, как у глагола *знать*, либо сознанию человека, как у глагола *думать*. Если оно принадлежит действительному миру, т.е. мыслится как объективное, соответствующий актант имеет тенденцию интерпретироваться как известное и, соответственно, служит тогда компонентом темы. Если при этом подлежащее тоже известное или активированное в предыдущем дискурсе, то глагол – рема предложения. Это объясняет то, что часто бывает ремой глагол *знать*. Если же актант обозначает объект субъективной природы, принадлежащий только сознанию и скрытый тем самым от чужих глаз, этот актант соотносится с неизвестной информацией и представляет собой рему. Это объясняет то, что не бывает ремой глагол *думать*: он служит либо компонентом ремы, но не собственно ремой (т.е. не акцентоносителем ремы), либо компонентом темы. Между тем глаголы мнения не только не могут быть ремой, но они также не могут быть и акцентоносителем так называемой верификативной ремы, отражающей истинностную оценку положения дел, соотносящегося с предложением в целом. Неизвестность

знания и мнения также выводятся из их семантики. Так, для мнения, неотделимого от своего субъекта, при существительном мнении типичный способ выражения субъекта – родительный падеж: мнение автора, что *P*. Для знания же, которое легко автономизируется от своего хозяина, такой способ выражения субъекта нехарактерен: ?*знание автора, что P*. Далее, для глагола *знать* характерна валентность внешнего источника, которая выражается именной группой с предлогами из (*знаю из газет*), от (*от друзей*). У глагола *думать* такой валентности нет: **Откуда ты так считаешь?* В качестве примера сочетаемостных различий знания и мнения приведем следующее наблюдение автора. "Семантические особенности концепта мнения проявляются ... в сочетаемости путативных глаголов с модальными предикатами со значением возможности (*можно*), готовности (*склонен, готов*) и долженствования (*надобно, заставлять, вынуждать*), а также с фазовыми глаголами со значением начала и продолжения. Ср. *Можно подумать, что вы впервые об этом слышите; ...Это заставляет меня усомниться в его искренности; Я начинаю думать, что он не так прост, как кажется*. Глагол *знать* с перечисленными типами предикатов не сочетается, так как знание, в отличие от мнения, единственно и неизменно". Подход Ю.Д. Апресяна к анализу единиц словаря характеризуется тем, что автор не только с доскональной точностью

дополнения глаголов мнения, а соответственно, и всего предложения с глаголом *думать* вытекает из непредсказуемости мысли: о содержании субъективных мнений обычно не говорят в предположительном плане. Соответственно, объект истинностной оценки фактически отсутствует. Это объясняет неспособность глаголов мнения образовывать полный (верификативный) *да-нет-вопрос* и соединяться со значением верификации в повествовательном предложении. Неспособность глаголов путативного ряда быть ремой, акцентоносителем верификативной ремы и акцентоносителем *да-нет-вопроса* объясняет их "безударность". Далее, у глагола *знать* есть одна действительно уникальная коммуникативная особенность. Его пропозициональное дополнение несовместимо с контрастом: **Он знает, что P (а не что Q): *Он знает, что P? (Или что Q?)*, ср. *Он рад, что P, (а не что Q)*. Эта особенность объясняется отсутствием идеи выбора объекта при предикате знания, о которой говорит Ю.Д. Апресян.

фиксирует уникальные свойства слов, но и дает этим свойствам естественное семантическое объяснение.

Статья И.М. Богуславского "Модальность, сравнительность и отрицание" – наиболее "трудная" статья в рецензируемом сборнике. Автор ставит перед собой сложную задачу, которая требует разработки изолированного метаязыка описания. Статья И.М. Богуславского – пример решения весьма частной задачи, требующей теоретических подходов, которые впоследствии могут применяться к существенно более широкому языковому материалу, чем предполагалось при первоначальной постановке задачи.

Автор анализирует предложение (1) *Вертолет летел ниже, чем может лететь самолет*. Это предложение имеет два подзначения: (а) 'Вертолет летел ниже, чем максимальная высота, на которой может лететь самолет' и (б) 'Вертолет летел ниже, чем минимальная высота, на которой может лететь самолет'. Подобная многозначность возникает в контексте сравнительной конструкции и модального слова со значением возможности. Ранее в лингвистической литературе предполагалось, что различие между двумя подзначениями легко описывается в терминах максимальной vs. минимальной интерпретации рассматриваемого предложения. Однако автор убедительно показывает, что, скорее, имеет смысл различать так называемую интервальную интерпретацию параметрических выражений и предельную. В подзначении (а) 'Вертолет летел ниже максимальной высоты, на которой может лететь самолет' представлена интервальная интерпретация. Действительно, существует некоторая высота, выше которой не может подняться самолет, и вертолет летит на одной из высот, которые меньше этой высоты. Самолет в принципе летает на тех же высотах, на одной из которых в данном случае летел вертолет, т.е. интервалы полета самолета и вертолета пересекаются. В подзначении же (б) 'Вертолет летел ниже минимальной высоты, на которой может лететь самолет' представлена предельная интерпретация: существует некая минимальная высота, ниже которой не может спускаться самолет, и высота полета вертолета сравнивается с этим минимумом. Здесь самолет и вертолет летят на разных высотах: при этом полет вертолета сравнивается с минимумом высоты полета самолета.

При интервальном понимании имеет место сравнение значения некоторого параметра (например высоты полета) при текущем положении дел (полета вертолета) с интервалом значений такого же параметра при некотором основании сравнения (полете самолета), т.е.

текущее положение дел соотносится с некоторым интервалом значений. А при предельном понимании – текущее положение дел сравнивается не с интервалом, а с пределом, причем обязательно с верхним. Оказывается, что понятия предельной и интервальной интерпретаций релевантны и для анализа других типов предложений. Так, при сравнении предложений (2) *Этот кран может поднять десять тонн* (с ремой *десять тонн*, например при ответе на вопрос *Какова грузоподъемность крана?*) и (3) *Десять тонн этот кран поднять может* с ремой *может* оказывается, что в примере (2) представлена предельная интерпретация сочетания модального слова *может* с параметрическим выражением *десять тонн*, а в примере (3) – интервальная. Действительно, в примере (2) сообщается о том, какова максимальная нагрузка, которую может выдержать кран. Если бы кран мог поднять не только десять тонн, но и больше, то предложение (2) нарушало бы максимум количества, т.к. выдавало бы неполную информацию. На основании значения глагола *может*, который в данном случае значит, что десять тонн входят в шкалу весов, которые поднимает кран, и максимумы количества можно сделать вывод о том, что более десяти тонн крану не поднять. Значит, перед нами предельная интерпретация. А в примере (3) говорится только о том, что десять тонн – это сильный вес для крана: не исключено, что кран может поднять и больше десяти тонн. Значит, в примере (3) с иной коммуникативной и, соответственно, с иной просодической структурой, чем в (2), представлено одно значение из некоего интервала, т.е. перед нами образец интервальной интерпретации. И еще один феномен русского языка может быть объяснен на основании введенной оппозиции "предел vs. интервал". Автор рассматривает конверсивные преобразования пар антонимичных прилагательных в сравнительной степени типа *выше-ниже, толще-тоньше*, которые, как известно, могут служить основой для синонимических преобразований: если самолет летел выше, чем вертолет, то, соответственно, вертолет летел ниже, чем самолет. Оказывается, что в контексте модальных предикатов со значением возможности возникающие интервальная и предельная интерпретации ведут себя по-разному. Так, в предложении (4) *Иван работает больше, чем мог бы* представлена интервальная интерпретация. Пусть рабочий день у Ивана восемь часов. Иначе говоря, Иван должен оставаться на рабочем месте не менее восьми часов. Между тем он каждый день задерживается на работе на пятнадцать минут. Он мог бы рабо-

тать на пятнадцать, четырнадцать, тринадцать и так далее минут меньше. В таком контексте замена на конверсив с соответствующими преобразованиями актантов сохраняет смысл: (5) *Иван мог бы работать меньше, чем работает*. В предложении же (6) *Иван работает больше, чем ему можно* имеет место предельное понимание: врачи разрешают Ивану работать не более двух часов в день. Два часа и ни одной минутой больше: два часа – это предел. И в контексте предельной интерпретации замена на конверсив уже не служит смылсохраняющим преобразованием. В предложении (6) *Иван работает больше, чем ему можно* замена на конверсив ведет к изменению смысла: (7) *Ивану можно работать меньше, чем он работает*. Действительно, предложение (6) значит, что Иван нарушает запрет, а предложение (7) сообщает о том, что Иван не пользуется разрешением меньше работать и больше отдыхать.

Аналогично, в примере (8) *На гастролях он за месяц зарабатывает больше, чем дома за год* без модального глагола конверсивное преобразование возможно: *Дома за год он зарабатывает меньше, чем за месяц на гастролях*. А в предложении (9) *На гастролях он за месяц мог бы заработать больше, чем дома за год* с модальным глаголом *мог бы* – нет, ср. пример (10), который не является конверсивом по отношению к (9): (10) *Дома за год он мог бы заработать меньше, чем за месяц на гастролях*.

Итак, в статье вводится понятие предельной vs. интервальной интерпретации параметрических выражений в контексте модальных предикатов и демонстрируется, что это понятие "работает" при анализе большого круга языковых явлений, таких как: многозначность предложений, сохранение смысла при синонимических преобразованиях, возможность vs. невозможность построения отрицательных предложений, поведение отрицательно поляризованных лексических единиц и конструкций.

В плане дискуссии по статье отметим следующее. Автор никак не останавливается на том, что в рассмотренных примерах оппозиция "интервал vs. предел" сопровождается и различием в семантической интерпретации модального предиката. Так, при интерпретации (а) примера (1) в сочетании *может лететь* реализуется значение 'способен, т.е. может в соответствии со своими техническими возможностями', а при интерпретации (б) реализуется другое значение: 'ему не запрещено, т.е. может в пределах действия запрета спуститься ниже безопасного минимума'. Действительно, самолет в принципе способен спуститься и ниже разрешенной

минимальной высоты – технические возможности позволяют это – но это небезопасно, потому что тогда он может врезаться в дом. Далее, в примере (9) в глагольной форме *мог бы* реализуется значение не простой возможности, а благоприятной, поэтому замена *больше* на *меньше* при конверсии изменяет смысл предложения и приводит к нарушению максим обыденной жизни: предложение (10) *Дома за год он мог бы заработать меньше, чем за месяц на гастролях* значит, что шанс заработать меньше мыслится говорящим как перспективный, что не соответствует прагматической норме. Следовательно, неадекватность связана со значением сочетания *мог бы* как ориентированного на благоприятное для субъекта течение дел. Этот нюанс определяет особенности поведения конструкций типа *мог бы заработать* vs. *заработал бы* при конверсивных преобразованиях. Ср. также: *'В городе он мог бы болеть чаще, чем в деревне; 'Дома он мог бы выздороветь позже, чем в санатории; 'В Турции он мог бы отдохнуть хуже, чем в Сочи.*

Статья Е.В. Падучевой о "Каузативный глагол и декаузатив в русском языке" – это еще один пример решения "трудной" проблемы русского языка³. Классические пары типа каузатив vs. декаузатив представлены глаголами *разбить-разбиться* и *открыть-открыться*. В предложении *Ваня разбил чашку* представлен каузативный глагол *разбить*, а в предложении *Чашка разбилась* – его декаузативный коррелят *разбиться*. Морфологический показатель в русском языке – частица *-ся*, которая, как известно, обслуживает не только декаузативацию, но также и рефлексивизацию (*Ваня моет Васю* – *Вася моется*), пассивизацию (*Турецкая фирма Сейфеттин строит здесь дом* – *Дом строится здесь турецкой фирмой Сейфеттин*) и другие процессы. Встает задача разграничить эти явления, тем более что именно явление декаузатива в отличие от других залоговых дериваций – пассива, рефлексива, реципрока, комитатива – еще не получило на русском материале окончательной интерпретации. Автор даже указывает на то, что и сам термин "декаузатив" не является общепринятым. Основная идея Е.В. Падучевой при анализе семантики декаузатива

³ Если статьи Е.В. Падучевой и И.М. Богуславского – это нелегкое чтение, потому что в них решаются трудные задачи, то, скажем, рецензия на "Позиционную морфологию русского языка" (с.с. 270–277) трудна для восприятия, потому что в ней отсутствуют необходимые для адекватного понимания примеры.

состоит в том, что семантическая деривация в направлении каузатив → декаузатив проходит промежуточный этап, который называется деагентивацией. Так, для каузатива *открыть* (*Ваня открыл дверь*) деагентивация представлена предложением *Порыв ветра открыл дверь*, в котором подлежащее не лицо, а стихийная сила. На следующем этапе деривации происходит собственно декаузативация: *Дверь открылась*. На этапе деагентивации деятель (Ваня), действующий с определенной целью – открыть дверь, заменяется на случайное событие – порыв ветра. При деагентивации происходят следующие семантические процессы: меняется таксономическая категория субъекта (лицо → событие), его семантическая роль (Агенс → Каузатор), меняется таксономическая категория самого глагола (действие → происшествие) и меняется толкование ('субъект действовал с целью' → 'произошло событие'). Другой тип деагентивации связан не с заменой Агенса-лица на Каузатор-событие, а с переходом целенаправленного действия Агенса к происшествию с действующим субъектом. Так, Агенс, сознательно разбивающий яйцо в процессе приготовления обеда, при деагентивации заменяется субъектом, действующим с иными целями, но при этом нечаянно разбивающим яйцо, ср. *Маша разбила яйцо о край сковородки, чтобы приготовить яичницу* (каузатив, действие) – *По дороге из магазина Маша разбила яйцо и запачкала сумку* (каузатив, происшествие с действующим субъектом; ср. также глагол *запачкать*, относящийся к той же категории) – *Яйцо разбилось* (декаузатив, происшествие, ср. *Сумка запачкалась*).

На следующем этапе семантической деривации после деагентивации происходит собственно декаузативация. Обезличенный каузатор уходит на задний план: *Дверь открылась от порыва ветра*. На следующем шаге может произойти и опущение неспецифицированного – нерелевантного – каузатора: *Дверь открылась*.

Введение промежуточного этапа деривации – деагентивации – объясняет отсутствие декаузативов у многих глаголов: декаузатив отсутствует у тех глаголов, у которых невозможна деагентивация. Если замена целенаправленно действующего лица на событие, которое приводит к некоторым последствиям, быть может, случайным, невозможна, декаузатив отсутствует. Так, у глагола *отпереть* (ср. *открыть*) замена человека на событие невозможна (**Случайный порыв ветра отпер дверь*), т.е. к глаголу *отпереть* деагентивация неприменима. И декаузатив у *отпереть*, в отличие от *открыть*, тоже отсутствует, ср.: **От резкого порыва ветра дверь отперлась*.

Деагентивация невозможна у глаголов, обозначающих технологически сложные действия с концептуально проработанной схемой использования инструментов (ключей, отмычек, шифров у *отпереть*) или способов действия (*подчистить*). Деагентивация может рассматриваться и как независимый от декаузативации семантический процесс, причем весьма продуктивный в русском языке. Приведем пример деагентивации, которая не завершается декаузативацией: *Приятель напомнил мне, что пора уходить – Бой часов напомнил мне, что пора уходить*.

Жанр рецензии заставляет нас остановиться на некоторых вопросах, которые возникают при чтении статьи. Эти вопросы касаются конкретных лексем и отнесения их к классам пассив – рефлексив – декаузатив. Переход от каузатива к декаузативу сопровождается, как показано в статье, переходом от целенаправленных действий агенса над пациенсом к происшествию с пациенсом (ср. с. 69). Поэтому если у каузатива пациенс одушевленный, декаузатив, как считает автор, как правило, не образуется, а соответствующий глагол на *-ся* понимается в рефлексивном смысле 'сам себя'. При неодушевленном же пациенте тот же глагол понимается в декаузативном смысле, ср.: *При перевозке картина поцарапалась* (декаузатив). При этом в предложении *я поцарапался* глагол *поцарапался* автор считает рефлексивом. Аналогично, *Выход книги задержался* – декаузатив, *Я задержался* – рефлексив (с. 69). Между тем, если вернуться к определению декаузатива, то окажется, что исходным пунктом декаузативации служат целенаправленные действия Агенса каузативного глагола. Однако целенаправленными действиями действия субъекта глагола *поцарапаться*, если субъект одушевленный, можно назвать далеко не всегда. Действительно, целенаправленно царапать самого себя – это маркированное семиотическое действие, которое служит выражением отчаяния в экстремальных и, иногда, ритуальных, т.е. весьма редких, случаях. Как кажется, *поцарапаться*, даже и при одушевленном подлежащем, нельзя назвать чистым рефлексивом. Выход видится в том, чтобы трактовать глагол *поцарапаться* при одушевленном подлежащем не как рефлексив, а как декаузатив, т.е. считать *поцарапаться* декаузативом независимо от одушевленности/неодушевленности подлежащего. Ср. рефлексивный глагол *моется* (= *моет себя*), при котором субъект действительно одновременно служит и Агенсиом и Пациенсом действия.

Аналогичные рассуждения можно применить и к глаголу *задержаться*, который в контексте одушевленного подлежащего

тракуется автором как рефлексив, но который едва ли следует рассматривать как обозначающий действие, направленное на самого себя. *Я задержался* – не значит намеренно задержал самого себя, ср. *Рейс задержался из-за плохой погоды – Я задержался из-за плохой погоды*.

Возможно, дело здесь в терминах⁴, и следует дополнительно определить, какое значение должно приписываться рефлексиву.

Далее, возникают вопросы о трактовке таких глаголов, как *истрепаться*, *стонаться*, *истереться*. К какому классу деривации они относятся? От того чтобы считать их декаузативами нас удерживает отсутствие у исходного глагола значения целенаправленного действия, ср. *стоптывать*, *истрепывать*, *истереть*. В этом смысле пара, скажем, *стонать-стонаться* отличается от пары *разрушить-разрушиться*, так как первые члены пар соответственно различаются по признаку "нецеленаправленное-целенаправленное действие". В итоге можно констатировать, что анализ декаузативов потребовал от автора разработки и применения метаязыка описания семантики глаголов и процессов семантической деривации. И в этом смысле статья Е.В. Падучевой представляется очень перспективной, т.к. разработанный понятийный аппарат, предусматривающий фиксацию всех типов категориальных сдвигов (от действия к происшествию, от Агенса к Каузатору, от лица к событию, от центра внимания к фону и периферии), безусловно, применим не только к анализу пар каузатив-декаузатив, а будет использован при анализе других семантических процессов и других классов слов.

В статье Л.Л. К а с а т к и н а "Фонологическое содержание долгих мягких шипящих [ш':], [ж':] в русском литературном языке" обсуждается фонологический статус шипящих в русском языке, который всегда вызывал оживленные споры. Решаются вопросы: звук [ш':] в русских словах *щука*, *счастье*, *возчик* – это две фонемы или одна? и если две – то какие? Аналогичные вопросы возникают и относительно звука [ж':] в словоформах *вожжи*, *дождя*, *обожжешь*.

Решение поставленных вопросов сводится к следующему. [ш':] и [ж':] трактуются автором как две фонемы (или три – в словах *бороздчатый*, *оснастчик*) с последней фонемой [ч'] и [ж] соответственно. Сочетания фонем с последней фонемой [ч], нейтрализо-

⁴ Другой терминологический вопрос, который возникает по ходу чтения статьи, касается нетрадиционного употребления термина "инхоативный" на с. 66.

ванные в [ш':], определяются при проверке в сигнификативно сильной позиции (*оснастчик-оснастить*), ибо наличие отдельной фонемы в языке определяется по сигнификативно сильной позиции. В морфемах, где чередование [ш':] с сочетаниями других согласных звуков отсутствует, например в словах *щит, щель, пощада*, а также, когда на месте [ш':] в определенных позициях – на конце слова или рядом с согласным – в результате сокращения долготы произносится краткий [ш] (*плащ, мощь*), предлагается видеть сочетание гиперфонемы /sɨc' ɨzɨ' ɨʃɨʃ/, соответствующей всем щелевым переднеязычным фонемам, кроме /л/ и /л'/, с фонемой /ч/. Таким образом, репрезентантом сочетания указанной гиперфонемы + фонема /ч/ служит звук [ш':], а звук [ж':] – репрезентантом той же гиперфонемы + фонема /ж/. Мягкость [ж':] реализуется только в некоторых корнях и только в старшей норме: *возжи, дрожжи, вижеть*. На стыке морфем произносится [ж:]: *разжевать, без жира, межжаберный*.

Различие в реализации одних и тех же сочетаний фонем автор объясняет тем, что в древнерусском языке все шипящие были мягкими, а затем щелевые и в некоторых говорах /ч/ начали постепенно отвердевать. Этот процесс шел неодинаково в разных позициях. В настоящее время мы наблюдаем остаточные явления этого процесса.

В статье предлагается не только новая фонологическая трактовка шипящих, но также излагается история вопроса и приводятся интересные наблюдения над современным русским литературным произношением.

Статья Л.П. Крысина а "Современный русский интеллигент: попытка речевого портрета", написана, как следует из заглавия, в жанре речевого портрета. Новизна подхода Л.П. Крысина состоит в том, что он анализирует не только традиционные для данного жанра собственно языковые характеристики социальной группы людей, но и в качестве отдельной – особенно важной характеристики – выделяет модели выбора языковых средств в зависимости от целей коммуникации. Выбор средств автор считает важнейшим показателем "групповых предпочтений и неприятий". Приведем примеры особенностей набора языковых единиц, используемых в исследуемом социальном слое. К о н с о н а н т и з м. Некоторые представители гуманитарной интеллигенции – и только они – произносят так называемое [Ж*М] полумягкое в словах типа *жюри*. В о к а л и з м. Опять же для произнесения некоторых слов иноязычного происхождения характерно отсутствие редукции [o]: с[o]нет, к[o]рнет. Л е к с и к а, с л о в о у п о т р е б л е н и е. Автор отме-

чает такие "интеллигентские" слова, как *отнюдь, жаль* (вместо *жалко*). Не менее характерной чертой автор считает неупотребление слов, которые интеллигент связывает с чиновничьей речью: *обговорить, конкретика, определиться, задействовать*. Как весьма характерную черту в речи интеллигенции автор рассматривает жаргонизмы: *С этим делом у них глухо; Мы все были в таком напряге; У меня нет своей тусовки*. Особо автор останавливается на характерных чертах речевого поведения исследуемой социальной группы. Автор пронизательно замечает, что важной чертой исследуемой социальной группы является умение легко переключаться с одних разновидностей языка на другие. Интеллигенция способна к полигlossии. И эта черта отличает ее от носителей просторечия, которые по преимуществу моногlossны. Полигlossия "обеспечивается механизмом кодовых переключений, который вырабатывается у человека в процессе его социализации в культурной речевой среде. Усвоение системы социальных ролей, свойственных данному обществу, идет в тесном взаимодействии с усвоением норм речевого поведения... А варьирование этих норм в значительной мере возможно лишь потому, что язык представляет говорящему различные способы выражения одних и тех же коммуникативных интенций, одних и тех же смыслов" (с. 100). Автор останавливается на анализе строго регламентированных способов установления контакта, в частности по телефону, а также при обращении к незнакомым лицам в магазине или на улице, ср. – *Скажите, пожалуйста,....; Простите,....; Коллега!, но не Кондуктор! Водитель!* Автор замечает, что в речи интеллигенции велик удельный вес использования так называемых прецедентных текстов: использование имен известных лиц (Иван Сусанин), литературных героев (Плюшкин), цитирование литературных произведений и анекдотов и обыгрывание цитат (*пить или не пить*). Для речевого поведения интеллигенции весьма характерна языковая игра, например сознательное нарушение норм, искажение цитат: *тюльпанчики, ужасно, муроприятие; В этом деле он съел не одну собаку*.

Статья Г.А. Золотова о "Грамматика как наука о человеке" нацелена, скорее, на постановку глобальных задач, чем на решение конкретных задач лингвистики. Г.А. Золотова говорит о важности воссоединения близких лингвистике наук и разделов лингвистики, которые последнее время стремятся к автономному существованию. Это прагматика, теория речевых актов, когнитология, теория текста, теория коммуникации.

Автор пишет: "Каждая область плодила полезные и бесполезные термины. Но другим материалом, кроме языкового, эти науки не располагают, существовать они могут только на почве языка. А язык материально един. Рассматривая его с одной, пусть и необходимой точки зрения, мы недооцениваем другие, разрушаем единство языкового феномена. Создается одностороннее, обедненное представление о предмете" (с. 108). Г.А. Золотова замечает, что объединяющим началом могут стать понятие текста как цели и результата речевой деятельности и фигура человека, пользующегося языком. Следовательно, особую роль автор отводит функциональному подходу к языку, считая, что характеристики каждой языковой единицы определяются взаимообусловленностью ее формы, значения и функции. Другое направление пафоса статьи Г.А. Золотовой – это призыв пересмотреть некоторые традиционные взгляды русистики на структуру предложения. Автор показывает, что понятия неопределенно-личного, обобщенно-личного, безличного предложения, односоставного и двусоставного предложения противоречивы. Действительно, в примере из Тургенева *Вы выходите на крыльцо Вам холодно немножко...* предложение *Вы выходите на крыльцо* следовало бы признать двусоставным, где *вы* – состав подлежащего, а *выходите* – сказуемого. Между тем *вы* здесь обобщенно-личное, а обобщенно-личные предложения – это разновидность односоставных предложений. Далее, дательный субъекта в предложении *Вам холодно немножко*, с одной стороны, выражает высокую степень субъективности состояния, выраженного словом категории состояния (ср. также *Мне грустно*), но, с другой стороны, по правилам русской грамматики *Вам холодно* и *Мне грустно* принадлежат к категории безличных предложений, т.е. к тому же типу, что и очевидно безличные предложения *Светает* и *Прорвало плотину*. Автор предлагает некоторые альтернативные понятия, которые могли бы прийти на смену старым: эксклюзивность, т.е. исключенность говорящего из множества возможных субъектов действия (*Звонят*), инклюзивность, т.е. понятие 'я и другие' (*Идешь и думаешь*), инволютивность (*Мне подумалось*). Статья Г.А. Золотовой написана в научно-публицистическом жанре, трактует наиболее общие проблемы лингвистики и сопредельных областей, весьма полемична и обращена в будущее, в отличие от большинства других работ, публикуемых в сборнике, которые посвящены, по преимуществу, фиксации полученных авторами результатов. В порядке частного возражения автору заметим, что трактовка предложения

Вот бреду я вдоль большой дороги (Тютчев) как обозначающего ситуацию, имеющую место в момент речи (здесь и сейчас), представляется не вполне точной. Скорее, данное предложение – это воспоминание говорящего, который подает то, что было вчера, как происходящее перед глазами. На это указывает порядок слов *бреду я*. В предложении, произносимом в режиме реального времени, порядок слов был бы такой: *я бреду*. Ср. (разговор по телефону) *Я стою на платформе на станции Фили и жду тебя*. Это предложение произносится в ситуации "здесь-сейчас". А предложение *Стою я на платформе на станции Фили и жду тебя* с другим порядком слов – это воспоминание о том, что было когда-то, преподносимое в рамках стратегии "как будто здесь и сейчас". Ср. также *Я беру три яйца, добавляю молока и взбиваю вилкой* (объяснения ведущего телепередачи по кулинарии) – *Беру я три яйца, взбиваю их вилкой*. (рассказ о прошлом).

В статье Е.А. Земской "Язык русского зарубежья: итоги и перспективы исследования" представлен анализ экстралингвистических факторов, непосредственно влияющих на строй языка. Новизна исследования – в комплексном подходе к установлению "корреляции между историческими, социальными, культурными, индивидуальными особенностями и степенью сохранности/разрушения русского языка". На степень сохранности языка в иноязычном окружении влияют многие факторы: в первую очередь, это стремление сохранить русский язык. В этом смысле имеется большое отличие эмигрантов первой – послереволюционной – волны эмиграции от эмигрантов последней – четвертой, или экономической, – волны, начиная с конца 80-х годов. Представители первой волны эмиграции обычно берегут русский язык. Первая волна отличается хорошим владением одного и более иностранных языков, которые они знают с детства. Эти люди не допускают смешения языков, не строят макаронический дискурс, а используют иноязычные слова в номинативной функции, когда не знают подходящего русского слова для некоторой реалии. Чужой язык для них удобен и привычен, и они не подвергают его действию словообразовательных моделей русского языка. Тем самым они берегут не только русский, но и чужой язык. Эмигранты последних волн в большинстве своем до приезда в новую страну обитания совсем не знают или плохо знают язык страны эмиграции. Интересно, что у этих людей русский язык разрушается после 5–10 лет жизни вне метрополии. В особенности это касается тех, кто уехал из

России в детстве и не получил образования на русском языке. Эмигранты последней волны часто используют в русской речи лексику и фразеологию чужого языка без особой надобности. Они часто применяют новые слова и выражения для языковой игры в духе народной этимологии и построения каламбуров: *рехнунг такой, что рехнуться можно*. Многие представители последних волн эмиграции не заботятся о чистоте языка. Весьма часто в номинативных целях они создают не только производные существительные (*велферщик, бистряк*), но и прилагательные (*трехбедрумый*) и глаголы (*драйвать*). Для эмигрантов всех волн характерна глубокая рефлексия по поводу языка – русского и нового языка страны обитания. Автор заключает, что во-первых, разнообразие во владении русским языком в эмиграции у отдельных представителей эмиграции весьма велико. "Язык диаспоры представляет собой континуум" (с. 128). И во-вторых, автор считает, что ответ на вопрос – Умирает ли язык русского зарубежья? – скорее, отрицательный. Автор выявляет факторы, способствующие сохранению русского языка: "причины и цель эмиграции (бегство на время/отъезд навсегда); общая образованность и знание других языков; интерес к России, ее культуре, истории, своим предкам, вызывающие желание сохранить русский язык, развитая языковая рефлексия; сила характера данного человека и тех его близких, которые являются носителями русского языка; профессия, требующая знания русского языка; тесная связь с православной церковью" (с. 128). Статья Е.А. Земской соединяет научный подход к проблеме существования русского языка в нерусском окружении с осуждением гуманитарной проблемы бытия, устремлений мысли, души и духа человека в эмиграции.

Статья Е.Н. Ш и р я е в а "Семантико-синтаксическая структура разговорного диалога" посвящена анализу спонтанной речи. Предмет анализа – записи живых диалогов. Одно из основных понятий, которыми оперирует автор, – апперцепционная база, или фоновые знания говорящих, их опыт. Обще-апперцепционная база объединяет всех или большинство носителей русского языка, а частно-апперцепционная база – микроколлектив (семью, коллег). В своей статье автор останавливается на трех основных вопросах. (1) Использование так называемых неформальных связей в диалогических репликах. Эти связи основаны на жизненном опыте говорящих, как широком (обще-апперцепционная база), так и частном (частно-апперцепционная база). (2) Использование косвенных речевых

актов. (3) Использование в диалоге особых постулатов общения, направленных на экспликацию мотивов. Так, если говорящий обращается к слушающему с просьбой сходить за хлебом, то он, как правило, мотивирует свою просьбу отсутствием продуктов, а если второй коммуникант отвечает отрицательно, то он обязательно мотивирует свой отказ, например вечерней лекцией, после которой все магазины будут уже закрыты. Приведем примеры неформальных связей: А. *Завтра на лыжах пойдем?* Б. *Говорили до двадцати будет*. Реплика Б. – это фактически отказ, потому что в соответствии с обще-апперцепционной базой при двадцатиградусном морозе на лыжах не ходят. Другой пример. А. *Ко мне Миша придет на машине* Б. *Подрежь яблоню*. Частно-апперцепционная база: Миша любит ставить машину под яблоней, а яблоня разрослась так, что поставить машину на привычное место без подрезания веток невозможно. Использование косвенных речевых актов рассматривается в основном на примере вопросов *с как?, почему?, разве?, зачем?*, выражающим не собственно вопрос, а, скорее, неудовольствие говорящего: А. *Разве можно на ночь так много кофе пить?* Б. *Да ничего*.

Автор показывает, что для диалога весьма характерна экспликация постулатов речевого общения. Говорящий выдвигает резоны, которые ориентированы на слушающего и обосновывают уместность слов и действий. А второй коммуникант, в свою очередь, дает не просто утвердительные или отрицательные ответы, но еще и объясняет свое нежелание или, наоборот, готовность стремиться к решению поставленных задач или идти к цели: А. *Поедем сегодня на выставку погуляем! ты давно хотела!* Б. *Давай попозже только! не так жарко!* (когда будет не так жарко). Постулат А. *Ты давно хотела* призван показать, что предложение А. *Поедем сегодня на выставку* делается не просто так, в ответ на давним желанием Б. В порядке замечания отметим, что повтор в ответной реплике части вопроса может быть связан не только с перевоплощением конца вопроса в тему ответа (*Куда поехал Вася?* – *Вася поехал в Калугу*) или с передразниванием (А. *Я не пойду завтра на лекции*. Б. *"Я не пойду завтра на лекции"* – это как? А. *Не пойду и все*), но также и с особым типом вопроса-переспроса, который служит важным средством, с помощью которого второй коммуникант подтверждает факт установления контакта с первым или факт приема информации (А. *На Лосинку надо ездить за продуктами. Там все дешевле*. Б. *Там все дешевле? Это хорошо*).

В статье М.Л. Гаспарова и Т.В. Скулачевой "Глагольная рифма и синтаксис стихотворной статьи" устанавливается связь между ритмом и рифмой в стихотворной строке и синтаксической структурой соответствующего строке предложения. Метод – статистический анализ. Авторы анализируют синтаксическую структуру строки, завершающейся весьма частотной рифмой на -АЛ, которую называют приютом глаголов. Проблема рассматривается на материале "Евгения Онегина" и некоторых других произведений. Всего в "Евгении Онегине" 360 строк, кончающихся на -АЛ. 41 строка кончается на односложное слово (глаголы типа *дал* – 46%, существительные в именительном единственного типа *бал* и существительные в родительном множественного типа *зал*). 137 строк кончаются на двусложные слова, среди них 118 глаголов типа *внимал*. 172 строки кончаются на трехсложные слова, среди них 151 глагол типа *воспевал*. 10 строк кончаются на четырехсложное слово, все – на глагол типа *подозревал*. Нетрудно показать, что синтаксическая структура строк с подобными рифмами статистически легко предсказуема. В строках с четырехсложным глаголом – это структуры подлежащее-сказуемое (*Где Рафаель живописал*) или дополнение-сказуемое (*Сей Геллеспонт переплывал*). В строках с трехсложным глаголом – это структуры с двумя глаголами (*И откормил и обокрал*), деепричастие плюс глагол (*Не унывая, открывал*), подлежащее плюс глагол (*Булат могучий засверкал*), дополнение плюс глагол (*С негодованьем отказал*). Дальнейший ход анализа легко восстанавливается по приведенным здесь примерам. Такова попытка авторов определить основные синтаксические структуры в стихах и их относительную частотность в стихотворных текстах.

Статья Д.О. Добровольского "К динамике узуса" тоже посвящена языку Пушкина. Автор сравнивает язык "Пиковой дамы" (ПД) с языком наших дней. Статья имеет подзаголовки: "Язык Пушкина и современное словоупотребление". Отмечая, что синтаксис Пушкина вполне "современен" – он меньше устарел, чем, скажем, синтаксис Грибоедова, – автор склоняется к мысли о том, что существенно изменились со времен Пушкина правила сочетаемости, модели управления, фокусировка определенных частей семантической структуры слова. Претерпели существенные изменения сочетания лексических функций с существительными (*полагать надежду* у Пушкина), таксономические категории актантов (*Как зовут этот мост?* – ПД, ср. также – *Не знаю, – отвечал Бурмин – не знаю, как зовут деревню, где я венчался*

(Метель)), управление (*Но графиня услышала весть, для нее новую, с большим равнодушием* (ПД), ср. современное *выслушала весть; На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало* (ПД) (современное *на него подействовало*); *Тройка, семерка, туз – не выходили из его головы, шевелились на его губах* (ПД), ср. современное *у него из головы, у него на губах*). Относительно последнего примера автор высказывает интересное предположение, что семантическая категория отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности получила регулярное языковое выражение не во времена Пушкина, а в более позднее время.

Весьма интересные и проницательные замечания связаны с рубрикой, которую автор называет "странный глагол". Она связана с "несоблюдением действующих сегодня аспектуальных или акциональных ограничений..., но чаще речь идет об изменении лексико-сочетательных конвенций:... *Приехав домой, она с п е ш и л а отослать заспанную девку*" (с. 174). На современном русском языке мы бы сказали *попешшила отослать*. Другой пример расхождения с современным узусом: *Свечи вынесли, комната опять о с в е т и л а с ь одною лампадою* (ПД). Сейчас было бы сказано: *была теперь освещена* или *стала освещаться*. В заключение автор высказывает гипотезу о том, что рассмотренные модели, отличающие язык Пушкина от современного, иллюстрируют собой "слабые места", легко поддающиеся расшатыванию и в современном русском языке, ср., например нарушения моделей управления: *утверждать, что* vs. ненормативное, но часто встречающееся *утверждать о*. Диахронические фонетические изменения и изменения в значениях слов – это два традиционных направления исторического языкознания. Исторический синтаксис языков разных генетических и типологических групп также изучен достаточно глубоко. Между тем исторические изменения узуса, роль категорий в структуре текста – это сравнительно новая и перспективная область и можно заключить, что статья Д.О. Добровольского вносит существенный вклад в это направление.

Фактически к этому же направлению относится и работа П.В. Петрухина о роли видо-временных категорий в древнерусском языке, в частности, в сопоставлении с современным русским языком. Статья П.В. Петрухина называется "Syntaxis verbii: консеквтивный имперфект в ранних восточнославянских летописях". Автор замечает, что в ходе исторического развития произошли

существенные изменения в области категорий вида и времени, а также произошло и некоторое перераспределение функций между этими категориями. Автор сосредоточивает внимание на употреблении форм имперфекта в древнерусских текстах раннего периода в сопоставлении с формами аориста. Материалом для анализа автору служат следующие тексты: Новгородская Первая летопись по Синодальному списку и Повесть временных лет по Лаврентьевскому и Ипатьевскому спискам, а также некоторые другие тексты. Традиционно считается, что имперфект выражает некоторое второстепенное действие, на фоне которого разворачиваются основные события: *Я еще спал, когда неожиданно приехали гости*. Здесь *Я еще спал* соотносится с фоновым событием, а *приехали гости* входит в основной сюжет, т.е., как говорится, "продвигает повествование вперед". В русском языке имперфекту соответствует прошедшее время несовершенного вида. В древнерусском же языке видовые формы выражают по преимуществу противопоставления по способу глагольного действия: формы совершенного вида связаны с выражением большого разнообразия способов действия. А противопоставления по длительности/завершенности/целостности действия связаны, скорее, с противопоставлением имперфект vs. аорист. В современном языке картина иная, т.к. видо-временные глагольные формы различают не только способы действия, но и аспектуальные значения. Автор показывает, что, вопреки распространенному мнению, формы имперфекта далеко не всегда выражают фоновое событие. В текстах находится много примеров, когда формы имперфекта наряду с формами аориста продвигают повествование вперед. Такое употребление имперфекта – весьма частотное – автор называет консеквативным имперфектом: *А Древляне затворишася в градъ и боряхуся крѣпко изъ града* (Лавр., л. 16). В русском языке в подобных текстах была бы употреблена конструкция с глаголом совершенного вида *стать*: *А древляне затворились в городе и стали крепко бороться, сидя в городе*.

Кстати, на то же различие между современными русскими текстами и текстами более раннего периода указывают и Д.О. Добровольский. Так, предложение из "Пиковой дамы" *Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою* в современном тексте имело бы вид: *Свечи вынесли, комната опять стала освещаться одною лампадою*. В целом, П.В. Петрухин показывает, что существуют определенные "прагматических стратегии, по Тимберлейку", которые регламентируют употребление видо-вре-

менных форм в зависимости от структуры сюжета и нарративных целей автора повествования.

Перейдем теперь к статье А. Тимберлейка "Redactions of the Primary Chronicle" ["Редакции Повести временных лет"]. Анализируя текст нескольких списков Повести временных лет и обращаясь к анализу Повести временных лет, проведенному другими авторами, прежде всего А.А. Шахматовым, автор приходит к выводу, что Повесть временных лет редактировалась двумя разными летописцами на протяжении 1089–1117. Автор замечает, что вставки в тексте отражают взгляды разных людей на одни и те же события. Первый, более ранний, историк, которому принадлежит создание Начального свода Повести временных лет, обладал бесхитрым взглядом на мир, Бога и людей. Он считал, что если мы страдаем, то это потому что Бог наказывает нас за наши неисчислимые грехи. Раньше мы были слепыми язычниками, но сейчас увидели свет, и там, где прежде совершались языческие жертвоприношения, теперь можно видеть златоверхие каменные церкви. Позднейший летописец и редактор имел более изощренные взгляды. Он был не чужд диалектического подхода и умел уважать мнение других. Он подробно излагает позицию язычника, но только как позицию чуждого ему варварского сознания. В отличие от первого летописца, он не считает язычников своими предками: они дики, и их обычай непонятны ему. Он дистанцируется от них, весь проникнутый осознанием собственной принадлежности к единой христианской культуре. Язычники жили "не вѣдуще закона Божия, но творяще сами собѣ закон... мы же х^стеане... законъ имамъ единъ". Таким образом, второй летописец как бы отвечает на вопросы и обвинения, которые могут возникнуть по отношению к Руси у византийского мира, и старается предвосхитить возможные недоумения со стороны общественного мнения. Автор находит различия у летописцев и в отношении к другим фактам истории. Анализ мировоззрения летописцев, а также анализ вставок и швов в текстах списков Повести временных лет и других летописей, в частности Новгородской Первой летописи, приводит автора к мысли о том, что существовало два летописца с присущим каждому складом ума и взглядами на мир. Автор заключает, что создание Повести временных лет можно рассматривать как многоплановый динамический процесс. Статья содержит интересную полемику с точкой зрения А.А. Шахматова, которую мы здесь не излагаем, потому что это потребовало бы слишком много места. В целом,

можно заключить, что А. Тимберлейк вносит коррективы в гипотезу А.А. Шахматова относительно количества редакций Повести временных лет и времени работы летописцев, которые одновременно были и редакторами более ранних версий Повести.

Испанский русист Э.Ф. Керо Хервиля в статье "Сопоставительное изучение неопределенных местоимений-прилагательных в русском и испанском языках в рамках референциального подхода" сосредоточивается на контрастивном анализе русских и испанских неопределенных местоимений. Автор выделяет русские местоимения – *какой-нибудь, какой-либо, кое-какой* – и устанавливает соответствия этих местоимений испанским неопределенным местоимениям и неопределенному артиклю. Автор показывает, что при установлении такого соответствия релевантны следующие признаки: референциальный статус (референтный/нереферентный, известный/неизвестный говорящему/слушающему/обоим), тип высказывания (утвердительные высказывания/высказывания со снятой утвердительностью) и другие признаки, такие как исчисляемость, положительное/отрицательное отношение говорящего к референту, ср. отрицательные коннотации, связанные с местоимениями *какой-то, какой-нибудь, какой-то*: *Я тебе не какой-нибудь...*

В целом можно заключить, что выход нового журнала – это большое событие

в судьбе лингвистики и в жизни лингвистов. Все высказанные здесь замечания следует рассматривать лишь как дань жанру рецензии. Они говорят только о том, что опубликованные в первом номере журнала статьи склоняют читателя к размышлению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Зализняк Анна А.* 1988 – О понятии имплицитивного типа // *Логический анализ языка. Знание и мнение.* М., 1988.
- Зализняк Анна А.* 1992 – Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния // *Slavistische Beiträge.* Bd. 298. München, 1992.
- Крейдлих Г.Е.* 1983 – О некоторых особенностях синтаксического поведения предикатов с сентенциальными актантами // *Семиотика и информатика.* Вып. 21. М., 1983.
- Падучева Е.В.* 1977 – Понятие презумпции в лингвистической семантике // *Семиотика и информатика.* Вып. 8. М., 1977.
- Шатуновский И.Б.* 1988 – Эпистемические глаголы: коммуникативная перспектива, презумпции, прагматика // *Логический анализ языка. Знание и мнение.* М., 1988.

Т.Е. Янко

Lea Siilin. Отражение графико-орфографических норм церковнославянского языка русского извода в житийной литературе второй половины XVI века (на материале Жития преподобного Александра Свирского). Joensuu yliopisto. Joensuu. 2001. 401 с.

Монография финской исследовательницы Леа Силин обращена к реальности текста важнейшего из традиционных жанров древнерусской книжности и представляет собой тщательный анализ палеографического и графико-орфографического аспекта оригинальной русской агиографии XVI в. накануне кодификации норм русского литературно-письменного языка. Исследование выполнено в историко-функциональном ключе с учетом динамичного взаимодействия всех существующих в истории русской письменности факторов: староцерковнославянской традиции, второго южнославянского влияния, писцово-школы в докодификационный период и территориального варианта звучащей речи – в качестве импульса творческих изменений в графико-орфографической системе жанра.

Внимание исследователей церковнославянского языка традиционно сосредотачивалось более всего на его ранних этапах, в то время

как поздние центробежные процессы, приведшие к смещению центров кодификации церковнославянского языка (Москва, Киев, Вильно), ничуть не менее важны для осмысления истории русской книжности и литературно-письменной традиции. Основательный труд Леа Силин не только закрывает существенные пробелы лингвистического источниковедения, в определенной степени связанные с идеологическими догмами советского периода, но и корректирует явные перекосы историко-лингвистических штудий в сторону гипотетических реконструкций и особенно теоретического парения над фактами взамен сложного, скрупулезного и обстоятельного изучения письменных показаний текстов, единственно только и составляющих историко-языковую реальность.

Научная актуальность разрабатываемой автором темы обуславливается также недооценкой церковнославянского канона в ходе

кодификации литературной нормы русского языка, традиционно заниженной оценкой письменной формы речи, как и недостаточностью фундаментальных лингвистических исследований по агиографическому жанру, обладающему высокими стилистическими качествами и идеологическим "достоинством", определявшим средневековую языковую норму. Нельзя забывать при этом, что все еще не до конца решены и продолжают оставаться спорными именно по причине слабо проанализированной фактологической базы проблемы дефиниции второго южнославянского влияния, его объема и временных границ (см., например, работы Л.П. Жуковской, М.Г. Гальченко, М.В. Ивановой и др.).

Главную источниковедческую базу принятого исследования составляет Житие преподобного Александра Сварского (далее – ЖАС) – оригинальный, очень популярный и практически неизученный памятник русской агиографической литературы XVI века, составленный в Северо-Западной Руси. Он был включен в состав Великих Макарьевских Четьих Миней и зафиксирован специалистами в 163 списках XVI–XIX вв.

Непосредственным объектом тщательного текстологического, палеографического и графико-орфографического анализа послужили 20 рукописных списков этого Жития (основной корпус и корпус-А). В качестве сравнительно-сопоставительного фона привлечены и другие церковнославянские тексты (корпус-Б), сам выбор которых, оптимально целесообразный с точки зрения хронологии, жанра, редакции и писцовых школ, как представляется, уже служит показателем высокой степени эрудиции автора: это Успенский сборник XII–XIII вв., Киевская Псалтырь московской школы письма 1397 г., светская повесть о Куликовской битве киприановской редакции второй половины XVI в., а также первопечатные московские книги: Апостол 1564 г. (русский вариант орфографической системы) и Острожская Библия 1581 г. с ее мощным, впоследствии реализованным потенциалом печатного литургического образца – в общей сложности свыше 3300 рукописных страниц (листов), что само по себе говорит о серьезной и репрезентативной фактологической базе исследования. При этом регулярное привлечение показаний первых церковнославянских грамматик, словарей разного типа, сопоставительный анализ с другими агиографическими источниками, обращение к рукописям южнославянской и византийской языковой традиции свидетельствуют о том, что эта база выходит за пределы заявленной во введении.

Сам автор исследовательскую новизну своего труда усматривает в том, что графико-орфографическая система рукописей, анализируемая на динамическом фоне формальных способов репрезентации звучащей речи на протяжении XI–XVII вв., рассматривается в ней на материале синхронных и максимально идентичных списков и через призму эволюции церковнославянской традиции письма в первую очередь.

Хотя графико-орфографическое изучение и описание средневековых письменных памятников традиционны для русской исторической филологии, тем не менее в силу своей объективной сложности и ориентированности на глубинные закономерности исторического развития, они характеризуются различными подходами в палеославистике (ср., например, дискуссию, начатую В.М. Живовым (1987) по поводу работы венгерского слависта И.Х. Тота (1985), активно продолженную, в частности, В.В. Колесовым (1999), а также разные интерпретации, в том числе и терминологические, Б.А. Успенского, В.М. Живова и других представителей московской школы, В.В. Колесова и петербургской школы, казанской школы (В.М. Маркова), а потому представляют существенную проблему теории языка. В связи с этим рецензируемая монография Леа Силин ценна разработкой собственной теоретической и описательной модели функционирования графико-орфографических средств на уровне текста; исследование направлено не просто на эмпирическую описательность, но и на систематизацию, обобщение, теоретическое и культурно-историческое осмысление отдельных фактов письменной речи.

Высокий уровень представленной работы в большой степени определяется реализованным в ней живым поисковым характером адекватных методов и принципов сравнительно-сопоставительного изучения материала: так, текстологический анализ используется для установления разночтений и выявления хронологии изучаемых списков, типологический анализ – для выяснения структуры текстов и сопоставления их составов; палеографический анализ – для исследования типа письма, количества и характера почерков, уточнения хронологии списков. Особенно следует подчеркнуть творческую модификацию методов дистрибутивного анализа применительно к графике и орфографии источников: этот метод описания аллографов, выделения их дистрибутивных классов и изучения дистрибутивных рядов внутри класса в соотношении с базовыми понятиями системы, нормы, узуса и конкретной реализации вполне право-

мерно стал основополагающим при выполнении центральной исследовательской части монографии. При этом историзм, пронизывающий всю работу, не дал возможности автору ограничиться только синхронным анализом: ретроспективный и перспективный взгляд по каждому из частных вопросов, заложенный уже в оптимально подобранных для диахронических сопоставлений фоновых источниках, привел в действие и приемы сравнительно-исторического исследования, заметно расширив заявленную автором методологическую и методическую базу.

Реферирование палеославистических работ на русском, английском, немецком, финском языках обнаруживает не только широкую эрудицию, уважительное и толерантное отношение к предшествующим исследованиям, но и очерчивает имеющиеся лакуны в сформировавшихся научных представлениях.

Автор монографии совершенно правомерно акцентирует внимание на актуальности проблем орфографии, ее нормализации и унификации в связи с возникновением московского книгопечатания и формулирует главную цель исследования как изучение состояния графика-орфографической системы церковнославянского языка второй половины XVI в.

Вся работа построена как объединение восьми неравных по объему глав. Их параметры, последовательность и структура определены логикой анализа и общим сюжетом исследования. Необходимые и, как правило, относительно краткие историко-лингвистические очерки реферативного характера предваряют основные исследовательские главы, разрабатывающие текстологический, палеографический и графика-орфографический аспекты анализа и завершающиеся итоговой главой о вариантности графика-орфографических норм и кратким заключением. Монография содержит также перечень источников, обширный библиографический список научной литературы на четырех языках, приложение (литературные источники ЖАС, образцы почерков), список условных сокращений и указатель 25-ти таблиц, более всего представляющих наглядные схемы дистрибуции изученных графем и орфограмм.

В первой – "Вводной" – главе (с. 1–19), помимо развернутой аргументации актуальности темы и обоснования научной значимости исследования, формулируются цель и задачи работы, а также дается общая характеристика объекта, предмета изучения, методов и источников.

Вторая глава – "Преподобный Александр Свирский и его житие" (с. 20–34) – имеет историко-текстологический характер. Она систематизирует и обобщает сведения о жизни и деяниях Александра Свирского как одного из основателей Свято-Троицкого монастыря и просветителей Карелии, канонизированного православной церковью в 1547 г. В главе дается общая литературная характеристика Жития, написанного его учеником монахом Иродионом, как самого типичного компилятивного и отражающего официальный вкус эпохи агиографического сочинения писательской школы митрополита Макария. Тщательно собранные по московским, петербургским и нововалаамским архивам сведения об имеющихся списках Жития предваряют авторский текстологический анализ 72 списков ЖАС, в ходе которого изучался состав, характер и порядок следования разрабатываемых мотивов прижизненных и посмертных чудес, и это позволило Л. Силюн доказательно судить об относительной и даже абсолютной хронологии этих списков.

В третьей главе – "Язык и культура Московской Руси в XVI в." (с. 35–45) – дается краткий очерк культурно-общественной жизни Московской Руси до начала книгопечатания и в связи с его возникновением, направленным на создание общеязыковых норм для укрепляющегося Московского государства с его официальной идеологией "третьего Рима". Специально рассматривается организующая роль монастырей, и особенно севернорусских, как авторитетных культурных центров, а также реферировается большая и сложная специальная литература по языковой ситуации и оценке лингвистической гетерогенности письменной культуры Руси этого времени. В основу собственных теоретических построений Л. Силюн кладет всеми признаваемые, неоспоримые положения о взаимовлиянии уходящей южнославянской и новой московской орфографии, а также о взаимовлиянии рукописных и печатных текстов как магистральных направлениях в преобразовании литературного канона XVI в. (с. 44–45).

Объектом историко-реферативного обзора четвертой главы – "Нормирование церковнославянской орфографии" (с. 46–60) – послужили книжные sprawy XVI в. с их двумя подходами – текстологическим и грамматическим, ярче всего проявившимися в деятельности Константина Костенечского, автора известного орфографического трактата, с одной стороны, и Максима Грека, с именем которого связано начало кодификации норм церковнослав. языка, митрополита Макария и авторов первых грамматик церковнослав. языка – с другой стороны. Кроме того, в главе

обобщаются и систематизируются основные моменты острой дискуссии о времени, причинах и характере II южнославянского влияния, а также весьма существенные для общей концепции работы проблемы принципов церковнославянской орфографии, позволяющие проследить процесс преобразования системы в его динамике. Среди общих тенденций упорядочивания в тексте графико-орфографических единиц письменной речи автор акцентирует существование противоположно направленных тенденций XVI в. – к сознательной архаизации в духе торжественного церемониального стиля "второго монументализма" (Д.С. Лихачев) и ориентации на живой русский язык (с. 59).

Пятая глава – "Палеографическое описание рукописей" (с. 61–107) – дает блестящий образец анализа, систематизации и описания обширного фактологического материала рассмотренных списков, демонстрируя глубокое знание предмета исследователем. В лучших традициях классической исторической филологии автор обстоятельно и до педантизма тщательно описывает состояние и внешний вид рукописей, включая чернила, краски, заглавия и заставки, концовки, инициалы, состав тетрадей, их пагинацию и порядок следования, регистрирует дефекты рукописей (графические ассимиляции, пропуски, повторы, правки), в мельчайших деталях исследует начерки и особенности употребления букв, сокращений, закономерности написания выносных букв и слогов, разного рода лигатур, характерного для времени написания множества надстрочных знаков и, конечно же, главное внимание уделяя установлению индивидуальных почерков, присущей каждому из них графической вариантности букв и сличению каждой отдельной руки не только друг с другом, но и с уже описанными палеографами почерками профессионалов, в том числе валаамского писца Закхейя, болгарского писца Висарiona Дебърского и других представителей новгородской, московской, виленской, а также тырновско-ресавской письменных традиций.

В шестой (центральной) главе – "Графико-орфографический анализ" (с. 108–350), – выполненной современными методами изучения орфографических систем на синхронном и диахронном фоне памятников корпуса-Б, описывается функционирование в списках ЖАС графико-орфографических единиц, само-выделение и индексация которых свидетельствует о всестороннем учете всех существенных формальных параметров византийско-славянской книжности средневековья. Тщательнейшим образом Л. Силин исследует позиционное варьирование дублетных глас-

ных и согласных, дистрибуцию всех параллельных южнослав. и восточнославянских рефлексов, а также дистрибуцию написаний, отражающих фонетические изменения исторического периода, в каждом отдельном случае определяя соотношение системы – нормы – узуса – конкретного написания и устанавливая следование определенным традициям или их нарушения.

В седьмой главе – "Вариативность графико-орфографических норм" (с. 351–366) – подводятся итоги изучения графико-орфографического аспекта и тенденций к унификации правописания в истории русского литературного языка донационального периода. В частности, здесь формулируется типология варьирования изученных норм графики и орфографии. Так, наряду с функциональной дублетностью графем, которая является характерной чертой графики XVI в. и, как это убедительно показано автором, регулируется более всего позиционным принципом, существенную роль в правописании списков ЖАС имело практическое варьирование, эстетико-орнаментальное и стилистическое. При этом Л. Силин убедительно аргументирует актуальность южнославянской графико-орфографической традиции для списков ЖАС второй половины XVI в. и заметную степень их ориентации на нормы позднерусской церковнославянской орфографии. В отношении варьирования морфологических орфограмм списки хорошо отражают древнерусскую традицию (например, выбор глагольного *-ть*) и даже диалектные особенности (унификация надежных флексий по мягкому варианту). В ходе установления уровня развития различных принципов орфографии в исследуемых рукописях (морфологического, этимологического, символического, традиционного, фонетического) автор выделяет морфологический принцип как ведущий и объясняет его соблюдением традиций церковного произношения (вопреки московскому аканью прежде всего).

В Заключении, обозначенном автором как восьмая глава (с. 367–368), подводятся основные итоги разрабатываемой темы и формулируется свое видение новизны исследования.

К сожалению, полученные автором реальные и значимые результаты, не будучи выделенными в конце каждой из глав или в заключении, как бы распылены в тексте монографии, и читателю приходится самому делать обобщения и выводы, преодолевая некоторую эмпиричность изложения.

Из критических замечаний добавим еще одно. Поскольку в целом исследование поражает широтой, богатством и тщательностью историко-лингвистических коммента-

риев фонетического, фонологического, морфологического, лексического характера, отдельные погрешности в выборе термина или неточность комментирования выглядят единичными досадными помарками. См., например, наименование звуковых сочетаний [ot], [ja], [ju], [je] ф о н е м о й (таблицы 4, 5, 7 на с. 142, 157, 166); выделение префикса *въ* в словоформах от бесприставочного глагола *вотити* или же в образованиях с другими приставками (*вънезину*, *вотпросити*, *востати* – с. 247–248); квалификация имперфектных форм с -ѣа- как нестяженных (с. 344); однозначное определение флексии -ы как показателя им. пад. мн. числа в форме *браты* без необходимого исторического комментария (с. 343); определение исконной ф л е к с и и -а краткого действ. прич. наст. вр. муж. рода (с. 350) на месте его видоизмененной бесфлексивной основы и др.

Наиболее существенные результаты и выводы исследования, насыщенного множеством уникальных и интереснейших наблюдений, мне представляются в следующем:

1. Автор предлагает теоретически обоснованные базовые понятия системы – нормы – узуса – реализации системы, которые позволяют формально эксплицировать литературный канон и интерпретировать его как инвариант, обеспечивающий единство и тождество графической и орфографической единицы в синхронии и диахронии. В монографии разработана модель поэтапного и комплексного исследования на текстологическом, палеографическом, графико-орфографическом и частично фонологическом уровнях практически неизученного популярного оригинального памятника Московской Руси XVI в. – важного фрагмента концептуальной картины мира средневекового сознания, отразившего, в связи с ценностной иерархией сакральных представлений, "букву и дух" церковнославянского языка русской редакции накануне кодификации его норм.

2. В результате предпринятого оригинального текстологического анализа основного и сравнительного материала 18-ти списков Жития выделены четыре их структурных типа, которые позволили аргументировать историю создания текста в его рукописном бытовании, убедительно обосновать его новгородское происхождение, уточнить датировки списков и выявить самые ранние, насчитывающие более трех веков списки с пятью рассказами о прижизненных чудесах и одиннадцатью рассказами о посмертных чудесах преп. Александра Свирского. Обнаруженные четыре типа текста отражают последовательные этапы литературной истории исследуемого памятника (с. 27–33).

3. На основе скрупулезного палеографического обследования рукописных списков ЖАС выявлены и определены подтипы московского полуустава XVI в., выработанные на базе старого русского полуустава и южнославянского полуустава XV в. Выявлены рукописи, написанные одним писцом (списки Р-632, П-59) и несколькими (С-997, С-497, С-183, Т-137), установлено количество почерков в каждом списке и графические варианты букв внутри одного почерка, изучены их функции и генетические истоки, по специально разработанной методике обозначена и учтена в таблицах степень употребительности каждой графемы. Функциональная дублетность вариантов правомерно рассмотрена не только как естественное следствие языковой эволюции, составляющее узловую проблему церковнославянской орфографии, но и как этап перестройки графической системы, реализация которой основывалась на индивидуальной графико-орфографической с т р а т е г и и писца, определявшейся степенью его начитанности, приверженности престижной южнославянской моде, а также индивидуальным инвентарем букв и личным эстетическим вкусом (с. 356–357). Доказательно описан высокий уровень профессионального мастерства писцов ЖАС, владевших разными манерами письма, и прежде всего искусством полуустава, с включением элементов вязи (связные написания) и скорописи (хвосты в начертаниях букв). Определен набор уходящих грецизированных буквенных написаний и начертаний, выявлены элементы актуализирующей декоративной скорописи. В целом ряде случаев автор, выходя за пределы поставленных задач, касается существенных фонологических проблем устной диалектной речи как субстрата формальных изменений письма. Так, смешение букв *ятъ* и *и-восьмиричного* на конце слов (список М-1170) правомерно интерпретируется им как отражение фонологического единства соответствующих звуков, отмеченного в говорах Поморской и Олонецкой групп севернорусского наречия, аналогично фонологической причиной объясняется разграничение букв *о* (*онъ*) и *онь* с *каморой* в списке Т-317 (отражение севернорусского разграничения фонем /o/ и /õ/).

4. Ценным вкладом в славянскую палеоорфографию является установление системы орфографических норм в списках агиографического сочинения второй половины XVI века – переходной эпохи для орфографии русской рукописной книжности, когда влияние первопечатных изданий еще не имело широкого распространения. Убедительно аргументировано как наличие в изученных списках

отдельных орфографических приемов, в том числе южнославянизмов и диалектизмов, так и отсутствие представлений об их совокупности и однородности (с. 366). Доказана непоследовательность нормализации языка и правописания, поскольку в образцовых и сакрально значимых текстах – минеях митрополита Макария – наличествуют диалектные особенности. Это позволило сделать вывод об односторонности известного научного положения относительно опоры церковнославянских текстов на собственно орфографическую традицию в отличие от правописания русского, где оно было подвержено влиянию произношения.

5. Особое внимание обращает автор на историко-культурную ситуацию канонизации "новопрославленных святых" и создания сопутствующих служб, акафистов и агиографии на примере сложения текста ЖАС и распространения его списков. Эту ситуацию Л. Силин правомерно оценивает как способствующую тиражированию соответствующих рукописей, а вместе с этим и их унификации в текстологическом и палеографическом отношениях.

В ходе решения центральной проблемы своего исследования – упорядоченности орфографии в списках ЖАС – автор поднимает вопрос о роли типа текста в этом процессе, фактически впервые выдвигая масштабную культурологическую идею о глубокой имплицитной связи в православном сознании формальной стороны агиографического текста с иконописью.

Результаты исследования Л. Силин, без сомнения, послужат прочной опорой для дальнейших изысканий как в области истории церковнославянского и русского литературного языка, палеографии и палеоорфографии, так и в области исторической текстологии и общей теории литературных языков в условиях гомогенного билингвизма.

Особо нельзя не отметить высокую культуру русской литературной речи автора, уровень владения которой составил бы честь носителю русского языка как родного.

Л.В. Савельева

Е.Л. Березович. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Екатеринбург: Издательство Уральского университета. 2000. 532 с.

Библиография топонимии Русского Севера насчитывает огромное число публикаций. Подавляющее их большинство посвящено этимологизации отдельных топонимов или их групп, установлению и детализации языковой принадлежности народов, проживавших на данной территории, исследованию истории славянского заселения и освоения Севера, а также характера славяно-финских (в широком смысле последнего слова) языковых и хозяйственных контактов. Гораздо меньшее число работ посвящено проблеме отражения в топонимах духовной культуры народов, особенностей восприятия ими окружающего мира – проблеме, относящейся к области этнолингвистики. Книга Елены Львовны Березович в значительной степени восполняет этот пробел. По определению самого автора: "этнолингвистическое исследование, имеющее дело с двойным отражением (фрагмента действительности – в сознании носителя культуры, фрагмента сознания – в языке), должно, соответственно, ставить перед собой две взаимосвязанные задачи: определить специфику национально-обусловленного восприятия фрагмента действительности; показать особенности языкового канала трансляции информации о данном фрагменте действи-

тельности. По отношению к топонимическому материалу эта двуединая задача может быть сформулирована так: *выявить своеобразие топонимии как языкового источника информации о духовной культуре народа*" (с. 10–11).

Е.Л. Березович подробно рассматривает следующие основные проблемы: концепция географического пространства в русской топонимии; народная религия и верования в зеркале топонимической номинации; человек и пространственные объекты (процессы интеракции); топонимия и фольклор (взаимодействие различных версий этнокультурной информации). В ограниченных рамках рецензии невозможно даже простым перечислением охватить богатство поднятых в книге вопросов, выдвинутых идей и конкретных наблюдений (приводящих порой к совершенно неожиданным результатам)¹. Многие из этих

¹ Работа Е.Л. Березович базируется на данных картотеки Топонимической экспедиции Уральского государственного университета по территории Русского Севера (Архангельская, Вологодская и часть Костромской области), содержащей более 900 000 единиц хранения. В сопоставительных целях использованы материалы по топонимии ряда при-

наблюдений, думается, заставят пересмотреть общепринятые "очевидные" обоснования семантики ряда топонимов. Одно из ключевых положений книги (с. 43–44) гласит:

«Если поиск исходного апеллятива осуществляется при отсутствии каких бы то ни было сведений об объекте и топониме, то используемый для этого ономастический и этимологический анализ теряет семантическую поддержку и в значительной степени утрачивает результативность, поскольку исследователь оказывается лишенным ключа, позволяющего выбрать:

– из нескольких омонимичных (гомогенных или гетерогенных) форм ту, которая легла в основу данного названия (приведен пример: с каким апеллятивом связан топоним *Попадья*: *попадья* 'жена попа' или диалектным *попадья* 'глубокий овраг с отвесными стенами'? Только зная, что *Попадья* – название лога, можно выбрать второй вариант; ср. с названием горы *Попадьевы Груды* или покоса *Попадья* – "как юбка широкая" – А.Ш.);

– из ряда значений многозначного слова то, которое реализуется в данном случае (каков смысл названия *Летнее*: объект используется летом? Находится на *лете* = на юге?)

– из пучка возможных мотивировок ту, которая мотивирует данное имя (почему объект назван *Вавилоном*: это "место разврата"? место, где живут носители разных языков?». Добавим от себя (А.Ш.) и *вавилон* 'изгиб': "река пошла *вавилонами*"; здесь мы опять сталкиваемся с омонимией возможных этимонов.

Нижеприведенные избранные примеры иллюстрируют сказанное, предостерегая от лобовых, "напрашивающихся" решений при анализе внешне простых смыслов топонимов.

Бабы топонимы зачастую являются своеобразными маркерами близкого расположения объекта к дому (с. 95). Заметим, что для данной группы топонимов нельзя упускать из вида и возможного финно-угорского влияния (традиций, возникших под влиянием иноэтнического субстрата или адстрата): в прибалтийско-финской и саамской топонимии многие "бабы" топонимы имеют сакральное значение. Нельзя упускать из вида и диал. *баба* 'старика реки'.

Маркерами близости объекта к дому являются и образы некоторых домашних животных и птиц: кошки и курицы, причем *куриные* топонимы также зачастую маркируют и предельно мелкие гидрообъекты (с. 95–96).

легających регионов. Активно привлекаются публикации по частным проблемам и общим вопросам ономастики (библиография работы насчитывает 807 источников).

Истинный смысл *правых* и *левых* названий во многих случаях можно постичь лишь установив точку отсчета номинатора. Так, в топонимической системе деревни Шегмас Лешуконского р-на Архангельской обл. функционируют две пары *Правых* и *Левых Рассох* (истоки рек Кузегга и Боровая). В обоих случаях правая и левая стороны определены по ходу движения к объекту от дома, но при этом в первом случае "правое" и "левое" определялось при движении против течения реки, во втором – по течению (с. 102–103).

Неоднозначна подчас ситуация и с *передними* и *задними* названиями: номинатор может находиться между соответствующими объектами (один – "на задах" деревни, другой – перед ней), а также вовне их обоих (тогда *передним* объектом оказывается ближний к деревне, а *задним* – дальний) (с. 106–108).

Названия, обозначающие верхние и нижние (относительно какой-то точки отсчета) объекты, встречаются, как правило, парами (порой дополняясь и "средним" членом оппозиции). Это наблюдение на первый взгляд тривиально. Но если обратиться к субстратной (финно-угорской) топонимии этих же территорий (см. работы А.К. Матвеева), картина оказывается совершенно иной: "верхние" названия не имеют, как правило коррелятивных пар. Это объясняется "маршрутным" видением древних насельников края, для которых были характерны сезонные перекочевки (обусловленные типом хозяйства, в котором доминировала охота, рыболовство и оленеводство), связанные зачастую с преодолением водоразделов. Верховья реки, к тому же, часто являлись пределом хозяйственно освоенной территории (с. 109–110).

Названия типа *Дурак*, *Болван*, *Солдат*, *Монах* зачастую знаменуют не внешний образ самого объекта, а его отдаленность от других однотипных, или же неудобство для его преодоления (с. 162–163).

Интересна идея о былом существовании "наивного метрологического" критерия протяженности или удаленности объекта – расстояния, на котором слышен человеческий голос (поле *Зычное*, тоня *Подзаголо*). Прямые аналогии этому автор находит в финно-угорских языках (с. 181–182). Этот вопрос, конечно, заслуживает дальнейшей разработки. Укажем, что В. Ниссиля отводил карельским "голосовым" топонимам иную, "путевую" роль: крик с данного объекта сигнализировал владельцу лодки о необходимости переправить путника через водную преграду (ср. аналогичную функцию названия *Долгие крики* в одноименном рассказе Ю. Казакова).

К наивной метрологии автор причисляет и своеобразный способ измерения глубины водных объектов, видя его отражение в названиях ручьев, рек, болот, покосов *Гуздомойки*, *Мокрогуз*, *Беспорточный*, *Безоштянка*, *Гологузка*, *Голожопица*, *Голопуповщина* (с. 183–184).

Необжитое пространство именуется как *глухое*, *слепое*, *вольное*, *пустое* (озеро *Пустое* не обязательно скудно рыбой; просто оно не обжито, не освоено). В номинации опасных в преодолении, труднодоступных объектов часто используется образ *собаки* (с. 185–189).

При исследовании названий, отражающих религиозные представления и верования, сделано следующее нетривиальное наблюдение: топоним *Кресты* (ср. *кресты* 'перекресток дорог') может связываться с представлениями о нечистой силе ("там манило, черт там баловался", "там леший водит", "место там особое, страшное, манит") (с. 301).

Необходимость учета исторической информации (в данном случае – деятельности монастырей) иллюстрируется великолепным примером (с. 287): близ дер. Лопшеньга на Летнем берегу Белого моря находится тonya *Сиська*, что можно считать образным названием (ср. многочисленные "анатомические" топонимы типа *Бабье Гузно*, *Брюшина*, *Бабья Жона*, *Титька*). И, действительно, один из информантов дает такую мотивировку топонима – "там мелко место посреди, бат, как сиська торчит". Однако Е.Л. Березович имеет основания утверждать: "косвенные падежи этого топонима (*на Сиськой*, *к Сиськой*) указывают, что перед нами прилагательное (стяженная форма именительного падежа прилагательных – распространённое явление в севернорусской топонимии). Скорее всего, следует восстановить исходную форму **Сийски(я)*, ср. историческое свидетельство о том, что тонями у д. Лопшеньга длительное время владел Антониюво-Сийский монастырь".

Особо хотелось бы отметить новаторский подход Е.Л. Березович к трактовке ряда русских топонимов как отражения взаимодействия (а не просто отношения) человека и географических объектов. Автор обоснованно вводит понятие *интерактивных* топонимов. Последние определяются (с. 351) как топонимы, которые связаны с характеристикой динамической стороны представления субъекта в географических названиях, взаимодействия человека и ландшафтных объектов. Здесь речь идет не просто о введении нового термина или добавления новой позиции в семантическую классификацию топонимов. Вопрос гораздо серьезней. Именно введение данного понятия позволяет в извест-

ной степени упорядочить такую классификацию, избавить ее от избыточных позиций и сделать более строгой. Ограничимся следующими моментами.

Большинство (если не сказать все) классификаций топонимов по семантическому принципу² оставляют часть материала в тени, обрекая его на маргинальное положение и ссылая в разделы "разное", "прочие названия", "нерегулярные названия" и т.п. Таким образом, место подобных топонимов в общей картине оказывается абсолютно неопределённым (а коли так, неясна и их ценность для лингвистических, культурологических и иных исследований). Между тем подобные топонимы (при выяснении мотивации, обстоятельств их возникновения) оказываются в большинстве случаев, вполне классифицируемыми (с. 373–412).

Традиционные классификации неоправданно включают в те или иные группы топонимы лишь по внешним признакам: "собачьи", "куриные" и т.п. – в раздел "Фауна", "беспорточные" и "гологузные", соответственно, в разделы "Одежда" и "Части тела" и т.д. На самом же деле первые названия очень часто характеризуют степень удаленности объекта от жилья или трудности его преодоления, а вторые – условия преодоления (глубина реки, болота требует той или иной степени оголения, дабы не замочить одежду при переходе) (с. 370). Таким образом, традиционные классификации часто провоцируют ложные этимологии.

Существенно, что от *интерактивных* Е.Л. Березович отделяет *событийные* топонимы (с. 365): взаимодействия человека и географической реалии как таковой может и не быть, если эта реалия была лишь фоном для события. Ср.: поле *Заблудни* – "девка заблудилась" и бол. *Заблудное* – "люди пойдут, заблудятся".

Основной вывод автора: интерактивная русская топонимия демонстрирует прагматичность восприятия окружающего пространства, которое конституируется функционально, представляя, как сумма значимых в хозяйственном отношении угодий. Нам этот вывод представляется в целом верным, но несколько расплывчато сформулированным, даже учитывая предшествующее развернутое обсуждение материала. Как следует из исследований многих авторов, ранняя русская и дорусская

² Как пример, приведем популярный принцип генеральной дискриминации топонимов согласно Н.Б. Ковалевой): 1) номинация по связи объекта с человеком; 2) номинация объекта по отношению его к окружающим объектам; 3) номинация объекта по его собственным свойствам и качествам.

(прибалтийско-финская и саамская) топонимия севера России прагматична в своей основе как таковая. Возможно, излишняя краткость и осторожность Е.Л. Березович в данном моменте продиктована самой новизной постановки проблемы и обилием материала, подлежащего анализу. Считаю, тем не менее, что подход, развитый автором, является серьезным вкладом в теоретическую ономастику.

Отдельный вопрос, рассматриваемый Е.Л. Березович – взаимодействие топонимии и фольклора (типология отражения топонимов и мифотопонимов в текстах произведений устного народного творчества, топонимические предания, возможность верификации внутренней формы топонима на основе топонимических преданий).

Не имея возможности для подробного комментария анализа автором топонимических преданий с мифологическими или историческими мотивами, приведем наиболее значимые, на наш взгляд (с точки зрения топонимических исследований), выводы:

«Топонимия и фольклор вступают в тесное взаимодействие, обнаруживаемое на разных уровнях... Следует найти случаи корреляции между мотивировкой топонима и мотивами фольклорных произведений. Такие случаи реализуют фольклорную ремотивацию топонима (объяснение внутренней формы географического названия с помощью произведения устного народного творчества или в связи с ним). Проблема фольклорной ремотивации имеет "двойное дно": связь между мотивом фольклорного текста и мотивировкой топонима может носить как первич-

ный, так и вторичный характер, что переводит изучение фольклорно-топонимических соответствий в плоскость восприятия топонимов и вместе с тем ставит проблему верификации вторичной информации.

Попытка рассматривать географическое пространство как арену, где происходили исторические события, приводит к тому, что историческая тема, "иницированная" одним из географических названий, нередко получает развитие в преданиях, направляемых именованиями смежных объектов.

Взаимовлияние этнокультурной информации, эксплицируемой фольклорными текстами и топонимами, оказываются асимметричными: фольклорная информация в редких случаях мотивирует топоним, в то время как обратная ситуация весьма частотна».

За рамками книги осталась субстратная финно-угорская топонимия Русского Севера (хотя автор знаком со многими результатами исследований в этой области и в ряде случаев удачно их привлекает: см. выше об оппозиции "верх – низ" и др.). Полагаем, что основные результаты исследования Е.Л. Березович помогут многое прояснить и в этой области. В свою очередь, учет результатов соответствующих исследований, очевидно, внесет некие коррективы в иные концепции автора. Особый интерес представляет выявление как сходства, так и различий в характере отражения и восприятия окружающего мира топонимией разноязычных обитателей этих краев. Но это задача уже будущих исследований.

А.Л. Шилов

W.J. Hutchins (Ed.). Early years in machine translation: memoirs and biographies of pioneers (Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series III. Studies in the history of language sciences). John Benjamins Publishing Company. Amsterdam; Philadelphia. 2000. xii + 405 p.

В середине прошлого века ведущие авторитеты тогда еще новой структурной лингвистики все настойчивее подчеркивали, что задачей языкознания является (подобно тому, как это имеет место в математике) построение непротиворечивых "красивых" теорий – теорий, которые не нуждаются в экспериментальной проверке своей онтологии. "(...) экспериментальные данные, – писал Л. Ельмслев, – никогда не могут усилить или ослабить теорию, они могут усилить или ослабить только ее пригодность" [Ельмслев 1999: 142]. Аналогичные утверждения встречаются в ранних работах Н. Хомского [Хомский 1965: 250 и сл.]. Схожи с ними рассуждения некоторых ученых и в 60-е гг. [Гладкий, Мельчук

1969: 6]. Однако ход развития науки, как известно, полон неожиданностей и парадоксов. Именно в этот период произошло зарождение и бурное формирование совершенно новой ветви языкознания – инженерной лингвистики, точнее, ее центрального направления – машинного перевода (МП), которому было суждено стать наиболее сильным средством оперативной экспериментальной проверки состоятельности лингвистических теорий.

Зарождению МП и его первым шагам, а отчасти оценке идей и замыслов его пионеров с точки зрения сегодняшней практики автоматической переработки текста (АПТ) посвящен рецензируемый сборник. Организатором и редактором сборника, а также

автором нескольких входящих в него статей является известный английский историк МП Дж. Хатчинс [Hutchins 1986].

Из воспоминаний пионеров читатель узнает, с каким трудом формировалась теория и технология МП. И это понятно. Перед зачинателями МП стояла трудная задача совместить недостаточно упорядоченные представления о строении языка и речи, а также нестрогие приемы анализа и описания текста, с одной стороны, с достаточно четко и последовательно отработанной математической технологией, на которую опиралась быстро развивавшаяся техника алгоритмизации и программирования, с другой. Каких-либо серьезных прототипов для решения этой задачи в конце 50-х – начале 60-х гг. не существовало.

Сложность ситуации усугублялась тем, что романтическая идея создать говорящую и переводящую машины привлекла специалистов самых разнообразных специальностей. Здесь наряду с лингвистами [Э. Рейфлер, США (Micklesen: 21)¹; А. Браун, США (Brown: 134); В. Леманн, США (Lehmann: 164); С. Лэм, США (Lamb: 195) и др.], библиотекарями [Дж. Хатчинс, Великобритания (Hutchins: 15)], математиками [У. Уиевер, США (Hutchins: 17); П. Сталл, Чехия (Kirschner: 349–350); А. Людсканов, Болгария (Paskaleva: 364–365) и др.], инженерами, электро- и радиотехниками [Г. Кинг, США (Hutchins: 171); М. Гросс, Франция (Gross: 330); Э. Бут, Великобритания (Booth: 260–261), Х. Вада, Япония (Wada: 385) и др.] не только вращались, но пытались руководить исследованиями журналисты [Э. фон Глазерфельд, США (Glaserfeld: 324)], деятели Коминтерна и переводчики СМЕРШ'а [В.Ю. Розенцвейг – брат известной советской разведчицы Е.В. Зарубиной-Розенцвейг (Mel'čuk: 208)].

Лишь немногие из них, как например Й. Бар-Хиллель [Израиль] (Hutchins: 299), П. Тома [США] (Тома: 145), А. Эттингер [США] (Oettinger: 73), В. Ингве [США] (Yngve: 72), обладали одновременно наряду с физико-математическим или инженерным образованием знанием разных языков, или сочетали профессиональную лингвистическую подготовку с некоторыми математическими или инженерными знаниями. Среди последних М. Васконселос [США] (Vasconcellos: 96), М. Заречняк [США] (Zarechnak: 128), а также отечественные ученые Н.Д. Андреев, Р.Г. Пиотровский (Piotrowski: 234–242), Г.Г. Белоногов, Ю.Н. Марчук (Marčuk: 251)².

Поэтому одной из основных трудностей в развитии МП было преодоление различий в подходе к структуре языка филологов, с одной стороны, и математиков и техников, с другой. Эти различия в подходах быстрее сглаживались в творческих "тандемах" филолог – математик или филолог – техник, примером которых могли служить такие содружества московских ученых, как И.К. Бельской с Д.Ю. Пановым (Mološnaja: 228; Marčuk: 244–245), И.А. Мельчука с О.С. Кулагиной и А.В. Гладким (Mel'čuk: 212–216).

Трудности в достижении научного взаимопонимания стали причиной появления в 50–60-е гг. ряда альтернативных подходов, из которых немногие выдержали проверку временем.

В 50-е гг. умы пионеров МП занимали идеи полностью автоматического высококачественного перевода (fully automatic high quality translation – FАHQT), выросшие из постулатов всеобщей математики Р. Декарта – Г.В. Лебница и логики Б. Рассела и опиравшиеся на предположении Л. Ельмслева и Н. Хомского о том, что естественный язык, так же, как искусственные языки математики или логики, представляет собой исчисление (Hutchins: 3, 8–9; Oettinger: 80, Montgomery: 97–109; Kulagina: 197–203; Piotrowski: 234–235). Идея высококачественного перевода, ассоциируемого с разработкой логического универсального метаязыка, стала центром теоретических изысканий в области АПТ. Порой автоматический перевод представлялся в несколько парадоксальной форме – "перевод без перевода, без машин, без алгоритмов" [Мельчук, Равич 1967: 8–9].

К концу 50-х годов стал очевидным нарастающий разрыв между теоретической и практической ориентациями на FАHQT и реальные рабочие системы, выполняющие узкие задачи. "Алгебраическая лингвистика", опиравшаяся на идею полной формализации языка, оказалась слишком непродуктивной. Главной неразрешимой проблемой оставалось распознавание семантики [Дрейфус 1978]. Требовалось решить вопрос расширения и формализации словарей, изучить различия в синтаксической структуре языков и разработать принципы синтаксического анализа. Стало вполне очевидно, что создание метаязыка или логического описания языка, сопровождаемого формализацией человеческих знаний и психических процессов, потребует нескольких десятков лет работы сотен лингвистов, психологов, математиков и програм-

¹ В круглых скобках даются ссылки на авторов статей и страницы рецензируемого сборника.

² К сожалению, не упоминаются имена

таких ученых, как А. Есенин-Вольпин, Д. Лахути, В. Чернявский [Pevzner 2001: 81–86], внесших заметный вклад в становление МП.

мистов (Piotrowski: 235; Marčuk: 245–248). Закономерным следствием творческого тупика "алгебраической лингвистики" стало собрание в октябре 1963 г. Консультативного комитета по автоматической переработке естественно-го языка (automatic language processing advisory committee – ALPAC) с целью изучить состояние дел в области МП, что привело в 60-е гг. к откату в финансовой поддержке МП в США.

Значимыми событиями 50-х гг. стали демонстрации Джорджтаунской системы русско-английского МП для нужд Пентагона, – системы, ориентированной не на FANQT, а на грубую с точки зрения синтаксиса, семантики и стилистики, но понятную для потребителя и устойчивую переработку текста (Vasconcellos: 90–94; Zarechnak: 111–127). Эти опыты стимулировали выделение значительных средств от Национального научного фонда, а затем и от таких Федеральных служб США, как ЦРУ, военно-воздушные, сухопутные и военно-морские силы и др. Благодаря этой поддержке активизировали свою деятельность и другие американские коллективы. Среди них группы под руководством В. Ингве (Массачусетский технологический институт); А. Эттингера (Гарвардский университет); П. Тома (Калифорнийский технологический институт), присоединившегося позднее к Джорджтаунской группе, возглавляемой Л. Достертом; С. Лэма (Калифорнийский университет в г. Беркли) и др.

Проверкой реально работающих систем является реализация различных форм АПТ на текстах, взятых наугад. Уже на рубеже 50–60-х гг. американские исследовательские группы не только организовали показы "грубого" МП, но осуществили массовый пословно-пооборотный перевод русских документов по технической, медицинской, политической и др. тематике [LES 1960: 185–348].

Деятельность пионеров послужила импульсом для исследований в Чехословакии, Болгарии, Италии, Франции, Японии, Китае, Англии и др. странах (Booth: 253–261; Sparck Jones: 263–278; Wilks: 279–297; Glasersfeld: 313–324; Gross: 325–330; Kirschner: 349–360; Paskaleva: 361–376; Wada: 377–385). Особо заслуживают внимания работы советских коллективов, которые были среди первых разработчиков МП. Так, в 1954–1955 гг. сразу после знаменитого эксперимента в Джорджтаунском университете по созданию русско-английской системы перевода к МП обратились ученые из Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) Д.Ю. Панов и И.К. Бельская. Они первыми дали относительно понятный перевод текста, заранее введенного в машину вместе с программой его преобразования.

К сожалению, малочисленность и слабость отечественной вычислительной техники тормозили создание работающих систем МП. Первый в СССР опыт по машинной переработке английских и немецких наугад взятых текстов был осуществлен только в конце 60-х гг. в Ленинграде группой "Статистика речи" (СтР), руководимой профессором Р.Г. Пиотровским (газета "Ленинградская правда" 30.05.68).

В 60-е гг. зарождается новое направление научно-исследовательской деятельности зарубежных и русских ученых. Преодолев наивно-романтическую мечту о "высококачественном автоматическом переводе", которая подогрела работы по созданию систем АПТ первого поколения, отечественная инженерная лингвистика и некоторые американские коллективы направили свои усилия на разработку систем АПТ и МП, способных выдавать грамматически и стилистически не вполне корректный, но отражающий основное содержание обрабатываемого документа перевод. Среди них Джорджтаунская система, продемонстрированная в декабре 1961 г. в ЕВРАТОМ'е (Европейское сообщество по атомной энергии) (Испра, Италия); система SYSTRAN (акроним для "system of translation") П. Тома, разработка которой началась в 1964 г. в Германии (в 1974 г. система SYSTRAN активно использовалась Национальным управлением по авионавигации и исследованию космического пространства – NASA – в период реализации проекта "Аполлон-Союз"); разрабатываемая с 1963 г. в Советском Союзе англо-русская система для перевода патентной документации, использовавшаяся в Центральном бюро патентования в Москве; система CULT для перевода математических текстов с китайского языка, созданная в 1972 г. в Китайском университете в Гонконге; первая полностью автоматическая система для перевода сводок погоды, разработанная в Центре автоматической переработки лингвистических данных (Centre de traitement automatisé des données linguistiques – CETADOL) и введенная в практику в 1976 г. в Монреале и др. (Hutchins: 12, 303; Montgomery: 98; Brown: 132; Lehmann: 158).

В 70-е гг. активизировалась деятельность группы СтР. Она включала лингвистов и преподавателей языка, математиков и программистов, психологов и психиатров. Головной коллектив группы работал в Ленинграде, филиалы находились в Минске, Кишиневе, Риге, Тарту, Харькове, Баку, республиках Средней Азии, а позднее в США, Франции, Голландии, Израиле и др. странах.

Около 40 лет в группе решаются проблемы АПТ, в том числе МП, а также линг-

вистические и лингводидактические задачи искусственного интеллекта. Группа СтР подошла к задаче компьютеризации лингвистики самым, казалось бы, примитивным образом, то есть через выделение наиболее информативных и частотных слов, выражений и грамматических структур. Они и должны были составить ядро языковых знаний и умений компьютера, позволяющих ему решать не слишком сложные лингвистические задачи. Этот упрощенный прагматический подход, объединяющий теорию и практику использования лингвистических автоматов (ЛА)³, получил название "инженерная лингвистика" (на Западе в конце 80-х гг. этот термин вошел в употребление в виде английского *language engineering*).

Важным моментом в научно-исследовательской деятельности группы является то, что она начала гораздо раньше, чем американцы, работать над вопросом извлечения с помощью компьютера основного смысла документа. Задачу извлечения основной идеи документа решает так называемое машинное реферирование. Параллельно с МП группа в конце 60-х гг. занялась построением программ такого реферирования. Результатом работы стало создание в середине 70-х гг. программы китайско-русского МП, ориентированной прежде всего на перевод почтовых телеграфных сообщений. За эту компьютерную систему в 1982 г. группе СтР была присуждена премия Совета Министров.

В дальнейшем выделявшиеся из группы СтР научно-исследовательские коллективы в России и Украине, Молдове и Белоруссии выпустили на Европейский рынок ряд программ АПТ (*MULTIS-SILOD, STYLUS, SARMA, PARS* и др.), осуществляющих реальную коммерческую обработку деловых текстов (Piotrowski: 237; Marčuk: 247–249).

Материалы статей сборника позволяют сделать вывод о том, что неудачи попыток создания высококачественного МП и использования языка-посредника были связаны прежде всего с нечеткой ассоциативной природой естественного языка (Piotrowski: 237–239). Одним из первых ученых, еще в начале 50-х гг. обративших внимание на различие между искусственным и естественным языками и изложивших свои сомнения по поводу создания ФАНТ, был известный израильский философ-логик Й. Бар-Хиллель (Hutchins: 9, 309–311; Montgomery: 97).

³ Лингвистический автомат представляет собой сочетание компьютера, лингвистического алгоритма и реализующей его программы (программное и информационно-лингвистическое обеспечение).

Пренебрежение различиями и парадоксами, отделяющими естественный язык от языка компьютера [Заде 1976; Мельников 1978: 218 и сл.], неизменно заводило и заводит в тупик всех разработчиков систем АПТ и МП, которые пытались и пытаются работать в русле дедуктивно-логической стратегии. За более чем 40 лет существования проблемы АПТ ни одному из европейских, советских (российских), американских коллективов, работавших в этом ключе, не удалось построить реально работающую систему МП. Поэтому уже в середине 60-х гг. ряд западных и российских коллективов – в первую очередь международная группа СтР – обратились к поиску альтернативной стратегии и выработке новой инженерно-лингвистической технологии.

Такой стратегией является информационно-статистический и многоуровневый подход к решению задачи АПТ. Одной из ключевых идей развития указанной методологии является имитация речевого поведения человека. Последняя состоит в пошаговом сокращении неопределенности, в которой оказывается ЛА, – неопределенности, порождаемой, с одной стороны, многозначностью словарных лексических единиц, морфологических форм и синтаксических схем, содержащихся в тексте, а с другой – недостатком лингвистических и энциклопедических знаний.

Сокращение неопределенности идет снизу вверх от лексических фактов к семантико-синтаксической и прагматической цели. Неопределенность снимается благодаря узкой направленности машинно-переводческого модуля на конкретную предметную область (ПО) и тщательному отбору терминов и терминологических словосочетаний в автоматические словари (Piotrowski: 240–241).

Выясняется, что одной из сложнейших задач системы МП является устранение многозначности. Оказывается, целый пласт терминологических слов и словосочетаний не может обойтись без вторичного означивания (вторичного семиозиса). Причем эта "терминологическая болезнь" характерна как для терминов, относящихся к различным ПО, так и обслуживающих одну ПО. Таким образом, язык терминологии несмотря на предъявляемые к ней требования однозначности, стилистической нейтральности и контекстуальной независимости не является формальным исчислением. Выдаваемый ЛА перевод текста обычно далек от стилистического совершенства, а значит стопроцентное преодоление барьера отторжения, отделяющего естественный язык от языка ЭВМ, является делом будущего.

Итак, противоречивая и полная драматических коллизий история МП служит убедительным доказательством того, что состоятельность лингвистических теорий должна подвергаться экспериментальной проверке. В этом и состоит большое научное значение рецензируемого сборника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гладкий А.В., Мельчук И.А.* 1969 – Элементы математической лингвистики. М., 1969.
- Дрейфус Х.* 1978 – Чего не могут вычислительные машины. Критика искусственного разума. М., 1978.
- Ельмслев Л.* 1999 – Прологомены к теории языка // Зарубежная лингвистика. I / Общ. ред. В.А. Звегинцева и Н.С.Чемоданова. М., 1999.
- Заде Л.* 1976 – Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М., 1976.

В.С. Баевский. Лингвистические, математические, семиотические и компьютерные модели в истории и теории литературы. М.: Языки славянской культуры, 2001. 336 с. (Studia philologica).

В книге В.С. Баевского подытожен тридцатилетний опыт работы смоленского стиховеда в области точных методов исследования поэтического языка. Книга, кроме введения и заключения, содержит 15 глав, в большинстве своем уже опубликованных в виде статей, написанных В.С. Баевским самостоятельно или в соавторстве. В качестве методологического ориентира для исследования поэтических текстов автор избирает математические методы, прежде всего "математическую статистику, теорию вероятностей, логику и компьютерное моделирование" (из аннотации). Основной предмет книги – структура поэтического текста, взятая как внутри ее самой, так и в контексте других произведений того же автора, произведений его современников, предшественников или последователей. Изучаются почти исключительно поэтические произведения русской литературы – от пушкинской поры до 60-х годов XX века. Вот выборочный перечень тем книги: мифообрядовые истоки волшебной сказки; структура пословиц определенного класса; единая теория поэтической фонетики; стихотворный ритм; строение ямбических и хорейских текстов с точки зрения выделенности слогов; структура онегинской строфы; жанровая система русской поэзии XVIII – начала XIX века; эволюция тем русской поэзии; периодизация творческого пути поэта; синтаксис поэтического

- Мельников Г.П.* 1978 – Системология и языковые аспекты кибернетики / Под ред. Ю.Г. Косарева. М., 1978.
- Мельчук И.А., Равич Р.Д.* 1967 – Автоматический перевод. 1949–1963 Критико-библиографический справочник / Под ред. Г.С. Цвейга и Э.К. Кузнецовой. М., 1967.
- Хомский Н.* 1965 – Объяснительные модели в лингвистике // Математическая логика и ее применения / Под ред. Э. Нагеля, П. Санпса и А. Тарского. М., 1965.
- Hutchins W.J.* 1986 – Machine translation: past, present, future. Chichester, 1986.
- LES 1960* – Linguistic and engineering studies in the automatic translation of scientific Russian into English // Technical Report. Phase II. Seattle, 1960.
- Pevzner B.* 2001 – First steps of language engineering in the USSR: The 50s through 70s // Machine translation / Ed. by Dr M. S. Blekhnman. New Delhi, 2001.

Н Ю. Зайцева

текста; и др. Наверное для того, чтобы подчеркнуть широту охвата материала и разнообразие проблематики, художник воспроизвел на первой полосе обложки книги (помимо фотографии В.С. Баевского на последней полосе) рисунок из дневника Леонардо да Винчи (точнее, его зеркальное отражение).

Разбор книги я начну с попытки осмысления ее названия. Слово *модель* принадлежит к числу научно-технических терминов с весьма широким содержанием; этот термин полисемичен. В области гуманитарного знания он может пониматься весьма широко: (а) как система правил, моделирующих, т.е. воспроизводящих, определенные операции носителя языка (например, переводящих с одного языка на другой); (б) как некая схема или таблица, отражающая строение некоторого феномена языка или стиха; (в) как определенный научный конструкт или научное построение, ориентированное на описание такого феномена; (г) просто как некий алгоритм или компьютерная программа для выполнения каких-либо расчетов, установления классификаций объектов или отношений между объектами и т.п. – и, может быть, в каких-то других смыслах. Существенно то, что когда в филологии говорят о модели некоторого явления, подразумевают нацеленность на достаточно строгое его описание, на применение методов, родственных

методам точных наук, на формально корректные и ясно сформулированные утверждения.

Как представляется, вынося слово *модель* в название своей книги, В.С. Баевский предполагал опору на полисемию указанного термина. К сожалению, нигде в книге он не разъяснил, как следует понимать *модель* в общем плане и в случае конкретных исследований, представленных в главах книги. По ее прочтении у рецензента сложилось впечатление, что автор понимает *модель* весьма неопределенно – в значениях (б), (в) или (г). Следует сказать, что "семиотических моделей" (в смысле – 'семиотических конструктов или построений') мне в книге найти не удалось. Глава 14, в которой крайне поверхностно и на одном-единственном примере рассматриваются вопросы представления информации в электронной форме, вообще не имеет отношения ни к одному из типов моделей, поименованных в заглавии книги¹.

Обратимся к конкретной методологически весьма важной цитате из аннотации (на с. 11–12 введения она повторена с преобразованием страдательного залога в первое лицо): "Строится языковая модель литературного явления; она подвергается математической обработке; для облегчения и ускорения работы используется компьютерная программа; после чего результат анализа переносится на литературное явление, которое изначально является предметом изучения". Что же такое "языковая модель литературного явления"? В каждом конкретном случае в это понятие можно вкладывать разное содержание. Допустим, мы имеем дело с поэтическим произведением; тогда я предполагаю, что его языковой моделью В.С. Баевский может назвать, в частности, просто описание методики всевозможных подсчетов, относящихся к разным аспектам строения произведения: к профилю ударности его строк; к употреблению ритмических форм и их модуляций в строках произведения²; к выделенности слогов в строках; к соотношениям между определенными фрагментами строф. По Баевскому, описание типов межстрочных переносов (*enjambements*) в произведении, по-видимому, тоже можно назвать "языковой моделью" произведения.

¹ В этой главе для обозначения информационной системы по Б.Л. Пастернаку применяется неудачная аббревиатура ПИСК (поисковая информационная система компьютерная – с. 16, 252, 253 и др.).

² Модуляция строки складывается из размера, ритмической формы, схемы словоразделов и типа клаузулы (другой термин – вариация).

То же относится к процедуре вычисления частот фонем в поэтическом тексте. Имеем ли мы дело с таким "литературным явлением", как некоторая особым образом выделенная совокупность произведений поэта или поэтов, относящаяся к определенному историческому периоду, – тогда набору признаков, выделяемых для описания строения соответствующих текстов, В.С. Баевский тоже готов присвоить название "языковой модели" данного литературного явления. Если автор выделяет совокупность пословиц, имеющих определенный тип синтаксической структуры (пословиц типа *С кем поведешься, от того и наберешься*, для структуры которых рецензент может предложить следующую схему: "группа, содержащая вопросительно-относительное местоимение + личный глагол + запятая + группа, содержащая местоимение, соотносительное с первым местоимением + частица *и* + личный глагол, как правило, антонимичный или квазиантонимичный первому глаголу"), тогда соответствующий тип структуры – вместе с алгоритмом порождения аналогичных "пословицеобразных" текстов и соответствующей компьютерной программой – он тоже подводит под "языковую модель" данного типа пословиц. Вероятностной моделью силлаботоники автор именуется таблицу, в которой каждому из пяти наиболее популярных силлабо-тонических размеров присвоена в процентах "мера соответствия структуры каждого размера ритмическому словарю русского языка" (с. 134). Обращаю внимание на то, что в конкретных исследованиях, отраженных в главах книги, автор не делает особого упора на их "модельный" характер – он присваивает своим исследованиям статус "языковых моделей" преимущественно в аннотации и во введении. Мне представляется, что сделано это напрасно – в силу полной неопределенности и неясности соответствующего понятия, я бы сказал, выхолащивания из него серьезного содержания в научной филологической литературе последнего времени. Если же ученый существенно опирается на понятие "языковая модель" и присваивает соответствующий статус своим результатам, тогда на него ложится обязанность прояснения его смысла в соответствующем контексте, чего в книге В.С. Баевского мы не видим.

Не видим мы в книге и другого – точности, ясности, строгости и последовательности в изложении методики и результатов исследований. В самом деле, книга, в которой прокламируется необходимость точных методов в филологических исследованиях, которая претендует на достижения, полученные с помощью самой точной из точных наук – мате-

матики, по самой сути таких заявлений и претензий должна отличаться от "традиционных" филологических работ большей строгостью и точностью изложения, последовательностью и логикой. В работе В.С. Баевского этого нет; напротив, в ней мы то и дело встречаем нестрогие введенные понятия; существенные для понимания сути дела термины, извлеченные из работ предшественников и никак не разъясняемые автором³; неясно сформулированные признаки стихотворного текста; противоречия между фрагментами изложения, отделенными близким печатным расстоянием (в пределах главы); неразъясненные обозначения; формулы, не встраивающиеся в контекст; иногда неправильно проведенные подсчеты и т.п. Подчас возникает впечатление, что для автора математика представляет собой самоцель, что ему очень хочется прибегнуть к высокоумному математическому понятию не ради прояснения сути дела или получения новой информации об исследуемом явлении, а просто ради самого принципа использования математического аппарата. При этом зачастую отсутствуют необходимые пояснения относительно используемых понятий. А ведь даже в нефилологических книгах вполне обычна практика коротких введений в математическую сторону дела: сжато излагается элементарный аппарат теории множеств, теории групп, математической логики и т.п. В.С. Баевский, написавший ряд работ в соавторстве с математиками-программистами (часть таких работ вошла в книгу), мог бы, например, привлечь их к такому нужному делу – написанию вводной математической главы, – но он, к сожалению, этого не сделал.

В книге на изрядную высоту поставлено значение математической статистики и теории вероятностей для теории литературы. Мне хотелось бы более трезво взглянуть на перспективы применения этих математических дисциплин в филологии. Думается, их значимость для гуманитарной области В.С. Баевским преувеличена. В большом числе случаев результаты, полученные математическими методами, лишь подтверждают то, что либо непосредственно дано интуиции исследователя и читателя, либо может быть добыто более традиционными филологическими методами. Это касается и таких глобальных обобщений, как принцип вероятностных зависимостей в поэтическом тексте (с. 14, 50–51 и др.), и таких частных наблюдений, как более тесная близость поэтических систем

Мандельштама и Ахматовой, чем каждой из них и поэтической системы Пастернака (с. 15). Я полагаю, что не стоит впадать в чрезмерное преувеличение достоинств математической методики и говорить о добытании с ее помощью новых знаний в большом числе случаев, – нет, очень часто математическая статистика лишь льет воду на мельницу того, что ясно и без нее⁴. Это не означает, что все соответствующие математически фундированные исследования проведены зря: подтверждение данных, полученных одним способом, посредством другой методики – весьма почетное занятие. Тем более что бывают отдельные случаи, когда математика не только подтверждает уже известное в филологии, но и высвечивает какие-то новые грани в исследуемом явлении (это случается иногда и на страницах книги В.С. Баевского).

Роль и значимость математических дисциплин в литературоведении можно рассмотреть на фоне истории отечественной математической лингвистики, а именно – на фоне некогда весьма популярных (особенно в 1970-е годы) опытов определения лингвистических понятий с помощью весьма изощренного математического аппарата (теории множеств, теории групп, других алгебраических субдисциплин, логики и т.п.). Нередко для определения грамматических понятий, скажем, падежа и рода предлагалась сложнейшая математическая конструкция, которая приводила к результатам, вполне согласующимся с уже практикуемыми представлениями об этих понятиях, и не добавляла ничего ценного ни в теоретическом, ни в практическом аспекте. Для определенного периода истории науки подобного рода опыты сыграли свою положительную роль и оставили след (подобно, скажем, дескриптивной лингвистике или теории Л. Ельмслева); однако после осознания их ограниченности в металингвистической проблематике стало превалировать обращение к более скромным, простым математическим

⁴ Позволю себе напомнить поучительный опыт Ю.М. и М.Ю. Лотманов [Лотман Ю., Лотман М. 1986], с помощью мощного статистического аппарата обосновавших фальсификацию десятой главы "Евгения Онегина" и тем самым подтвердивших непосредственное ощущение подавляющего большинства исследователей и читателей: низкое поэтическое качество и анахронизмы фальсификации не оставляли сомнений в том, что Пушкин к созданию этого текста непричастен. Возникал естественный вопрос: стоило ли затрачивать столь непомерные усилия для подтверждения очевидного?

³ А в большом числе случаев разъяснение могло бы занять всего лишь несколько строк или быть вынесено в короткое примечание.

инструментам⁵. Подобно тому как в лингвистике не следует придавать чрезмерно высокую значимость как самой металингвистической проблематике, так и применению в ней изоциренного математического аппарата, равным образом в области изучения поэтического языка следует со сдержанностью и осторожностью подходить к использованию разного рода математических инструментов, не превращая их в самоцель исследования⁶.

Обращаюсь теперь к выборочному разбору конкретных глав книги.

Относительно опыта изучения структуры пословиц (глава 2) В.С. Баевский во введении заявляет, что его работа по моделированию структуры пословиц, опубликованная в 1970 г., явилась одним из первых в СССР опытов применения компьютеров не только в литературоведении, но и вообще в гуманитарной области (с. 11)⁷. Спешу разуверить автора в его приоритете по крайней мере относительно широкой гуманитарной области: поскольку лингвистика к ней принадлежит, а с начала 60-х годов в нескольких научных центрах СССР проводились компьютерные эксперименты в области автоматической обработки текстов и автоматизации лингвистических исследований – в московском Институте языкознания, в Математическом институте им. В.А. Стеклова, в Институте прикладной математики АН СССР, в Тбилиском университете (о чем свидетельствует библиографический справочник [Мельчук, Равич 1967]), указанная работа Баевского, выполненная в конце этого десятилетия, никак не входит в круг пионерских в этой области. Рассматриваются пословицы с единой четкой синтаксической структурой. Результат, полученный в этой главе с помощью компьютера и состоящий в порождении новых "пословицеобразных" фраз (например,

⁵ Ср. металингвистические опыты И.А. Мельчука, который в своем "Курсе общей морфологии" со сдержанной скромностью и трезвостью предупреждает читателя об ограниченности своих результатов, в частности о том, что новых языковых фактов ждать от курса не следует [Мельчук 1997: 18].

⁶ Впрочем, с точки зрения математика-профессионала, математический аппарат книги В.С. Баевского "элементарен" (как охарактеризовал его акад. А.Н. Колмогоров, чей отзыв о докторской диссертации автора процитирован дважды – на с. 12 и на 4-й полосе обложки).

⁷ В начале главы 2 (с. 30) говорится более осторожно: В.С. Баевскому неизвестны более ранние компьютерно фундированные работы по поэтике.

"Как (Где/Сколько) барствую, так (там / столько > и холопствую)" – в угловых скобках указаны возможные альтернативы, при этом глагол можно варьировать по лицу и числу), по своей тривиальности характерен для всей книги: по моему разумению, он ничего не прибавляет к "пониманию структуры пословиц изучаемого класса" (с. 40), которую рецензент указал выше. Алгоритм, приводимый на с. 36, поражает своей неуместностью, старомодностью и тривиальностью; например, вместо указания, что из глаголов списка А изымаются единицы, совпадающие с какой-либо единицей из списка В, читателю предлагается явно избыточное алгоритмическое пошаговое описание этой процедуры.

Глава 4 (с. 52 и сл.) – о поэтической фонике – содержит ряд интересных наблюдений. Однако по поводу общей основы – опоры автора на инвентарь фонем, а не на инвентарь звуков – я хотел бы выразить свое недоумение, относящееся, впрочем, к многим исследованиям стихотворной фоники. Мне непонятно, почему в качестве исходной единицы берется фонема, а не звук, используется фонематическая, а не фонетическая транскрипция. Фонология нужна для описания языка, для построения моделей языка (как систем автоматического преобразования лингвистической информации). Когда же речь идет о ЗВУЧАНИИ стиха, обращение к инвентарю фонем – научных конструкторов, в большей мере отстоящих от звуковой материи стиха, чем аллофоны, – представляется неоправданным. Далее, неясно, почему в этой главе автор трактует парные твердые и мягкие согласные то как одну единицу, то как разные – и при этом не приводит никаких комментариев в соответствующих случаях.

По поводу глав 5–8, посвященных проблемам стихотворного ритма, замечу, что в них весь репертуар словораздельно-ритмических модуляций стихотворных строк рассматривается без учета феномена сверхсхемных ударений, и поэтому, например, ни в одну из 76 модуляций 4-стопного ямба, выделяемых в книге (с. 76), не укладываются, скажем, такие хрестоматийные строки, как *Швед, русский колет, рубит, режет. / Бой барабанный, клики, скрежет*. Если автор ограничил материал в целях упрощения (которое в известных случаях бывает правомерно при исследовании сложных систем), то непонятно отсутствие релевантных оговорок по этому поводу.

Много вопросов вызывает глава 9 – начинающая с ее названия: "Деструктивно-конструктивный анализ онегинской строфы". Строфы первой главы "Евгения Онегина" подвергаются членению: разъединяются первые 12 строк, называемые "телами" строф, и последние

две – их "хвосты" (с. 174–175)⁸. Между совокупностью тел и совокупностью хвостов устанавливается отношение (в математическом смысле) в соответствии с определенными правилами. Примеры таких правил (названные "условиями отбора"), приведенные в таблице на с. 179, выглядят так⁹: "первое слово первой строки хвоста совпадает с первым словом какой-либо строки тела"; "последнее слово длиною в 5 букв и более в хвосте совпадает с каким-либо словом тела"; "в хвосте и в теле есть восклицательный знак"; "в хвосте и в теле есть слово *ж, же, или слова там, чего или пока, или варваризмы, или слова с античной тематикой, или прилагательные в краткой форме*" – и другие странности. Изложение в главе не дает возможности уразуметь работу алгоритма, устанавливающего на основе подобного рода правил отношения между "телами" и "хвостами". Далее хвосты прилаживаются к не своим "парным" телам, т.е. не к тем, с которыми они соединены волей автора романа в стихах, и В.С. Баевский образует "новые" онегинские строфы, приводя в качестве примера (с. 182) соединение тела XLVIII строфы – с хвостом II, дающее в концовке этой строфы – "И нас пленяли вдалеке / Рожок и песня удаляя... / Но слаще, средь ночных забав, / Напев Торкватовых октав!" – вместо последнего двуступня такое: "Там некогда гулял и я: / Но вреден север для меня". Обращение Баевского к математическому аппарату теории групп поражает беспомощностью и совершенным отсутствием заботы о читателе. Автор путается в математических понятиях и терминологии; например, на с. 176 он говорит о бинарных множествах хвостов и тел (тогда как данные множества никоим образом не "бинарные": каждое из них не состоит из пар – из пар состоит их декартово произведение или его подмножества); на той же странице и далее он обрушивает на читателя тяжелые снаряды таких математических понятий, как "соответствие Галуа", "булеан"¹⁰, "замкнутое подмно-

⁸ От тел в одном из экспериментов должны также отрезаться "головы" – первые катрены строф (с. 178).

⁹ Далее я переформулирую и привожу к более компактному виду некоторые соотношения между "телами" и "хвостами", крайне нечетко заданные в упомянутой таблице, насколько мне удалось их уяснить.

¹⁰ Соответствие Галуа предполагает, кроме двух частично упорядоченных множеств, в качестве каковых в обсуждаемой главе можно взять множество хвостов и множество тел, еще и наличие двух отображений между ними [МЭ 1977: 849], каковые В.С. Баевским не

жество" без каких бы то ни было пояснений, порождая, например, на с. 176 такое словосочетание – "каждый из булеанов множества хвостов и множества тел" – вместо более корректного и прозрачного "оба булеана..." или просто "булеаны..."; на с. 180 встречаем "совокупность булеанов множества хвостов и совокупность булеанов множества тел", что осмысленно не более, чем словосочетания типа "совокупность голов данной коровы" (булеан-то у множества может быть ровно один, как голова у коровы).

В главе 13 автор настаивает на необходимости проводить периодизацию творчества писателя только по одному основанию и в качестве такового принимает анализ "эволюции, развития его творчества" (с. 226), проводимый на основе 10 индексов, характеризующих стихотворный строй. Мне хотелось бы возразить: не имея ничего против использования такого рода формальных критериев для периодизации, я не вижу резоннов отказываться от других оснований и получения, таким образом, своего рода "скользящей периодизации". Поэтому требования автора типа – "Делить творческий путь Пастернака следует только по одному основанию" (с. 245) – мне представляются ригористичными.

Вызывает у меня несогласие трактовка феномена синтаксического переноса (СП) в главе 15 (с. 268 и сл.)¹¹. Необходимым условием синтаксического переноса из одной строки в следующую В.С. Баевский, вслед за рядом его предшественников, считает наличие синтаксической паузы в одной из этих смежных строк (с. 263, 269). Мне совершенно непонятно, чем вызвано подобное ограничение. Полагаю, что для вычленения понятия "синтаксический перенос" существенно обращать внимание на силу синтаксических связей между словоформами соседних строк. Напомню неоднократно цитированный пример К.Ф. Тарановского – "Запели хором молодые

заданы и не пояснены, так что и математически ориентированному читателю разобратся в сути дела не представляется возможным. Булеаном множества называется множество всех его подмножеств – почему было бы не сделать хотя бы такое краткое пояснение? Вообще в книге много терминов, далеких от филологии; например, на с. 269 "меру отклонения от строго рационального синтаксиса" предлагается измерять в "стронгах" – ни в одном из словарей и энциклопедических справочников найти данный термин мне не удалось.

¹¹ При этом я приветствую отказ В.С. Баевского от терминологического варваризма "анжамб(е)ман".

/ Черницы в черных клобуках" – с сильной синтаксической связью между словоформами на стыке строк и отсутствием пауз внутри последних [Матяш 1996: 190]; неужели здесь на основании отсутствия пауз не следует усматривать синтаксического переноса? В поэтической речи вполне нормальны случаи сильного синтаксического сцепления смежных строк без внутренних пауз, это одно из проявлений общего феномена – несовпадения синтаксического и метрического членения в стихе, и почему же нужно такому сцеплению отказывать в статусе синтаксического переноса? – Другое недоумение возникает в связи с предложением автора "перенести в русскую филологию французскую классификацию СП" (с. 270): в отечественном стиховедении это давно было сделано – см. классический труд [Шенгели 1960: 33 и сл.], только с другой терминологией: СП именуются там "перебросами", а "реже", "контрреже" и "реже-контрреже" Баевского – "бросами", "набросами" и "двойными бросками" соответственно (и тоже приводятся французские термины); см. также словарь [Квятковский 1966: 206], где в статье ПЕРЕНОС без терминологических обозначений приведены ровно те случаи, которые выделяет В.С. Баевский.

В большинстве случаев, когда в книге вводится какая-нибудь классификация или устанавливаются характеристики признаков-индексов стиха или его единиц, отсутствуют обоснования, разъяснения, примеры, относящиеся к вводимым характеристикам, что, конечно, никак не способствует доверию читателя к результатам, полученным на их основе. Например, вводится (с. 153–154) значения меры выделенности m для слогов стиха (пять чисел между 1 и 3); различаются 12 типов слогов, среди которых есть, например, такой: "1-й предударный, 2-й начальный неприкрытый, 1-й и 2-й заударный, конечный открытый на сильной и на слабой слоговой позиции" ($m = 2.0$). Примеров на каждый из указанных подтипов слогов в составе стихотворных строк не приводится, не дается никаких обоснований объединения этих подтипов под одной мерой выделенности¹²; приходится с трудом осмыслять прилагательные "начальный" и "конечный" – ориентировать ли соответствующий слог относительно строки или фонетического слова? Несколько раз в книге предлагаются наборы числен-

¹² Вызывает сомнение объединение под одной мерой выделенности 1-го предударного и двух заударных слогов: предударный сильнее заударных; именно поэтому лингвистическое обоснование такого объединения было бы весьма уместно в данном случае.

ных признаков-индексов для характеристики структуры поэтического текста (с. 42, 186, 232, 239), и каждый раз возникают недоумения: содержание индексов формулируется кратко и не всегда внятно, отсутствует в ряде случаев обоснование введения индексов, не всегда ясен способ их вычисления – ср. такие примеры индексов: разнообразие метрики, виды строф, типы строфической организации, тематическая насыщенность рифмы (с. 43)¹³; интонационное единство стиха (с. 232). Непонятно, почему периодизация творчества Гумилева и Пастернака проводится по разным наборам индексов (с. 232, 239) – впрочем, на с. 241 говорится о том, что выбор инвентаря индексов "не имеет решающего значения"; почему это так, читателю остается гадать.

Книга Баевского изобилует разного рода ляпсусами: некорректными, небрежными или не вполне точными формулировками, частыми противоречиями, неловкими и громоздкими построениями. Так, в главе о пословицах обнаруживаются противоречия между списком из пяти примеров пословиц избранного класса (с. 31) и последующими формулировками: ср. *Кого люблю, того казню* vs. ограничение класса глаголов в ед. числе только 2-м и 3-м лицами (с. 34); *С кем поведешься, от того и наберешься* vs. отсутствие относительного (определяющего) придаточного в составе типов придаточных предложений, допустимых в изучаемых пословицах (с. 34); *Что посеешь, то и пожнешь* vs. равноклаузульность глаголов (с. 35). В изложении "алгоритма порождения пословицы" мы встречаем такое проверочное условие: глаголы должны "обозначать переходность" (с. 38) – вместо просто "быть переходными". В хлебниковском "Бобзоби" усматривается анаграммирование фонем (э) и (о)¹⁴ (с. 57) – при отсутствии в этом стихотворении "ключевого слова", которое ранее было объявлено определяющим при анаграммировании (с. 55). Единственная строка таблицы 2 на с. 110 содержит ошибку (сумма чисел в ее клетках должна равняться единице, а она превосходит ее), которая, правда, исправляется в первой строке

¹³ На с. 43 дается такое пояснение: "В пределах каждого индекса число фиксируемых единиц относится к общему числу единиц" – однако неясно, как вычисляется это последнее, а в отношении некоторых индексов неясны сами фиксируемые единицы.

¹⁴ Почему-то фонемы у Баевского окружаются угловыми скобками – в противоречие наиболее распространенной лингвистической практике, в соответствии с которой угловые скобки (...) закреплены за морфемами, квадратные [...] – за звуками (фонами), а косые черты /.../ – за фонемами.

в таблице 5 на с. 118, содержательно тождественной исходной. Перечень ритмических типов слова в таблице 3 на с. 111 не содержит "анапестического" типа *положил*. При подсчете вероятности первого стиха "Онегина" (вычисляемой "по теореме умножения вероятностей", как обычно, без какого-либо разъяснения ее сути – с. 113) делается ссылка на таблицу 3, но берутся из нее не те числовые значения, при этом с взятыми значениями в вычислениях допущена ошибка (0.00093 – вместо 0.00013) – с. 114. На странице 114, помимо упомянутой ошибки в вычислениях, есть еще два ляпсуса: неверно подсчитано ожидаемое количество строк с модуляцией, представленной в указанном стихе (49 – вместо 48.03), а в предпоследней формуле на данной странице перепутаны местами числитель и знаменатель. На с. 132 при объяснении, как подсчитывается число модуляций 3-стопного дактиля, почему-то из трех его форм учитываются только I и II и игнорируется III, но и с учетом этой последней у меня число модуляций получилось не 36, а 30. "Университетская поэма" Набокова объявляется одним из случаев использования онегинской строфы в русской поэзии – вместе с "Тамбовской казначейшей" Лермонтова и "Младенчеством" Вяч. Иванова (с. 173), – тогда как поэма Набокова, в отличие от двух других упомянутых поэм, написана "обратной" онегинской строфой. В главе 11 один и тот же словарь, обозначаемый через "19В", характеризуется сначала как "обобщенный словарь поэзии первой трети XIX в." (с. 193), а через 10 страниц – как "обобщенный словарь первой половины XIX в." (с. 204). Связи между частотными словарями Рылеева и Фета на с. 205, среди прочих, приписана "сильная корреляция" – по таблице же на предшествующей странице эта связь равна 35, а в других случаях сильными считаются связи, превышающие 40. В таблице 12 на с. 215 в первом столбце дважды повторяется массив из шести строк (с разными значениями клеток в одноименных строках), но нигде не разъясняется суть этих повторений. Следует сказать, что небрежность в подаче таблиц и отсутствие необходимых пояснений в этой книге лишают читателя возможности всерьез разобраться в полученных результатах (если можно вообще говорить о результатах в большом числе случаев). Формулы у Баевского зачастую появляются неожиданно и неподготовленно – автору достаточно назвать формулу "известной", поименовать область, откуда она взята, и обрушить ее на читателя (с. 219) – без указания нужных источников и страниц, как в случае, например, словосочетания "критерий знаков" (с. 221). Весьма трудно уяснить,

скажем, формулу на с. 45, призванную вычислять некую корреляцию между парой индексов и сопровождаемую совершенно не постигаемой расшифровкой параметра d – "разность порядковых номеров по обоим индексам" (вроде бы получается, что здесь должны быть две разности?). На с. 47 в формуле (4), похоже, вместо первого минуса должен стоять знак равенства.

В книге отсутствуют некоторые релевантные ссылки. На страницах, посвященных эволюции ритма стиха Ломоносова (с. 119 и сл.), не учтены результаты М.И. Шапира и нет ссылок на его работы [Шапир 1996; 1999] (вошедшие в монографию [Шапир 2000]). Анализируя игру ритмических форм по методике А. Белого (с. 148 и сл.), В.С. Баевский проходит мимо работы [Беглов 1996] о монотонии ритмических форм в стихе. И вообще – не могу не высказать сожаления, что первоклассные стиховедческие работы, появившиеся в последние несколько лет в журнале "Philologica", остались вне поля внимания исследователя.

Было бы странно, если бы в 336-страничной книге маститого стиховеда не было никаких достойных внимания мест и частных удач, и было бы несправедливо их не отметить. Привлекают его соображения в связи с теорией анаграмм (с. 57–62), в частности, методологическая основа исследования анаграмм в поэтическом тексте: условием наличия анаграммы признается "статистически значимое преобладание частот фонем ключевого слова над их частотами в речи" (с. 65)¹⁵. Интересен анализ эволюции анаграмматических построений в лирике и переводах Блока (с. 67–91), в особенности – разбор черновиков перевода "Пролога" Гейне (с. 85 и сл.). Выводы о частотной структуре поэтической фоники (с. 95 и сл.) представляются весьма любопытными – в частности, то обстоятельство, что в поэтическом тексте частые и редкие фонемы (т.е. соответственно преобладающие и уступающие по частоте по сравнению с их частотой в речи) немногочисленны, причем первые имеют тенденцию несколько превосходить вторые по количеству и удельному весу (с. 98). Свежо анализируются случаи ономатопеи в поэтическом тексте, среди которых особенно выделяются разборы строк Пастернака, имитирующих крик грачей, и первой строфы пушкинского "Эха" (с. 102–103). Из других разборов конкретных строк хотелось бы отметить также зоркие наблюдения

¹⁵ В разделах об анаграммах, к сожалению, недостаточно четко разъяснены или вообще не разъяснены некоторые понятия: параграммы, ноаденотаты (с. 58), метаграммы (с. 75).

над "причудливыми рисунками слогового ритма" в стихотворениях Д. Самойлова "Соловьиная улица" и Л. Мартынова "Отмечали вы, схоласты..." (с. 163); вообще, несмотря на не вполне ясные и недостаточно обоснованные критерии установления выделенности слогов, ряд данных по средней выделенности слогов в стихотворениях разных поэтов XX века (с. 164 и сл.) небезынтересен. Представляются весьма любопытным обнаруженный автором феномен "синтаксического развертывания" – грубо говоря, последовательного увеличения протяженности относительно автономных синтаксических отрезков в смежных строках (с. 272 и сл.); так, в строках из "Онегина" (в которых последовательные фрагменты пронумерованы) – "(1) Она ушла. (2) Стоит Евгений, / (3) Как будто громом поражен. / (4) В какую бурю ощущений / Теперь он сердцем погружен!" – первые два фрагмента занимают каждый по полстроки, второй – строку, третий – две строки. Этот феномен превосходно иллюстрируется на примере сопоставления некоторых сцен из "Фауста" Гете с переводом Пастернака (с. 278 и сл.). В книге встречаются вполне убедительные и верные утверждения, среди которых, впрочем, много неоригинальных – например, трактовка стихотворной речи как равнодействующей многообразных факторов – ритма, фоники, метрики и т.д. (с. 143) – или неоднократно фигурирующий на страницах книги общий вывод о вероятностном (а не детерминистическом) принципе действия, лежащем в основе функционирования художественных структур (автор называет обнаруживаемые в них связи "паутинообразными").

По моему разумению, книга представляет собой неудачу, усугубляемую претензиями автора на изрядные достижения в области изучения поэтического языка. Эта неудача отчасти скрашивается отдельными правильными замечаниями и немногочисленными частными результатами.

- Беглов А.Л.* 1996 – Иосиф Бродский: монотония поэтической речи // *Philologica*. Т. 3. 1996. № 5/7.
- Квятковский А.[П.]* 1966 – Поэтический словарь. М., 1966.
- Лотман Ю.М., Лотман Мих.Ю.* 1986 – Вокруг десятой главы "Евгения Онегина" // Пушкин. Исследования и материалы. Том XII. М., 1986.
- Матвиш С.А.* 1996 – Стихотворный перенос: к проблеме взаимодействия ритма и синтаксиса // Русский стих: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика: К 60-летию М.Л. Гаспарова. М., 1996.
- Мельчук И.А.* 1997 – Курс общей морфологии. Том I / Пер. с фр. М.; Вена, 1997.
- Мельчук И.А., Равич Р.Д.* 1967 – Автоматический перевод. 1949–1963. Критико-библиографический справочник. М., 1967.
- МЭ* 1977 – Математическая энциклопедия. Т. 1. М., 1977.
- Шанир М.И.* 1996 – У истоков русского четырехстопного ямба: генезис и эволюция ритма: (К социолингвистической характеристике стиха раннего Ломоносова) // *Philologica*. Т. 3. 1996. № 5/7.
- Шанир М.И.* 1999 – Ритм и синтаксис ломоносовской оды: (К вопросу об исторической грамматике русского стиха) // Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сборник к 70-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. М., 1999.
- Шанир М.И.* 2000 – *Universum versus*: Язык – стих – смысл в русской поэзии XVIII–XX веков. М., 2000.
- Шенгели [Г.] А* 1960 – Техника стиха. М., 1960.

Н В Перцов

CONTENTS

Oleg Nikolayevič Trubačev. G.A. Z o l o t o v a (Moscow). The category of tense and aspect in the light of text study; G.M. Z e l d o v i č (Torun, Poland). Semantics and pragmatics of the perfect in Russian; A.A. Z a l e v s k a j a (Tver). Some problems of the theory of text-perception; P.V. G r a š č e n k o v (Moscow). The genitive case of the Russian number words; M.M. M a k o v s k i j (Moscow). The Indo-European root: Form and meaning; **Reviews**. A.G. G u l m a x o m e d o v (Daghestan). The languages of Daghestan; T.E. J a n k o (Moscow). The new journal "Russian language in the light of linguistics", № 1; L.V. S a v e l ' e v a (Petrozavodsk). *Lea Siilin*. The reflection of graphic and orthographic norms of Old Church Slavonic in the Russian versions of the chronicles (the second half of the XVI century); A.L. Š i l o v (Moscow). *E.L. Berezovič*. Russian toponymics in ethnolinguistic aspect; N.J. Z a i c e v a (St.-Petersburg). *W.J. Hutchins (Ed.)* Early years in machine translation: memoirs and biographies of pioneers; N.V. P e r c o v (Moscow). *V.S. Bajevskij*. Semantics of language and of the myth of the Pushkin time.

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 28.02.2002. Подписано к печати 15.04.2002. Формат 70×100¹/₁₆
Офсетная печать. Усл. печ.л. 13,0 Усл. кр.-отт. 20,2 тыс. Уч.-изд.л. 15,4 Бум. л. 5,0
Тираж 1524 экз. Зак. 6123

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.
в Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредители: Российская академия наук, Отделение литературы и языка РАН

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная, 90
Адрес редакция: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон 201-25-16

Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099 Москва, Шубинский пер., 6